

ISSN 0132-0637

Октябрь

2000

Октябрь

10 2000

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

2000

ОКтябрь

## В Н О М Е Р Е:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АНАНЬЕВ.  
**Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга третья ..... 3

Григорий ПЕТРОВ.  
**Родословное древо.** Рассказы ..... 92

Эвелина РАКИТСКАЯ.  
**Новые стихи** ..... 125

Михаил ЛЕВИТИН.  
**Еврейский Бог в Париже.** Повесть ..... 130

### ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр МЕЛИХОВ.  
**Между цинизмом и безответственностью** ..... 155

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лариса БЕРЕЗОВЧУК.  
Естественный отбор ..... 166

### *Терпение бумаги*

Ольга СЛАВНИКОВА.  
Король, дама, валет. Книжная серия как зеркало  
книжной революции ..... 179

### *Актуальная культура*

Владимир БЕРЕЗИН.  
Ажитажная история ..... 187

### *Песни познания*

Откуда повелись на Руси художники. Опыт незави-  
симого от текста расследования ..... 191

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

#### **Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

#### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»  
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России  
и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,  
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –  
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 24.08.2000. Подписано к печати 18.09.2000. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8530 экз. Заказ № 2181. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

# Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

ВЕРСИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСТОРИЧЕСКИХ  
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ, ФАКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

## КНИГА ТРЕТЬЯ

*Главы, предваряющие историческое повествование*

XXXVI

Более ста восьмидесяти веков, если начинать отсчет цивилизации от возникновения Древнего Царства, как это принято в официальной историографии, потребовалось человечеству, чтобы признать (устаи ученых), что нет никаких других столь же правдивых и емких понятий, чем голод и нищета, какими можно было бы охарактеризовать историческое и текущее бытие народов. Академические столпы знаний наконец-то заметили то, что давно уже было очевидным для всех и лишь только благообъяснялось предначертанным свыше (в толкованиях церковников) и естественным (в мирском, научном, по стержневой своей сути вполне идентичным с толкованиями церковников) течением жизни. После тысячелетних блужданий в поисках той нужной концепции, с помощью которой можно было бы, провозгласив навязанную мировому сообществу систему господства и рабства «несказанным благом», затем веками с максимальным правдоподобием вещать эту ложь со всех амвонов и кафедр народного просветительства, ломая судьбы личностей, людских сообществ и государств,— когда концепция эта, найденная и запечатленная в работах Платона и Аристотеля (ссылаюсь на их труды потому, что они и по сей день являются и собирательной, и отправной точкой в развитии мировой философской мысли), утвердилась как базовая основа в познании миробытия, ученые мужи вдруг делают это реалистическое — голод и нищета — признание, дающее право полагать, что отныне наука станет наукой в полном смысле этого слова и перед нами откроется не вымышленная, не искаженная, а реальная картина в исторической и текущей действительности. Но — признание сделано, слова произнесены, а ни в науке, ни в жизни так и не произошло никаких изменений; человечество как пребывало в историческом невежестве относительно своего бытия, так пребывает и сегодня, то обращая взор на церковные купола, словно в их златоглавой устремленности к небу, в их крестах, этих далеко и далеко не символических орудиях казни, нимбо-заряженных оптимизмом воскрешения через смирение и страдание («смертию смерть поправ»), таится загадка счастливой жизни, то оборачиваясь на колонны и портики академических святых, на иконостасно-испытые лица ученых мужей,

напоминающих собой старцев из монастырских келий, этаких летописцев-заворников, чей образ обычно связывается с книжно-начетнической мудростью (как если бы из суммы евангельских догм и в самом деле можно выжать нечто большее, чем только инкубаторно повторенные те же евангельские догмы о миробытии), будто из научного затворничества, из напластования «академических истин» можно извлечь нечто иное, чем перефразированные, да, лишь перефразированные те же «академические истины», а потому нет ничего удивительного в том, что мы пребываем в нескончаемой растерянности, проще говоря, живем во лжи, пропитываясь церковно-научными догмами, искажающими и социальную, и нравственную основу бытия, и боготворим и возвеличиваем эту окутавшую нас ложь, словно на века обретенный нами драгоценнейший дар жизни. Народы всегда стремились к основательности и благоденствию, но поскольку на поводырский (царский или президентский, премьерский, если по-современному) источник надежды уже исчерпаны, то вся тяжесть упований вольно или невольно переносится на Церковь и Науку, словно они всегда стояли и продолжают стоять на страже народных интересов. Но они никогда не стояли и не могли стоять на страже народных интересов, ибо жизненные блага, какие Церковь (религия, религии) обещает народам, всегда были и остаются лишь благами названными, ничего общего не имеющими с реальной действительностью, как, впрочем, и блага цивилизации, превозносимые светилами от экономических, исторических, философских знаний и провозглашаемые политиками, рвущимися к тронам, тоже являются названными, поскольку не более, чем предлагаемые церковными радателями, согласуются с реальной жизнью. Истинные же блага, создававшиеся и создающиеся народами для себя, давно, а точнее, со времен Древнего Царства, оказались отобранными у них и, эквивалентно подмененные блеском и весом «золотого тельца», стали неотъемной (накопительской) собственностью властвующих персон; они же, то есть эти отобранные у народов и превращенные в «золотого тельца» блага, сообразовавшись (под диктовку дворцов, да, именно дворцов) в регулирующий общественные отношения и общественное бытие механизм жизни, как раз и представляют скрытую от простолюдинского большинства суть превозносимой нами (будто она не от фараоновской системы господства и рабства) цивилизации. Сколько же, если подумать, и каких усилий потребовалось от тронных и околотронных особ, именующих себя элитой, то есть творческой (мыслящей) интеллигенцией, чтобы, обворовав простолюдинское большинство во всех его жизненных обретенных, не только примирить это большинство с беспрецедентным по размаху и наглости богообирательством (по крайней мере историки и философы стараются придерживаться этого понятия), но и убедить, да, главное, убедить, униженные, лишенные человеческого достоинства простолюдинские массы в божественной и научной святости совершенных и совершаемых над ними экспериментов? Разумеется, я не призываю к эксгумации ушедших в небытие эпох, ибо история — это не труп, торопливо преданный земле и теперь требующий дополнительного исследования, но живой организм жизни, сплетенный из частного и общественного бытия личностей и народов, он един, целостен от возникновения до нынешних вершинных веков, и то, что происходило и происходит в этом целостном организме (и что можно было бы назвать движением к самоуничтожению), как раз и должно подвергнуться скрупулезной социально-нравственной экспертизе. Но иерархические столпы от церковных и научных знаний давно уже фундаментально самооснастились совсем иными понятиями о своей исторической (в смысле познания бытия) миссии; отвергнув реализм в толковании миробытия, они, по сути дела, историческую достоверность событий подменили своим интерпретированным (в пользу тронов) представлением о том же бытии, и, положив перед собой самими же составленную книгу (или хронику) неких непререкаемых библейских мудростей и склонившись над ней, как над единым богоданным источником истины, вот уже более восемнадцати тысячеле-

тий, не отрывая от нее глаз, подзаряжаются ее душеопустошающими идеалами «божественной» жизни. Конечно, образное выражение есть только образное выражение, и оно может дать лишь общее представление о предмете исследования, но я не склонен втягиваться здесь в рассуждения о приоритетах частностей и обобщений; ценно все, что служит познанию, и в этом плане, мне кажется, куда важнее представить общую тенденцию развития, что и от чего происходит и с чем взаимодействует (ведь частности — это плоды с древа, но не само древо), и, уже исходя из этой познанной тенденции, приступать к оценке деяний правителей и народов. Чтобы поставить диагноз, как известно, надо прежде удостовериться в наличии болезни, то есть в данном случае признать, что человечество идет не по тому пути развития, какой был природно предначертан ему, и что отступничество от изначально заданных идеалов социального и нравственного мироустройства (классовое расслоение) как раз и привело к полюсному, о чем уже говорилось выше, противостоянию дворцового и хижинного бытия. Казалось бы, истина очевидна и ее невозможно ни скрыть, ни подменить неким сочиненным правдоподобием; но действительность показывает, что возможно; возможно с помощью так называемого усеченного реализма, как это случилось именно с классовым расслоением, о котором мы знаем, что таковое было (явление названо), но никакого понятия не имеем, как оно происходило, на добровольных или силовых началах, и как и с какой целью (если насильственно) осуществлялось; церковники вообще игнорируют этот период развития человечества, а ученые мужи ограничиваются лишь констатацией факта, что «да, было», и за тысячелетия своего исследовательского «подвижничества» дальше констатации, то есть усеченного реализма, не продвинулись ни на шаг. Кстати сказать, усеченный реализм — это тоже своего рода явление, которое в простонародье могли бы назвать обманом и с которым постоянно на протяжении веков сталкиваются как личности, так и народы, наивно воспринимающие подобную поверхностную констатацию за глубокую историческую правду; обман, тем более религиозный или научный, — дело осознанное, ибо с помощью его правители получают возможность самоуправно и безнаказанно править народами и обращать их — ступень за ступенью — в вечных и смиренных рабов. Такой, если в разрезе веков посмотреть на нее, предстает наша человеческая история, и, думаю, сказанное не нуждается в каком-либо особом подтверждении, ибо жизнь ежедневно, ежедневноставляет нам подобные примеры, и они настолько очевидны и так плотно (во всех сферах) пронизали наше бытие, что ими можно было бы, уподобив напластованию столетий и тысячелетий, многократно покрыть все земное и водное пространство нашей обитаемой планеты. Признание, разумеется, горькое, но его надо вкусить; вкусить хотя бы ради того, чтобы оздоровить условия жизни для будущих поколений. В конце концов то, что нужно для удовлетворения потребностей любой человеческой особи, хорошо известно как простолюдинам, так и правителям, возлагающим на себя царские короны вроде бы лишь для того, чтобы благоустроить (в пределах именно человеческих потребностей) общее народное бытие; однако эта простая, ясная, способная принести человечеству удовлетворение система (схема) жизни не только не получила признание тогда, в древности, когда закладывались социальные и нравственные основы общественных отношений и общественного бытия, но и беззастенчиво игнорируется и теперь, когда людское сообщество, казалось бы (во всяком случае, так свидетельствуют светила знаний), достигло несоизмеримых с пращурными веками просветительских высот и когда всем уже вроде бы очевидно, к каким катастрофическим последствиям ведет нас сей пращурно-избранный и свято-узаконенный (неким будто бы церковным и мирским благословением) путь развития. Почему? Именно этот вопрос, на который ни у историков, ни у философов нет определенного, четкого ответа, я и пытаюсь поставить перед учеными мужами, перед собой и читателем.

## XXXVII

Усеченный реализм (или обман, если в житейском восприятии) — это своего рода традиция человечества; традиция давняя, глубоко и необратимо укорененная в нашем сознании, согласно которой одни люди (ученые мужи и церковники, прислуживающие тронам), выдавая на стол общественной жизни либо полуправду, либо заведомую ложь, приукрашенную тогой правдоподобия, уверяют, что открывают суть исторического и текущего бытия, а другие (народ, народы, простолюдинское большинство), веря в честность и справедливость сих святовещателей, коим обычно от рождения уже пророчатся места в иконостасно-пьедастальном ряду величия и славы (кстати сказать, сей нетленно возводимый ими же самими державный монумент как раз и служит им неким боговданным будто бы мандатом на бесконтрольность и неоспоримость деяний), — да, именно веря в честность и справедливость этих бессмертных вещателей лжи (разрушительной, беспощадной и безжалостной к истинным традициям самобытного бытия людских сообществ), воспринимают подающуюся интерпретацию исторических и текущих явлений жизни за источник чистых, не запятанных ничем в своей божественной и научной значимости познаний миробытия. Теперь трудно установить, кем конкретно была положена эта традиция (традиция обмана) в русло общественной жизни: древнеегипетскими ли оракулами, мнившими себя посредниками как между высшими (небесными) силами и властителями, так и между властителями и простым людом, то есть рабами (отсюда и их непререкаемая значимость), или древнегреческими жрецами, обладавшими неким будто бы абсолютным правом возвеличивать и низвергать правителей; по крайней мере ясно одно, что лжевещание об историческом бытии восходит к тем пращурным временам, когда Древнее Царство, находясь в полном расцвете своей фараоновской державности, закладывало (возможно, не вполне еще осознавая всей значимости совершаемого) под естественное, идиллическое — «славные Гипербореи» — бытие народов ту мину замедленного действия, которая век за веком войнами и разорениями терзает и рушит все социальные и нравственные устои природно-заданной человеческой жизни и суть которой, вроде бы ушедшая в небытие вместе с фараонами, оракулами и жрецами, как раз и составляет ту зловещую тайну властителей, подходы к которой оказались бетонно забаррикадированными как церковными (религиозными), так и научными (что особенно горько сознавать) догмами о смысле и бессмыслии нашего бытия. Историки, философы, политики, сонмом и ныне наводняющие дворцы и академические святилища, любят неустанно повторять, что они борются с догматизмом в науке, мешающим продвигаться к истине, и в этом своем самообозначенном амплуа вольно или невольно напоминают мне садовника, который вынужден убирать листья из-под деревьев и в то же время холить стволы, ежегодно воспроизводящие и плоды, и листья; листья — это отживающие догмы (а таковые всегда находятся), которые, отработав свое, превращаются в балласт частного и общественного бытия, а стволы — это та самая система господства и рабства, то есть то хищническое мироустройство, преподанное нам Древним Царством (фараоновским Египтом), которое как раз и предоставляет властителям право на абсолютное господство, а простолюдинским массам — на беспросветное рабство, и сколько бы ни твердили ученые мужи, будто из века в век только и делают что разгребают завалы догм (в конце концов листопад — явление естественное), но ведь дело не в листьях, то есть не в догмах, а в стволах и кронах, то есть в самом хищническом мироустройстве, плодящем зло. Догмы, призванные охранять величие тронов и удерживать простолюдинское большинство на уровне беспросветного рабства, — такие догмы не умирают; они лишь из одной фразеологии переходят в другую, созвучную современности, но суть их (и в этом каждый может убедиться, познакомившись хотя бы бегло с историей человечества) остается неизменной в своей тронно-охранной заданности. За всю историю человечества мир не раз и не два оглашался реалистической констатацией фактов, но, как показывает действительность, оглашения такие заканчи-

вались, образно говоря, лишь уборкой листьев, и я не исключаю, вернее, не могу исключить, что и нынешнее откровение академических светил, признавших наконец нищету и голод, то есть бедственное положение простолюдинского большинства, явлением историческим, представляет собой лишь очередную попытку с помощью усеченного реализма приглушить растущее недовольство масс. Народам (простолюдинским массам) преподносится некая вроде бы откупная, дескать, хотите правду, получите, если еще не насытились своей реальной (нищенской) действительностью и если признание вашей исторической убогости способно хоть на что-то вдохновить ваши опустошенные за века страданий и притеснений души; разумеется, я не претендую на абсолютную точность, говоря о высокомерии, с каким академические столпы знаний, поддерживаемые сонмом элитных (дворцовых) особ, обычно преподносят народу, народам, очередное свое сенсационное (в упаковке усеченного реализма) откровение, но, думаю, в главном, да, в главном ни на йоту не отступаю от истины; мне иногда кажется, что я даже слышу шорох потираемых ладоней, как это делают картежные шулеры, ловко и бесшумно обчистившие до нитки очередную жертву, а поскольку в данном случае жертвой предстает народ (простолюдинское большинство), то не трудно догадаться о масштабах испытываемого вышеозначенной дворцовой элитой вкуче с академическими столпами знаний удовлетворения. По сути изложения я не собираюсь ни с кем спорить и тем более навязывать свое мнение; оно выстроено не на измышлениях, но на достоверности жизни, а жизнь показывает, что ни одна заявка на реалистическое познание миробытия, сделанная учеными, не была реализована ими в процессе их исследовательских усилий; не реализована даже, может быть, потому, что в созданном и узаконенном ими представлении о человеческой истории все настолько забетонировано устоявшимися догмами, что и самим мужам науки, если бы они решились наконец проникнуть в глубинную суть происходивших и происходящих процессов, пришлось бы буквально по кирпичикам разбирать столь монументально, казалось бы, выстроенную концепцию исторического развития человечества. Они, по сути дела, предстают сегодня заложниками своих же теоретических выкладок, когда на словах вынуждены признавать, что есть природные и есть рукотворные начала жизни и что воздействие их на состояние бытия далеко и далеко не равнозначно, но как только дело доходит до общих исторических оценок, которые могли бы дать реалистическое представление о процессе становления и развития общественных отношений и общественного бытия, в силу вступает другое суждение, которое, неся на себе печать узаконенного трафарета, заверяет всех нас в том, что между естественными и рукотворными закономерностями существует определенная гармония и что они, дополняя и подкрепляя друг друга, как раз и создают тот фон развития, на котором все великие и невеликие драмы личностей, народов, государств благооправдываются неким единым и неумолимым ходом истории. Как видим, с помощью простого арифметического действия  $2 \times 2 = 4$  ученые мужи пытаются подменить исторический драматизм народов, вызванный классовым расслоением, то есть возникновением системы господства и рабства, выведенной ими единой и всеохватной формулой о неумолимом ходе истории, иными словами, пытаются совместить несовместимое, что может привести лишь (как и всякое механическое соединение в живом организме жизни) к ложным представлениям и толкованиям миробытия. Ведь всё, что от природы, незыблемо, вечно, человек не в силах изменить движение планет, то есть удлинить день или отменить ночь, заменить зной стужей, а стужу зноем, переместить полюса на экватор, кто бы и с какими пусть самыми благими намерениями ни решился на подобное предприятие, ибо нам раз и навсегда predetermined (по ходу развития Вселенной) условия бытия, и мы либо, приняв их и приспособившись к ним, сможем благоустроить нашу жизнь, либо, не разобравшись в этой простой истине, выйдем у себя из-под ног самую основу человеческого существования, тогда как социальные и нравственные обстоятельства, точно так же представляющие собой среду обитания, то есть все то, что привнесено разумом

(хотя и поводырским, в интересах тронных особ) и поименовано «цветущей цивилизацией» — прежде всего система господства и рабства, от которой и происходят все обрушивающиеся на простолюдинское большинство беды,— всё, всё это, что фараонами Египта было заложено в общественные отношения и общественное бытие и навязано затем человечеству, вполне может подвергаться пересмотру и изменению (в конце концов и господство, и рабство вполне отменяемы, стоит только мировому сообществу изъявить соответствующую волю), а это в свою очередь означает, что рукотворные и природные составные жизни уже по самой своей сути несовместимы и их нельзя подводить под одну (хотя бы и научно-узаконенную) формулу о некоем «неумолимом ходе истории». Но ученые мужи, чем отчетливее прорисовывается несовместимость этих вышеозначенных начал жизни на фоне продолжающегося обнищания простолюдинских масс (на фоне так называемой глобализации, то есть сосредоточения в одних руках и средств жизнеобеспечения, и управления этими средствами и людьми, что в реальности означает самый банальный захват мирового господства), тем упорнее они придерживаются своих выверенных будто бы в веках постулатов о «гармонии» всех действующих на исторической арене сил и о «неумолимом ходе истории». Такое упорство, думаю, не простая ошибка столпов знаний, а целенаправленное действие, подкрепленное примерами исторического фарисейства, и если обратиться к истокам вполне уже устоявшейся традиции, то можно обнаружить лишь, что за ней стоит вековая (фараоновская) политика тронов, пекущихся о своем благоденствии.

### XXXVIII

Ни в одном из научных и религиозных учений нет правды, а есть только правдоподобие; но если бы не было еще и правдоподобия, то и вовсе не во что было бы верить, а ведь разум человеческий не может оставаться вне поля исторического познания. Тяга людей к исследованию и толкованию окружающего их мира есть первичное и самое, может быть, неумное проявление человеческого разума, возникшее, возможно, еще прежде, чем пращурь наши с колен встали на ноги, и первым же среди других подобных обретенных проявлений, превративших нас в мыслящие существа, начало использоваться в порабощательских целях. Захотим ли мы, не захотим ли признать это, но люди (как личности, так и народы, как простолюдинские массы, так и властители, особенно властители) в большинстве своем действуют по прецеденту, то есть по тому или иному историческому факту, какой имел или якобы имел место в давнем или недавнем прошлом (такова, например, природа революций, природа возникновений и распада империй, поветрия сепаратизма, национализма, всевозможных религиозных агоний); но ведь никакие исторические события никогда не подавались в правдивом изложении, а всегда носили предвзятый характер, и предвзятость эта, измерявшаяся лишь мерой служения или прислуживания тронам, как раз и направляла ход развития человечества (или заключала его, что, возможно, было бы точнее) в русло застagnированного в хищничестве (фараоны и рабы) мироустройства. Иначе говоря, и простолюдины, и властители, действуя по прецеденту, опирались не на то, что имело место в действительности, а лишь на искаженное (повторюсь: в пользу тронов) представление тех или иных исторических явлений, и подобный тронно-продиктованный доворот (я бы так назвал этот пагубный процесс) оказался в конце концов тем самым замкнутым кольцом, по которому, полагая, что двигается по прямой дороге восхождения, человечество на самом деле с каждой новой эпохой лишь возвращалось на один и тот же замкнутый на хищническом мироустройстве круг вращения. Думаю, вряд ли нужно дополнительно пояснять здесь, кем и во имя каких целей историческая правда жизни подменялась и продолжает подменяться правдоподобием; думаю также, что и методы, и приемы, применявшиеся пращурами в их теоретических выкладках, тоже достаточно хорошо известны, ибо мы и сегодня постоянно сталкиваемся с ними как в личной, так и в общественной, государственной жизни, то

есть, образно говоря, на древе лжи лишь наращивается крона, и, чтобы понять зловещую суть этого явления, во все века сопровождавшего и сопровождающего нас, достаточно, на мой взгляд, обратиться лишь к работам современных толкователей миробытия и, спроецировав их на череду ушедших эпох, открыть утаиваемую от познания истину. Жизнь, если рассматривать ее от рубежа классового расслоения, — это нескончаемая рукотворно запрограммированная драма народов, сценарий которой до сих пор составляется во дворцах и храмах и затем разыгрывается на историческом поле народного бытия. Роль статистов в этой драме, как правило, отводится простолюдинским массам, а роль героев, выводящих (якобы выводящих) эти массы на светлую тропу благоденствия, самовозлагают на себя обитатели дворцов и храмов, и если говорить о сути заложенного в этом раскладе драматизма, то она заключена как в перманентном торжестве правителей, так и в перманентном обмане масс. Но ведь всякий обман рано или поздно раскрывается, и не только мы, но и древние люди, особенно те, кто вступал на стезю поведыства и закладывал основы хищнического (в противовес идилическому: «славные Гипербореи») устройства жизни, — древние люди точно так же хорошо знали, что любой обман рано или поздно обнаруживает себя и что нужно искать способ так надежно закамуфлировать его, чтобы, с одной стороны, троны оставались тронами, то есть ничем не запятнанными даже после самых черных своих поработительских деяний, и чтобы, с другой — перед поколениями простолюдинов постоянно светил, поддерживая в них веру в царские посулы, огонек близкого и в то же время недостижимого благоденствия, и таким эпохальным камуфляжем оказалась приемлемая вроде бы и для властителей (для которых, собственно, она и замышлялась), и для простолюдинов (ведь и на них падал отсвет вождистской славы) героизация как исторических, вернее, прежде всего исторических, так и текущих процессов бытия. Этот метод искажения истории, если обратиться к свидетельствам веков, достаточно широко применялся задолго еще до появления Библии, но все же с наибольшей полнотой обнаружился в старозаветном описании Царств и царствований, послужившем затем канонным образцом для сочинения всемирной и национальных историй. Суть такого приема, или метода, искажавшего историю в пользу тронов, была проста и заключалась в том примитивном понимании смысла и значения бытия, согласно которому земная жизнь людей есть только нескончаемая дорога к благоденствию, но не само благоденствие, которое на заре становления было уже достигнуто человечеством, но затем, с утверждением хищнического мироустройства, отнято у него и теперь подается лишь в виде богониспосланной обольстительной приманки; иначе говоря, вожди до бесконечности вождят, и это вроде бы в порядке вещей, простолюдины простолюдинствуют, обреченные пожизненно добиваться признания своих человеческих прав, и такое состояние миробытия считалось, как, впрочем, считается и теперь, явлением не только естественным, но и неизменным, ибо и вожди, и народы, внимающие вождям, самовозносящим себя на пьедесталы и самоканонизирующим в иконостасы, — да, вожди и народы, оказывается, заняты созиданием некой великой (от древнеегипетского первородства) цивилизации. Но жизнь есть жизнь, и то, что камуфляжно прикрывается в процессе развития, словно шило из мешка, проявляется в итоговой своей значимости. С началом новейшей истории, то есть на рубеже XV, XVI, XVII, XVIII, XIX веков, когда человечество ощутило потребность подведения итогов своего многоэпохального бытия, вдруг стало очевидно, что подводить нечего; система господства и рабства, некогда положенная в основу общественного бытия правителями Древнего Царства, не претерпела в своей стержневой сути никаких изменений, если не считать, что барство дворцов и храмов стало еще более барственным, а нищета хижин еще более нищенствующей, то есть вся тысячелетиями создававшаяся героизирующая история обнажилась в полном, если не сказать больше, банкротстве, и если говорить, в чем проявилось это до сих пор еще официально не оглашенное банкротство (банкротство не столько даже тронной политики, сколько выпестованных за века учеными академических догм познания), то тут, думаю, самым достоверным

подтверждением может служить волна бунтов и революций, кроваво окатившая своим пенным гребнем шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое, девятнадцатое и двадцатое столетия нашей эры. Революции эти, как уже говорилось выше, не нарушили общего хищнического хода истории, но они дали ясно понять правящим элитным кругам, то есть современным последователям фараоновской державности, кланово сплотившимся в преддверии возможных тронных разоблачений, что обман героизацией событий уже не может работать на поводырские интересы так эффективно, как он работал на протяжении ста восьмидесяти прожитых веков, что надо решительно менять исторический камуфляж из устаревших академических догм на новый, в котором главный упор делался бы уже не на героизацию царских (вождистских) «подвигов», а на достижения в народном бытии, какими можно было бы (хотя бы и фарисейски) оправдать весь эпохально пережитый трагизм жизни. Процесс обновления концептуального взгляда на историю начался почти сразу же после того, как обнаружилась несостоятельность прежнего подхода к толкованию миробытия, истории и философы, словно освободившись от некоей навязанной будто бы им слепоты, посмотрели на общественное развитие не с позиции царских (вождистских) обещаний, которым за все минувшие века ни разу не дано было осуществиться, но с позиций так называемого естественного течения жизни, то есть той же борьбы за достижение благоденствия, в которой человеку противостояло не символическое зло, вернее, не то зло, которое в символическом своем значении каждый раз меняло адресата, воплощаясь то в непокорных народах, встававших на защиту своих интересов, то в непокорных правителях, которые и сами не прочь были потягаться за трон мирового господства (опять же: библейские истории Царств и царствований, Всемирная история четырех империй блаженного Августина), но то, которое исходило от природных явлений: землетрясения, наводнения, потопа, вулканические извержения, засухи и болезни (чума, холера), оборачивавшиеся для человечества мором и голодом, и в противостоянии которым человечество крепло, мужало и набиралось сил. Главное, надо было найти в общем (рукотворном, насильственном) течении жизни, соединенном в русле нескончаемого драматизма, то, что оправдывало бы не деяния правителей, не давших за века хижинам ничего, кроме постоянных разорений, бесправия, нищеты, рабства, но то, что могло бы служить оправданием народному долготерпению и смирению, иначе говоря, придать вековому рабскому бесправию и долготерпению простолюдинских масс значение исторического подвига, и первый шаг в этом направлении был сделан фундаменталистским христианским учением, поднявшим нищету и безволие, то есть хижинную придавленность и убогость, до высот божественной истины и божественного величия, и заклеившим (разумеется, лишь на словах) барство неким чуть ли даже не смертным грехом; эта религиозно-перенесенная с поводырствующих особ на народные массы героизация (хотя и власти, и простолюдины заслуживают совсем иной исторической оценки и могут рассматриваться только как пешки в начатом почти двести веков назад фараонами Египта хищническом переустройстве естественной — идиллической — заданности жизни), — да, эта религиозно-перенесенная с поводырствующих особ на народные массы героизация прожитых тысячелетий оказалась по своему психологическому воздействию столь эффективной, что и теперь, спустя двадцать веков, то есть в канун третьего тысячелетия христианского торжества, продолжает служить, хотя, может быть, и не с прежней отдачей, своим изначально-заданным тронным целям. Историческая и философская науки, одноутробно зарождавшиеся вместе с религиями в стенах тех же оракульских и жреческих храмов, то есть, образно говоря, вышедшие из одной и той же поповской ризы, не нашли ничего лучшего, как только двинуться (хотя и с запозданием почти на пятнадцать столетий) по уже проложенному церковниками пути неогероизации исторических и текущих явлений бытия, проще говоря, по пути искажения искаженного, как если бы правда истории заключалась не в поисках и достижении правды, а в поисках и достижении обновленного и более действенного на сознание людей правдоподобия.

## XXXIX

Не сразу, но столетие за столетием, и уже через пять веков достаточно напряженных усилий перед учеными мужами открылся такой простор в героизации так называемых естественных (с определенной условностью) процессов бытия, какого не было у них при героизации даже самых крупных кровавых поводырских свершений; они уже не испытывали той стесненности, которая постоянно преследовала их в поисках весомых (возможно, реалистических, как это им казалось) аргументов, с помощью которых любая правда начинала бледнеть перед логически выверенным и выстроенным правдоподобием, ибо, во-первых, в рамках новой, а скорее обновленной исторической концепции, какой они стали придерживаться с конца XV — начала XVI века, им уже не нужно было утруждать себя формированием доказательств, чтобы измышления их в пользу тронов выглядели правдой, поскольку человечество и в самом деле научилось противостоять многим и многим стихийным бедствиям; на просветительский стол познаний начали выкладываться не мнимые, а истинные, да, истинные достижения жизни, и шаг за шагом в представлении измученных бесправием и нищетой простолюдинских масс цивилизация господства и рабства вновь начала обретать черты величия и могущества. В порыве торжества, как это бывает, когда войска выходят на оперативный простор, среди ученых мужей все громче (и уже со всех просветительно-пропагандистских кафедр) зазвучали голоса, что «человечество выжило в тяжелейших условиях пещерного века», то есть «научилось достойно противостоять стихийным явлениям природы» (хотя землетрясения, вулканические извержения, цунами, торнадо, наводнения, засухи с той же периодичностью и силой продолжают обрушиваться на людские сообщества и уносить жизни); что народам уже «не грозят ни чума, ни холера, эти страшные эпидемии, опустошительно прокатывавшиеся по странам и континентам», и что «успешно идет борьба и с новыми смертоносными явлениями — СПИДом, раком и т. д.» (да и кто позволит себе усомниться в подобных успехах?); к достижениям причисляются те удобства жизни, которые доступны лишь для властей предрежащих, то есть обитателей дворцов и храмов, тогда как простолюдинским массам, чье жизнеобеспечение всегда шло по остаточному (от дворцовых и храмовых щедрот) принципу, предоставлялась возможность лишь взирать на сии «успехи цивилизации» (в конце концов ведь простолюдины и сегодня пребывают не в лучшем положении, чем некогда пребывали древние египтяне, взиравшие с «постаментов» своего рабского бесправия на божественную недосыгаемость фараонов). Да, как видим, успехи вроде бы налицо, и тут нет нужды что-либо героизировать, кроме усилий самих народов, то есть простолюдинских масс; роль поводырства как бы сама собой отнесена на второй план, и вперед выдвинуты устремленность и воля народов (возможно, из этой трактовки и явилось известное выражение, будто историческое признание получают лишь те правители, которые действуют в согласии с волей народов, и клеймятся те, кто противостоял и противостоит ей, хотя, если обратиться к реальной действительности, то нетрудно обнаружить, что иконостасы и пьедесталы заполнены ликами только тех мирских и духовных поводырей, которые отличались тиранством, и чем больше они проливали народной крови, тем почетней предоставлялось им место в иерархической лестнице славы и величия); но мы продолжаем повторять с подачи историков и философов, что народы, и только они, — вот ведущая сила жизни и что поддержкой и опорой в их борьбе с голодом и нищетой (в некоторых трудах: со стихией и злом) были и остаются религия и мифология. Концепция, казалось бы, новая, в корне отличающаяся от прежней, в которой ведущей (обожествленной, как, впрочем, обожествляемой и теперь) силой выступали цари, полководцы, придворная и прихрамовая элиты, но, как увидим ниже, она не принесла тех ожидаемых результатов в познании исторического бытия, на какие могли или должны были рассчитывать иерархические столпы знаний; героизация поводырских «подвигов» просто подменена героизацией народных усилий, и если не поверхностно, а углубленно посмотреть на сей научный пассаж и, избавившись от шу-

михи, поднятой вокруг этого пассажа, как вокруг некоего величайшего научно-открытия, обратиться к стержневой его заданности, то без каких-либо особых усилий можно заметить, что в конечной своей цели он один к одному повторяет то видение и толкование миробытия, какое во все времена, как и теперь, продиктовывалось интересами тронов. В конце концов ведь и из новой концепции следует, что, хотя народ и проявил героизм в борьбе с болезнями, голодом, нищетой (со стихией и злом), однако не без помощи или, вернее, лишь при содействии таких механизмов жизни, какими являются религия и мифология; действуя от некой своей независимой будто бы заданности (ведь Церковь и сегодня вроде бы считается отделенной от государства), механизмы эти, то есть религия и мифология, выросшие из насущных потребностей тронов, были во все времена главной опорой (столпом) всех когда-либо существовавших и существующих ныне царских и президентско-премьерских престолов, так что, суммируя сказанное, можно констатировать, что вместо прямой героизации поводырства (героизации фараоновских державников) явилось, по сути дела, их опосредованное возвеличивание, и все вновь вернулось на свои места. Вот и получается, что как ни крути, а простолюдинские массы не могут без поводырства, хотя бы и религиозного, и — окольно, окольно нас опять приводят к мысли, что без кумиров, вождей, пророков (королей, царей, императоров, президентов, премьеров) человечество ни на что не способно, что у народа, народов непременно должны быть ведущие и что сию тяжкую и святую ношу всегда взваливали на себя и продолжают (так уж повелось!) взваливать державные богоизбранники. Но давайте разберемся, что такое религия (хотя о ней немало уже говорилось здесь), что такое мифология (о ней еще только предстоит подробный разговор) и что вбирает в себя понятие «борьба с голодом и нищетой» (со стихией и злом)? Религия — это инструмент духовного насилия в руках тронных особ; она была таковым с момента своего зарождения и остается им и сегодня, независимо от усилий, прилагаемых в научных и церковных кругах к ее обелению, так что если говорить о ее роли во взаимоотношениях человека с природой (в пресловутой борьбе со стихией), где прежде всего требовались знания, а не слепой героизм и не молитвенные обращения к Всевышнему, дабы ниспослал на людей (на простолюдинов) благодать, — да, если уж говорить о роли религии, то она была и остается прямо противоположной той, что приписывалась и приписывается ей, ибо не открывала, а, напротив, преграждала (уже самим божественным толкованием миробытия) путь к истинному познанию природных явлений. Мифология — это тоже инструмент духовного насилия в руках тронных особ, ныне именуемый исторической и философской науками, и если в древности суть исторических событий извращалась через сочинявшиеся во дворцах и храмах мифы, которые затем в виде мирских и божественных истин подавались (навязывались) народным массам, то в нынешние времена история перевирается (опять же в пользу тронов) с помощью так называемых научных изысканий и философских утверждений, а по сути — это тот же отвлекающий маневр, который, как показывает действительность, не только никогда не способствовал познанию исторического да и текущего бытия народов, но лишь надежнее, основательнее (других слов не подобрать) загонял и продолжает загонять нас в область тронно-продиктованных социальных догм и бестелесных, безоболочных, лишь бутафорски прикрытых понятиями добра и зла символов. Среди историков и философов существует мнение, которое, однако, далеко не всеми воспринимается однозначно, что история как наука родилась из мифологии и что прошли века, прежде чем она стала на укол в том понимании, в каком мы воспринимаем ее и доверяем ей, и у меня нет оснований что-либо опровергать здесь; могу только заметить, что слово «развитие» предполагает нечто исходное, что изначально закладывалось в основу того или иного исторического явления и затем, как колос из семени, вырастало и совершенствовалось в своей стержневой заданности; мифы и легенды, сочинявшиеся, как уже было сказано выше, для извращения истории (точнее: для оправдания поводырских деяний), представляли собой в те далекие времена

определенную систему знаний (систему психологического воздействия на простолюдские массы), и, как бы нам ни хотелось сегодня отделить историческую и философскую науки от той тронно-продиктованной и вроде бы примитивной системы мировосприятия и миротолкования, академический догматизм по своей заданности (служению современным тронам) мало чем отличается по воздействию на простолюдские массы от мифов и легенд, вот и выходит, что никакой разделительной черты между этими двумя — древнейшим и современным — методами познания (методами зомбирования в пользу тронов) не было, нет, и ее невозможно провести. Историческая и философская науки есть прямое продолжение мифологического воспроизведения событий минувших и текущих эпох, и тут даже не о чем спорить; из набора некогда разрозненных легенд и мифов, представлявших собой достаточно определенную по тем временам систему познания миробития, перекочевывавшую от народа к народу вслед за вышедшим из Египта на захват обетованных земель стержнем господства и рабства, как раз и сформировался, если исходить из реалистических позиций, вернее, только и мог сформироваться тот ныне принятый и узаконенный единый рукописный миф, называемый всемирной историей человечества, который, как и разрозненные тронно-оракульские и тронно-жреческие измышления времен Древнего Царства, Греческой и Римской империй, надежно выполняет свою исторически заданную (в пользу тронов) миссию.

## XL

Историки и особенно философы утверждают, что все гениальное просто, а потому и приемлется жизнью и затем безотказно работает в ней веками; к этой известной аксиоме мне бы хотелось добавить еще одно измерение гениальности — близкую, да, хотя бы близкую к естественным закономерностям жизни целесообразность затеваемых или предлагаемых свершений. Кем бы и с какой бы целью ни творилась история, но она творилась именно так, как творилась и продолжает твориться (с перекосом в пользу дворцового процветания и укоренением хижинной нищеты и несправия), и иерархам от мирских и церковных знаний надо было лишь согласно принятой ими на себя роли внимательно присмотреться к окружающему (и окружавшему прежде) миру и реалистически воспроизвести его; казалось бы, всё до гениальности просто, ибо при непредвзятом подходе к объекту исследования все само собой становится на свои места, и не нужно выстраивать никаких научных концепций, чтобы открыть правду и истолковать ее; да, еще раз повторю: всё до гениальности просто, но почему-то именно эта очевидная простота не устраивала и не устраивает ученых мужей и церковников. Вместо достоверного описания исторических фактов и событий, какие происходили на их глазах, они начали искать концепцию взглядов на совершавшиеся и совершающиеся дела, то есть искать возможность истолковать их суть в русле тронных интересов, и уже само это отступление от реального изложения исторических свершений поводырствующих особ свидетельствует об изначально-целенаправленном в пользу тронов искажении истории. Таким образом уже на раннем этапе становления и развития исторических и философских наук была определена их далеко и далеко не гражданская, а дворцово-холуйская заданность, в согласии с которой они и начали не излагать историю, ибо в таком случае им невозможно было бы отступать от правды, а втискивать, именно втискивать исторический процесс развития в сооруженное ими же тронно-продиктованное русло внушения. Героизация царских деяний — это был первый, как уже говорилось выше, и, может быть, самый грандиозный шаг в искажении истории; пращурные (оракульские и жреческие) мудрецы обратились к простому, а потому гениальному (в смысле антинародной значимости) приему искажения — прямому и беспардонному прославлению царских особ; однако, думаю, было бы неверно полагать, что народы в древности не обладали способностью распознавать сию подававшуюся им ложь и противостоять ей; обладали, и способность эта, так ли, иначе ли пугавшая поводырствующих особ, заставляла их искать до-

полнительные возможности затмевать истину, и таким затмевающим туманом стало противопоставление жестокостям и мстительности земных владык жестокости и мстительности богов, наделенных непререкаемым правом карать и милловать правителей и народы. То, что поводырствующие особы творили на земле (и что во все времена, как и теперь, составляло и составляет суть власти), оракульские и жреческие мудрецы механически, да, именно механически, перенесли в сферу богов, и это был, по сути дела, второй и, возможно, еще более гениальный (в антинародном, повторяю, значении) шаг к укоренению в сознании простолюдинских масс подаваемого им (в упаковке правдоподобия) сфабрикованного во дворцах и храмах очередного тронно и божественно освященного обмана. В конце концов ведь не случайно олимпийские боги, как, впрочем, и древнеегипетские, и римские, были поделены первожрецами на представителей добрых и представителей злых сил; такое деление — это не логически вычисленная условность, какую надо было тогда спроецировать на жесточайший драматизм жизни (не будем забывать, что происходило все это в разгар ожесточенных схваток хищнического мироустройства с идиллическим — «славные Гипербореи» — за господство над миром), но насущная потребность затмить, повторю в третий раз, жестокостью и мстительностью богов жестокость и мстительность земных владык, поднимавших народы на борьбу с коварнейшими замыслами особ из высочайшего олимпийского семейства. Это было первым осмысленным искажением истории, то есть отправной точкой узаконенного (научно-узаконенного) оправдания лжи; соперничали между собой за право господства не боги, а цари, но истина сия оставалась за порогом внимания, а вместо нее выдвигались на передний план происки жестоких и мстительных богов, стремившихся руками избранных ими правителей и народов разрешать свои амбициозно-олимпийские притязания. Да, соперничали не цари и подвластные им народы, а боги, избиравшие для себя среди властителей и их подданных объекты покровительства и уничтожения, и вся кровь, которая лилась в схватках за некое достойное будто бы существование, кровь эта списывалась на богов, стравливавших личности и людские сообщества, а поводырствующие особы, реально стоявшие за всеми подобными схватками, должны были представлять и представляли (согласно дворцовой логике) этакими борцами, встававшими на защиту справедливости, и вдохновляли народ, народы на «великие деяния». Так по крайней мере выглядит история в концептуальном ее видении, то есть через героизацию царских персон, и хотя видение это никак не согласуется с правдой, но преподносилось и преподносится в таком впечатляющем правдоподобии, что и теперь, спустя почти двадцать тысячелетий с первого камня (Древнее Царство), положенного в основание сей исторической концепции, все еще не иссякает в народе, народах, простолюдинских массах вера в святость сего досужего сочинительства, которое, подменяя правду, барьером преграждает путь к познанию процессов бытия. Столь долговременный обман простолюдинских масс основывался главным образом на том, что боги бессмертны, а значит, бессмертно и зло, творившееся ими (ведь не случайно же мифы о доброте небожителей буквально теряются среди мифов об их мстительности и жестокости); именно в таком ракурсе подавались массам не столько даже исторические, сколько текущие события, из чего следовало, что если коварство богов бессмертно, то и борьба с этим злом, на какую царями вдохновлялись народы, представлялась нескончаемым и богоузаконенным героизмом. Здесь я позволю себе обратиться к самому историческому из исторических свидетельств, коим, как считается, обладает человечество, то есть к Библии, к ее Ветхому завету, страницы которого и по силе заложенного в них драматизма, и по оправдательному пафосу самых, казалось бы, кровавых эпизодов истории служат незаменимым примером лжеисторического (в рамках концепции героизации и оправдывающего правдоподобия) видения исторического процесса; Ветхий завет — это, по сути дела, кровавая летопись царских деяний, преподанных таким образом, будто поводырский меч, стиравший с лика Земли города, народы, государства, цивилизации, являлся и являет-

ся самым благословенным Божиим промыслом. Всё, всё в той далекой от нас древности, если верить Библии, делалось по воле Господа и под Его покровительством; под Его покровительством топились в крови города, уничтожались народы, но вся эта бесчеловечная жестокость, проявлявшаяся в захватнических (наподобие Иисуса Новина) походах, оказывается, если верить Библии, носила не поработительский, а освободительный характер и послужила своеобразным трамплином, позволившим сделать человечеству решительный скачок от варварства и дикости к цивилизованным отношениям. Но если реально посмотреть на ход исторических событий, то картина жизни обретает совсем иные очертания, в то время как в действительности шел самый неприкрытый захват фараоновскими державниками обетованных земель, из-под пера библейских летописцев вылуплялась эта искаженная история пращурного бытия, которая затем и была канонизирована и представлена людским сообществом как первообразчик всей распространившейся по странам и континентам цивилизации. В память человечества, по сути дела, был заложен исторический прецедент, по которому предстояло действовать или, вернее, на который приходилось опираться всем последующим поколениям, и независимо от того, насколько мы захотим или не захотим признать это, пророческая затея библейских старцев оказалась не столь уж недостижимой; ведь мы и сегодня, слава царей, заливавших кровью планеты, с тем же безумством готовы возносить на пьедесталы новых и новейших тиранов, ибо у нас нет других прецедентов, как только героизированная история библейских, да и всех последующих, то есть небиблейских, царств и царствований. Такое видение истории привело нас в конце концов к тому, что мы не имеем даже приближенного к реальности представления о развитии общественных отношений и становлении общественного бытия, а пользуемся только закамуфлированным (в своих искажениях) правдоподобием, узаконенным, с одной стороны, церковными, а с другой — научными догмами. Но жизнь свидетельствует, что вечной лжи не бывает; приходит черед, и она, открывшись, способна взорвать любой, хотя бы и богоустановленный фараонами миропорядок, и чтобы упредить такой поворот событий, угрожавший дворцам и храмам необратимой катастрофой, фараонские новодержавники, достаточно обогащенные опытом зомбирования простолюдинских масс, как раз и предприняли на рубеже шестнадцатого — двадцатого столетий усилия в разработке некоего нового (выше о нем уже шел разговор) концептуального взгляда на исторический процесс развития. Фактически ничего нового в этом предложенном концептуальном взгляде нет, его скорее можно было бы назвать новым обманом простолюдинских масс, поскольку подмена прямой героизации поводырских деяний их опосредованным возвеличиванием (хотя бы и через фарисейские похвалы народных свершений) ничего не меняет и не может изменить в социальном и нравственном укладе жизни.

## XLI

Наука — понятие столь же основательное, как и религия, и обычно воспринимается людьми как средоточие истин; так думали наши предки, так, думаю, полагаем и мы, поддаваясь универсальности этого слова или понятия для всех минувших и текущих эпох (разумеется, независимо от уровня постижения знаний); что касается точных наук, то тут деятельность ученых мужей ни у кого не вызывает сомнений, поскольку результаты их усилий воплощались и продолжают воплощаться в очевидный для всех технический прогресс, но что касается гуманитарных наук, то есть истории и философии, то тут вступает в действие некая инерционная сила, оккупационно-пронизывающая нас, и мы вольно или невольно подгоняем под общую крышу аксиоматизма и максимализма, то есть крышу неоспоримых технических достижений (тут при любой фальши ни автомашина не сдвинется с места, ни самолет не поднимется в небо), — да, вольно или невольно переносим, или совмещаем, или идентифицируем, или, еще точнее, ставим в один ряд академически неопровержимых истин и достижения в облас-

ти точных, и достижения в области гуманитарных знаний. Думаю, не что иное, а только эта ошибка, если, конечно, ее можно назвать ошибкой, как раз и привела мировое сообщество (простолюдинское большинство) к тому катастрофическому состоянию жизни (к черте мирового господства, ныне бутафорски прикрытого понятием «глобализация»), в каком оказались прежде всего те народы, которые никогда не занимались ни ростовщицеством, ни хищничеством, не объявляли себя богоизбранными и не порабощали себе подобных, никогда и ни в чем не превозносили свой образ жизни («славные Гипербореи») и не навязывали его, тем более силой, ни ближним, ни дальним соседям, поскольку главными достоинствами человека почитали миролюбие, добронравие и свободу, как данную природой единую для всех ценность личного, семейного и общественного бытия. Думаю, вряд ли кто-либо мог предположить на заре становления общественных отношений, что человечество окажется в объятиях, я бы добавил, удушьющих объятиях, рукотворных закономерностей, и если за что-то и приходится сегодня расплачиваться нам, то прежде всего за деяния, совершавшиеся вследствие исторического невежества, в каком держали и продолжают удерживать нас; я говорю о стержневом процессе истории, в котором народы, доведенные до отчаяния голодом, нищетой, бесправием, оказались в конце концов в такой степени лишенными элементарного человеческого достоинства, что готовы были, потеряв веру в себя, в свои силы и возможности, просить помощи и заступничества у каменных или деревянных истуканов (доязыческий и языческий периоды), затем с явлением религиозного фундаментализма истязать себя в молитвах перед иконостасами (те же, только намалеванные на холстах, идолы), но по мере того, как начали проявляться достижения технического прогресса, спасительные взоры все более и более стали обращаться уже не к церковной, а к академической святости, что само по себе и естественно, и закономерно (разумеется, в условиях продолжавшихся притеснений, то есть бесправия, голода, нищеты); результаты, достигнутые в области точных наук, продолжают и сегодня ошеломлять нас, и мы готовы, как на очередного Спасителя, молиться на Науку, воспринимая это понятие в том его естественном значении, в каком, если следовать житейской логике, оно и должно восприниматься. Сегодня мы трепещем перед Наукой еще более, чем наши предки трепетали перед всемогуществом Бога, но, как показывает действительность, и этот новый идол поклонения — технический прогресс — остается глухим к мольбам и нуждам простолюдинских масс. Церковь, выставлявшая себя спасителем человеческого рода, лишь самообогащалась (и самовозвеличивалась) за счет этого златообрамленного посулами благоденствия жесточайшего обмана народов (простолюдинских масс); заменивший или, вернее, все еще заменяющий ее на фоне светского (мирского) иконостаса идол технического прогресса, как ни покажется это странным или по крайней мере необоснованным (вроде бы необоснованным), служит уже не только обогащению царских, королевских, императорских, президентских, премьерских правящих дворов, но и обсевшей их олигархической элите, ибо всё, что создается на базе открытий точных наук, подпадает прежде всего под могущественную длань властей предрержащих и используется ими как некий эликсир бессмертия в своих тронно-корыстных целях. У меня все больше и больше складывается впечатление (когда пытаюсь представить в единстве весь ход исторического развития), что народы, как несмышленные дети, не умевшие еще оценить данные им блага жизни (кои они должны были беречь и приумножать), именно как несмышленные дети, безоглядно верящие лишь в добрые начала бытия, вдруг из величественных, нежных объятий природы попали в жестокие объятия рукотворных закономерностей и оказались настолько ошеломленными, что уже около двухсот столетий не могут понять, что с ними произошло, кто и для чего столь цинично надругался над ними. Следует ли считать это ошибкой или результатом действий определенных сил, вышедших после классового расслоения на арену исторических действий, мы не знаем; если речь идет о простой ошибке, то человечество более чем дорого заплатило и продолжает платить за нее, но если это

не ошибка, а целенаправленное действие, то тогда следует согласиться, что у нас никогда не было и нет науки о миробытии в том всеохватном значении, в каком навязано нам воспринимать ее, что во все времена нас только водили за нос, говоря о свято-накопленном кладезе знаний, к которым как к источнику чистых истин мы только и можем и должны припадать в поисках материальных, социальных и нравственных благ. И припадаем, веками припадаем и веками же пребываем в бесправии, голоде, нищете. В конце концов пора бы уже понять, что между точными и гуманитарными науками, как, впрочем, между реальной и научно истолкованной жизнью, лежит хотя и невидимая, но по всем статьям непреодолимая пропасть; ошибки в области точных наук, как показывает действительность, быстро распознаваемы и обычно носят локально-разрушительный характер (крушения самолета, парохода, поезда), тогда как просчеты и ошибки политиков, историков, философов, особенно если они начинены тронной заданностью, обнаруживаются спустя века, тысячелетия и оборачиваются, как правило, либо неискоренимым бесправием народных масс (как это произошло, к примеру, с классовым расслоением), либо полным исчезновением с лица Земли народов, государств, цивилизаций (чем, впрочем, только очевиднее подчеркивается несоответствие между тем, что мы подразумеваем под словом «наука», и тем, что оно воплощает в себе на самом деле). Ведь наука — это не замкнутая в себе самоцель, когда открытия делаются ради открытия; результаты познаний должны служить людям, то есть работать на достижение общего блага, но если в случае с техническим прогрессом плоды от прилагаемых усилий в той или иной мере сопоставимы с замыслами (оставим пока за скобками вопрос о том, кем и на какие нужды использовался и продолжает использоваться этот научный потенциал), то во втором случае, то есть в случае с исторической, философской, экономической, теологической науками, итоги усилий не только неадекватны замыслам (тут, думаю, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что человечество со времен Древнего Царства так и не продвинулось ни на шаг в искоренении своего главного бедствия — системы господства и рабства), но, напротив, прямо противоположны в своем заданном (изначально заданном) противостоянии. Конечно, я понимаю, насколько трудно согласиться с тем, что вся наша и сиюминутная, и эпохальная жизнь движется по замкнутому кругу и что в этом повинны прежде всего религия и наука; наука, повторяю, не в навязанном нам обобщенном значении провозвестницы правды и главной опоры в формировании социальных, экономических, нравственных (духовных) устоев бытия, а в той своей страшной и скрываемой до сих пор обнаженности, в какой она предстала бы, если бы народы решились снять с нее веками ткавшуюся (ею же и для себя) бутафорскую одежду. Давайте будем откровенными хотя бы перед собой и признаем, что ученые мужи, занимавшиеся в области точных наук, во все времена прежде всего работали на военный потенциал тронов (по принципу: сначала для армии, затем для улаживания царствующих особ, а уж потом, что окажется ненужным, простолюдинским массам); иными словами, поводырствующие персоны получали все больше и больше возможностей для упрочения своего господства, масштабы кровопролитий расширялись, а общественное благо, ради достижения которого вроде бы и начинались все эти самоубийственные побоища, оставалось лишь мерцающими (во тьме эпох) огоньками несбывшихся простолюдинских надежд. Что в таком случае должны были предпринять ученые мужи, то есть оракульские и жреческие летописцы-мудрецы древнейших времен, которые закладывали основы мироведения как науки и что могли и должны были предпринять позднейшие светила исторических и философских знаний, на глазах которых некогда идилический мир «славных Гипербореев», не знавший ни войн, ни рабства, ни насилия, превращался в хищническое пожирательство людей людьми, народов народами? Прежде всего они должны были взяться за исследование социальных проблем, возникавших на черте, или меже, власти (все усиливавшейся власти богоизбранных) и бесправия (все усиливавшегося бесправия простолюдинских масс), и я не думаю, чтобы они недопо-

нимали сути происходивших вокруг них процессов; напротив, уже древнейшие расшифрованные письма, не говоря уже о позднейших, более чем свидетельствуют, что да, понимали; а еще более понимали, на кого должны были работать, то есть кому и с какой целью прислуживать, потому-то вместо поиска истинных причин, порождавших и продолжающих порождать страдания в народных массах, стали закладывать в основу своего (навязываемого, главное, навязываемого людским сообществом) миротолкования концепцию героизации деяний царствующих особ. Выше уже говорилось, что дала такая концепция для исследования и толкования сложившихся общественных отношений и общественного бытия, и я позволю себе лишь добавить здесь, что героизация как система взглядов на исторические и текущие процессы развития, несмотря на все свое очевидное вроде бы банкротство (разве неясно, к чему привели мир все наши эпохально и современно чтимые кумиры-поводыри?), не только не осуждена и не отброшена нынешними академическими иерархами знаний, но, напротив, продолжает преступно совершенствоваться ими как при переписывании древнейших, так и в изложении сиюминутно происходящих событий, а это означает, что всех нас вновь возвращают на колесо замкнутого исторического вращения.

## XLII

Ученые и сегодня, как и сто, и тысячу, и тысячи лет назад, уверяют нас, что суть их научной деятельности заключена лишь в том, чтобы найти причины, из века в век повергающие народы (простолюдские массы) в бедствия, и устранить их; цель настолько благородная и настолько желанная, что она просто-напросто не может ни у кого вызывать сомнений; однако если, освободившись от этого эпохально навязанного нам убеждения о чистоте и беспорочности помыслов и деяний поводырствующих столпов знаний, то есть от того исторического аксиоматизма (догматизма), каким буквально пропитаны все наши представления о человеческом миробытии, освободившись, иначе говоря, от лжи, преподносимой нам в обрамлении парадно-позолоченных окладов, риз и лавровых венков академического величия, посмотреть на деяния ученых мужей с позиций жесткого реализма, то есть с позиций народного бытия, то можно без каких-либо особых усилий увидеть, что между тем, что историки и философы провозглашают главным предметом исследования в историческом процессе развития (раскрытие причин бедствий и способы достижения общего благоденствия), и тем, что на самом деле кладут в основу своих человековедческих (социальных, экономических, духовных) изысканий, лежит пропасть, которая с наслоением веков не только не устраняется, как преграда, мешающая познанию истины, но, напротив, расширяется и углубляется до абсолютной, то есть вечной, непроходимости. Известно (и это никто еще не оспорил), что главным вопросом истории, то есть исторической науки, как его ставит жизнь, являются взаимоотношения народа и власти; в излагаемой же истории (что отчетливо просматривается в трудах историков и философов всех эр, эпох, поколений) этот главный вопрос по каким-то совершенно неясным, необоснованным, необъясненным причинам оказывается подмененным совсем иным исследованием — исследованием противоборства царств и царствовавших особ, которые, возгораясь идеей мирового господства, сталкивали государства и народы в кровавых побоищах, и в результате такой подмены вся глубинная сторона происходивших исторических событий загонялась, как, впрочем, загоняется и теперь, в тень забвения, а на виду, то есть для обозрения и восприятия, остается лишь некое геройство (историческое геройство) поводырей и ведомых ими народов. Схематично этот процесс можно представить так: цари, провозглашающие целью своих деяний достижение общего блага, бьются за расширение тронного господства, народы, обманутые посулами общих благ, кладут на алтарь этих недостижимых царских посулов свои жизни, разоряясь и разоряя себе подобных, а ученые мужи, потрясая мандатами некоей академической беспредвзятости, лишь подливали и продолжают подли-

вать, как сказали бы в простонародье, масло в огонь, словно предназначением их было и остается удерживать мир людских сообществ в состоянии постоянного кипения осмысленных для властителей и бессмысленных, вернее, самоубийственных, для простолюдинского большинства страстей и действий. Из сказанного, думаю, вполне правомерно вытекает вывод, что не столько, может быть, властители, вышедшие на историческую арену действий после классового расслоения и давшие миру хищническую систему господства и рабства, сколько прислуживавшие им иерархические столпы знаний, искажавшие и продолжающие искажать (в пользу тронов) исторический процесс развития, повинны в том бедственном состоянии, до какого доведено сегодня человечество (доведена главная его часть — простолюдинское большинство). Они преступники; их преступление неискупимо перед человечеством, но в дремоте своей мы пока не видим и не осознаем этого; над нами возвышаются гигантские пьедесталы, перед нами золотом и серебром горят иконостасы, и, думаю, мы не сможем перешагнуть порог этой «святости», пока не отбросим ложное и не возьмемся за истинное просветительство. В юриспруденции многих народов и государств определенным преступлениям присваиваются определенные категории; во второй половине двадцатого столетия была сделана, по сути дела, первая попытка подвести деяния тоталитарных правителей (главарей фашистской Германии) под статью «преступление против человечности»; конкретные преступники предстали перед международным судом за конкретные злодеяния (известный Нюрнбергский процесс), были осуждены на смертную казнь и казнены; дело вроде бы великое, однако значение суда, как ни пытались наполнить его эпохальным «торжеством справедливости», не перешагнуло за рамки трех — пяти десятилетий, так что ни тронного, ни сугубо национального, на что возлагались надежды, устрашения не получилось; не получилось потому, что на этом широко разрекламированном и промаркированном процессе осуждались лишь горькие плоды хищнической — фараоны и рабы — цивилизации, а не ее основы, заложенные древнеегипетскими фараонами в политическое, экономическое, нравственное (духовное) бытие народов и порождавшие и продолжающие порождать и тоталитаризм всех мастей и марок, и стремление добирающихся до власти «богоизбранных» к мировому господству. Нюрнбергское судилище — это всего лишь очередной вариант расправы одних преступников, повязанных фараоновским человеконенавистничеством, над другими, осмелившимися заявить о своем единоличном господстве над миром, и если мы пока еще не осознали до конца, что это лежало в основе этого всеглобального (в середине двадцатого столетия) кровопролития столкнувшихся между собой двух зеркально отражавших друг друга хищнических миров, равно стремившихся захватить власть над всеми народами и континентами, над всем человечеством, то это говорит лишь о степени нашей зомбированности, то есть о том обмане, в каком нас власти предержавшие удерживают вот уже около двухсот столетий. Столкновение двух хищнических миров в двадцатом веке один к одному напоминает столкновение Рима и Карфагена, и если бы уничтожен был Рим, а не Карфаген, то что бы изменилось в хищническом мироустройстве, то есть в системе господства и рабства, зародившейся в Древнем Египте и выплеснувшейся с берегов Нила на обетованные пространства Земли? И правители Рима, и правители Карфагена — это выходцы из одного и того же хищнического гнезда, то есть из-под одной и той же наседки, которую правомерно было бы назвать «фараоновской державностью», а потому и действия их обрамлены одной и той же жестокостью как в угнетении простолюдинских масс, так и в междоусобных (междворцовых, что, возможно, было бы точнее) схватках за перераспределение богатств, славы, власти. Но вернемся к Нюрнбергскому процессу, который, повторюсь, предлагают нам воспринимать как некое высшее достижение мировой юриспруденции, возникшей на волне потребностей мирового сообщества; но если бы это было так, если бы судьи, представлявшие державы-победительницы, были действительно судьями независимыми, то есть от народа, народов, а не от прави-

телей, выдавших им мандаты на справедливость,— да, если бы судьи были действительно судьями, а не преступниками, то есть адвокатами преступников, готовивших мир к бойне, и не грезили (тайно, пусть тайно) лаврами сципионовского Рима, то параллельно с осуждением конкретных преступников, посаженных на скамью подсудимых за злодеяния против человечности, вынесли бы приговор (смертный приговор) и всей нашей хваленой цивилизации, основанной на системе господства и рабства и способной лишь порождать разбой и тоталитаризм. Но этого не произошло, мир снова оказался обманутым, то есть в очередной раз сработала та рукотворная (тронноисходная) закономерность, о которой мы, надеявшись на ученых мужей, так до сих пор не имеем сколько-нибудь ясного представления; по сути дела, как это уже не раз бывало в истории, преступники-победители осудили на казнь и казнили преступников-побежденных, и успокоенное на несколько десятилетий общественное сознание как раз и явилось, с одной стороны, тем плодом миротворчества, какой и предполагалось бросить народу, народам, а с другой — теми беспрепятственно распахнутыми воротами к мировому господству, в какие незамедлительно, да, именно незамедлительно, хлынули державники всех мастей, и прежде всего, конечно, устроители Нюрнбергского судилища. Давайте чуть-чуть вспомним историю. Римские стратеги, борющиеся с Карфагеном (за господство на Средиземном море, не будем забывать об этом), торжественно заявляли, что сражаются за свободу, справедливость, независимость; пропаганда сих добродетелей была так сильна, что за ее барабанной торжественностью вроде бы никто не замечал, как подавлялись римскими легионерами и закабалялись все новые и новые примыкавшие к границам империи народы и государства (позднее подобному «карфагенизму» подвергнутся кельты, бритты, франки, славяне); судьи Нюрнбергского процесса, провозгласив себя миротворцами всех времен и народов, уже десятилетие спустя объединились в преступный военный блок НАТО и начали проводить ту же политику геноцида против неугодных (неугодных им) народов, какую не успели, вернее, не смогли довершить учредители Тысячелетнего рейха; полагая, что им не грозит никакая ни прижизненная, ни посмертная кара (ведь «у сильного всегда бессильный виноват»), они с невинностью ребенка в глазах принялись подгребать под себя все базовые основы жизнеобеспечения человека и человечества, поставив тем самым на грань выживания африканские, азиатские, ближневосточные, европейские народы; в дело были пущены экономическое и силовое (жандармское) давления, дважды беспрецедентно накрывался бомбами Ирак, еще более беспрецедентным бомбардировкам была подвергнута Югославия, на которую великие державы мира обрушили всю свою объединенную мощь. И куда смотрела и смотрит мировая юриспруденция, и кто теперь займет кресла мировых судей, и кого посадят на скамью подсудимых? Я не исключаю, что преступники-победители вновь окажутся праведниками, то есть все в истории повторится в очередной раз, но теперь уже, надев на себя нимбы праведников и воцарившись на троне мирового господства, нынешние державники (богоизбранники), уже никому не позволят встать поперек избранного ими пути, и доверчивое человечество, нашпигованное ложью о торжестве справедливости, веками выливавшейся из дворцов и храмов, увидит себя в кандалах абсолютного и уже необратимого рабства.

### XLIII

Все мы привыкли считать (в среде простолюдинского большинства, я имею в виду), что корень зла исходит от правителей. Конечно, это устоявшееся понятие трудно оспорить, если смотреть на историю развития человечества не как на единый процесс жизни, переподчиненный или поставленный (в период классового расслоения) на рельсы рукотворных закономерностей, а как на некую творческую активность (в смысле завоевательских походов и кровавых побоищ) поводырствовавших, царствовавших особ, вырабатывавших в этих самоотверженных битвах и дворцовых переворотах так называемую систему обществен-

ного бытия; система эта — система господства и рабства, — отшлифовавшись (во всех своих компонентах) в период Древнего Царства, дала такой простор для деятельности богоизбранников, что ее трудно уже было отличать от некоей естественной будто бы закономерности, по какой только и могла выстраиваться жизнь людских сообществ; она оказалась тем благодатным (благодатным для тронных и околотронных персон) руслом, по которому, однажды избрав его, уже неостановимо загрохотал селевой поток вседозволенности и насилия, снося своей каменно-грязевой массой все встречавшиеся на пути самобытные культуры, самобытные цивилизации народов, и в иконостасно-пьедестальную историю славы и величия попадали только те правители, которые, поддаваясь селевому напору разбоя и разрушения, действовали в лад с этим молохом человечества, и выпадали из этого героизированного ряда спасителей и наставников те, которые пытались испытать судьбу в противостоянии потоку. Таким образом, условия дворцовой и условия хижинной жизни равно продиктовывались уже не коронованными личностями, а повсеместно (начиная от Древнего Царства) насаждавшейся системой господства и рабства, так что злодеяния царей ни в народе, ни среди ученых мужей уже не воспринимались как плоды хищнического миропорядка, но классифицировались (разумеется, в тех случаях, когда их невозможно было героизировать) как преступления разового порядка (отсюда и деление царей на добрых и злых); конечно, горько сознавать, что мы привыкли именно к такому восприятию истории, а потому и удовлетворяемся судом и казнью тиранов, полагая, что наконец избавляемся от зла, тогда как система господства и рабства продолжает торжествовать вокруг нас и сеять плоды нищеты, страданий, бесправия. Цари — преступники, это бесспорно; но они все же (каждый из них) преступники разового порядка; исток же преступности — система, продолжающая (из века в век) ввергать мировое сообщество во все новые и новые кровавые катаклизмы, но остающаяся, как жена Цезаря, вне подозрений. Так кто же все-таки должен сидеть на скамье подсудимых: те или другие тиранствовавшие злодеи, как бы они ни распределялись в соответствии с жезлами победителей и побежденных, или же система, воспроизводящая этих тиранов (но система ничего не могла и не может предложить миру, кроме карфагенского беззакония или Нюрнбергского судилища), или же нечто еще, способное встать и над конкретными злодеяниями поводырствующих особ, и над системой, обращенной (усилиями ученых мужей) в некую естественную будто бы закономерность жизни? Цари, дворцовая элита творили зло, холуйствовавшие при дворах Религия и Наука, сумевшие закрепить за собой статус правдоисследателей (вещателей истины в последней инстанции), вместо того чтобы исследовать это сопровождающее человечество пагубное (пагубное для простолюдинского большинства) явление и открыть глаза людям на то, что на самом деле творилось с ними и к чему поводырский произвол мог привести (да почти уже и привел) мировое сообщество, — да, вместо того чтобы исследовать это страшное явление произвола и насилия, принялись узаконивать это зло, преобразуя его (путем героизации так называемых «царских подвигов», ибо и Нюрнбергский процесс есть тоже своего рода героизация, поднимающая на пьедестал величия преступников-победителей) в некое вполне естественное вроде бы течение жизни, в котором господство и рабство возводятся в разряд незыблемых, иначе говоря, вечных ценностей. В общем, на историческом пространстве действий Религия и Наука сделали то, что хотя и можно было бы назвать пособничеством (ведь они действовали с подачи и согласия тронных особ), но более подходит под определение преступность; церковники и ученые мужи (в данном случае тяжесть вины в большей степени ложится на ученых мужей, чем на церковников), хотя вроде бы и не запятали себя непосредственно в казнях и геноциде против народов (впрочем, на этот вопрос у истории далеко и далеко еще нет ясного ответа), но золотоискрящаяся белизна одежд еще не означает чистоту помыслов и свершений. Люди разорялись, гибли в побоищах, горели на кострах инквизиции, гнили в тюремных застенках, истощались на плантациях в рабском труде и бесправии, и у кого из

ученых мужей доаристотелевского и послеаристотелевского периодов пробудилось желание сказать человечеству правду о его бытии? Все гневные суды, в которых преступники-победители отправляли на казнь преступников-побежденных, гневные суды эти, как драгоценные фарфоровые вазы, продолжают и сегодня устанавливаться на полки торжества справедливости, чтобы ими могло любоваться человечество, как некими знаками истины, и этот обман либо не замечается иерархами знаний, либо (что, возможно, более похоже на достоверность) аксиоматизируется их академическим величием. Каждое столетие, каждую эпоху властителями совершаются преступления против человека и человечества; совершаются тиранствующими поводырями и поводырствующими народами (жизнь показывает, есть такие народы, которые, тысячелетиями сплачиваясь на некоем своем провозглашенном безродстве, разносили и продолжают разносить по миру спасительную для себя фараоновскую державность), и нет ни начала, ни конца у этого изматывающего силы народов (простолюдинского большинства) колеса истории. Действительность свидетельствует, что никакими нюрнбергскими или им подобными судилищами невозможно остановить сие дьявольское вращение, по крайней мере пока не будут затронуты корни явления, упирающиеся в систему господства и рабства; невозможно потому, что преступники-победители, то есть организаторы подобных судилищ, никогда не смогут быть объективными в отношении творимых (ими самими) на земле дел, но в то же время настолько распоясываются в осуждении преступников-побежденных, что простолюдинскому большинству и в голову не приходит усомниться в их иконостасно-пьедестальной искренности. Какой же выход? — невольно возникает вопрос. Однако сознание обреченности еще никогда и никому не придавало сил, да я и не вижу здесь никакой обреченности; у человечества есть возможность остановить это чудовищное колесо истории, и для этого не надо даже прилагать каких-либо особых усилий; в конце концов господство и рабство, карфагенизм, нюрнбергские процессы были бы невозможными или, вернее, ненужными в решении политических и социальных вопросов бытия, если бы историки и философы, сообразовавшись в Науку, не отступили бы от реального освещения событий и не встали на путь прямого и необратимого холуйства тронам; всё, что было сделано иерархами от так называемых гуманитарных знаний до Платона и Аристотеля, — всё, всё служило могуществу тронов; эпоха Платона и Аристотеля, которую многие называют порубежной, оказавшись собирательной по отношению к прошлому и отправной (о чем уже говорилось выше) по отношению к будущему, только усилила тенденцию научного тронопресмыкания, и если человечество в грядущем решится на некое новое, подобное Нюрнбергскому судилищу «торжество справедливости», то оно должно будет посадить на скамью подсудимых Науку, да, да, Науку, которая, во все времена подвижничая в услужении тронам, завела мировое сообщество в неодолимый тупик. Преступление Науки против человечества выглядит особенно чудовищным еще и потому, что, огласив свои реалистические позиции, свою объективность и независимость в исследованиях и толкованиях общественного, да, главным образом общественного бытия, то есть заверив народ, народы в искренности своих намерений и целей, а по сути, объявив себя защитницей народной жизни, она, Наука, в течение ста восьмидесяти веков самым коварным образом обманывала человечество; все разорения, все страдания, вся кровь поколений, пролитая людскими сообществами во имя достижения неких якобы светлых идеалов жизни, — все, все эти разорения, страдания и кровь поколений лежат на совести иерархических светил знаний, на совести Науки как одной из организующих ветвей жизни, надежно упаковавшей себя в академические мантии, которые вернее было бы назвать мантиями узаконенной духовной преступности. Я понимаю, что посадить на скамью подсудимых Науку невозможно; хозяйева не дадут в обиду своих верных слуг, тысячелетиями обеспечивавших тронам уют, спокойствие, могущество, бессмертие; что касается народа, то он, к сожалению, все еще не готов перешагнуть ту черту ложной святости, какой еще во времена

Древнего Царства отгородили его от реального осмысления бытия (проще говоря, от созидания своей жизни), и если у народа, народов еще есть хоть что-то, на что можно было бы уповать как на звезду свершившихся надежд, то своим отношением к толкователям миробытия принудить их, то есть Науку, к самопокаянию за совершенное ею чудовищное по отношению к человечеству злодеяние.

## XLIV

Ученые мужи, прославляющие себя на ниве гуманитарных знаний, то есть привыкшие кормиться на ниве оценок и толкований миробытия, утверждают или, вернее, пытаются догматизировать (и это не просто их очередная сфабрикованная ложь, но очередное, рассчитанное на многоэпохальное воздействие преступление перед человечеством), что, дескать, смешение народов, когда идет прямое и косвенное изничтожение их культур и цивилизаций, унификация образа жизни, когда всем поголовно навязывается одна и та же хищническая система господства и рабства, преобразующая все в единополитическое, единоэкономическое, единоедуховное (тут уж: сопротивляешься — заставят, не хочешь подчиниться — сотрут с лица Земли, не оставив даже воспоминаний) пространство обитания, подчинение всех базовых средств жизнеобеспечения человека и человечества единой олигархической системе власти, когда система эта и владеет, и руководит, то есть направляет, и пользуется плодами (трудами) повсеместно загнанного в бесправие и рабство простолюдинского большинства, — все, все это, весь исторический путь человечества, перешедшего со стези естественных закономерностей на стезю рукотворных (словно и в самом деле народы пребывали в до такой степени тупости и безмозглости, что изготавливали для себя яро нищеты, страданий, рабства), есть не что иное, как естественное течение жизни, как воплощение некой природной заданности, исходившей из потребностей социального неравенства личностей, народов, государств как движущей силы, открывающей прямой путь к всеобщему прогрессу и процветанию. Я часто думаю, какой же свободой в созидании своего бытия обладали люди, если, отнимая ее в течение более чем ста восьмидесяти веков, коронованные и олигархические властители мира так до сих пор и не могут полностью отнять ее ни у личностей, ни у народов, ни у государств! Большинство философов (и прежде всего Гегель) полагают, что человечество от несвободы (???) двигалось и продолжает двигаться к свободе и что достижения технического прогресса (по крайней мере пока еще что-то удерживает их от столь же восторженных восклицаний о духовном) являются главным залогом этого успеха; что же, если миражные картины воспринимать за действительность, то всё здесь логично, определено и расставлено по местам; но жизнь, как уже не раз подчеркивалось в этом повествовании, имеет свою логику, ибо вытекает не из суммы произвольных (тронно-продиктованных) оценок историков и философов, а является плодом реально происходивших и происходящих событий, и именно по горечи этих плодов, всегда оборачивавшихся нищетой, бесправием, рабством для простолюдинских масс, довольно просто (лишь бы имелось желание на это, или стремление, или воля к этому) определить весь социальный срез эпохального развития человечества. Во времена так называемой несвободы (если по Гегелю и по примкнувшему к нему нашему современнику — Карлу Попперу) человек, владевший клочком земли, вполне мог прокормить себя и семью, трудясь на нем, он был свободен по крайней мере в выборе своего труда, и достоинство его было равно свободе его жизненных (созидательных) устремлений, тогда как теперь, когда глобализация всех сфер жизни достигла или почти уже достигла, будем говорить так, предначертанных вершин технического (одновременно якобы и политического, и экономического, и духовного) прогресса, человек (крестьянин) оказался настолько беспомощным и бесправным на этом же самом клочке земли, настолько обложженным нормами и порядками олигархического (хищнического) миробытия, а еще вернее, настолько поставлен в зависимость от господствующих (богоизбранных) сил жизни, что ему остается либо только признать над собой это позо-

лоченное, да, вроде бы позолоченное ярмо рабства, либо упрятаться в тишину могил пострадавших от рабства предков. Рабство, поименованное свободой,— вот суть нашего сегодняшнего общественного бытия; мы все зависимы от работодателя, владеющего или, вернее, завладевшего базовыми средствами жизнеобеспечения и средствами массового зомбирования, и чем выше по иерархической лестнице работодатель (олигарх), тем значительнее его узурпированные у народа, народов, полномочия власти, тем жестче его рука и тем бесчеловечнее его хищнические проявления; любой рабочий, крестьянин, служащий, пристроившийся на поприще просветительства, медицины, культуры, технического, военного обслуживания, любой государственный чиновник, начиная от клерка и кончая министром,— все эти сословия, веками втягивавшиеся в междуусобную схватку за ту или иную социальную и политическую значимость, были и остаются, по сути дела, уравненными одним и тем же необратимым бесправием, то есть рабством; выйти из этого рабства равнозначно выйти из жизни; рабочего отстраняют от конвейера, и он нищ и бездомен, ибо все базовые средства жизнеобеспечения у олигарха; над крестьянином стоит оптовик, над чиновником чиновник, над министром премьер-министр, и эта удушающая цепь зависимости и подчиненности настолько опутала человечество, что сегодня уже не приходится говорить не только о достоинстве личности, но и о достоинстве народа, народов, государств. Но что видят и что находят для возвеличивания ученые мужи в этом многоэпохальном процессе закабаления людских масс? Разумеется, не то, что происходит на самом деле и обращает жизнь простолюдского большинства в бессмысленное существование, а то, что парадно предстает фасадами дворцов и храмов и выдается за общий уровень культуры и благосостояния. Дворцы и храмы должны существовать для того, как утверждают академические и церковные столпы знаний, чтобы на них равнялись хижины, как-то странно забывая при этом, что властители никогда не позволят приравняться с собой бесправью; по крайней мере такова реальность, и основой этой реальности по утверждению ученых мужей как раз и является естественное течение жизни. Потребность достатка и основательности, подменяющая или прикрывающая собой потребность обогащения и власти, есть главный козырь в академическом догматизме, позволяющий иерархическим столпам знаний удерживаться на гребне ими же самими оглашенных истин, но сколько бы ни канонизировались эти их истины, на основе их, как показывает действительность, невозможно создать даже сколько-нибудь приближенный к реальной жизни макет становления общественных отношений и общественного бытия. История туманна, но это не тот туман, каким природа заполнила бы долину ушедших в небытие веков; он — явление напускное, рукотворное, и если официальная историография так и не представила более или менее приемлемую картину становления и развития человечества, то это не означает, что такая картина не восстановима или не предпринимались попытки ее восстановления; предпринимались, и не раз, но тронно-академический молох, снабженный маховиками и жерновами наращивавшегося догматизма, обращал в прах все, что вставало на его пути, на пути канонизированных истин, и кровавое пятно, должное бы сказать о совершенном злодеянии, смывалось или, вернее, прикрывалось потоком красивых и ложных академических (исторических, философских) постулатов. Между тем, провозгласив классовое расслоение великим позитивным явлением, хищничество — великим двигателем прогресса и процветания, наука так до сих пор ничем не подтвердила правоту (тем более аксиоматическую) этого своего основополагающего тезиса; не подтвердила не потому, что жизнь изобилует совсем иными, противоположными доказательствами (несмотря, впрочем, на проворство, с каким иерархи от знаний могут додумывать и подменять недостающее), но потому, что мир, созданный по произволу поводырского разума и поставленный на рельсы рукотворных закономерностей, хотя и выглядит вроде бы неким сплоченным монолитом, способным противостоять любым катаклизмам веков, однако на самом деле является лишь карточным домиком, подпертым с двух сторон религиозным и ака-

демическим фундаментализмом, и он в одночасье (и это хорошо сознавали и признают фараоновские державники вкуче со всей своей духовной и академической челядью) может рассыпаться и погresti под собой все тронно-напыщенные (преступные) наслоения веков. Конечно, я могу в некотором роде согласиться с оппонентами, что хищническое мироустройство (фараоновская система господства и рабства) — это далеко не карточный домик, но и не тот природный монумент, возведенный на незыблемых основах мироздания, каким пытаются представить его рукотворные создатели; слова, слова, слова — это еще не доказательство в пользу возведенного в ранг незыблемых приоритетов академического аксиоматизма; и если наука до сих пор не дала ясной картины развития человечества, то это не означает, что ее невозможно восстановить — пусть хотя бы по тем скудным сведениям, какие сохранились в легендах и мифах прошлых, пращурных, и современных, текущих столетий и десятилетий. Вообще-то хотя и считается, что сфера легенд и мифов является самой исследованной сферой духовного проявления человеческого разума и что в сих преданиях заключена историческая память народов, но такая трактовка, если внимательней подойти к разбираемому вопросу, по крайней мере не соответствует ни исторической, ни текущей действительности, ибо мифы сочинялись и продолжают сочиняться во дворцах, храмах и подаваться народам, чтобы в поколениях закреплялось не то, что происходило на самом деле, а извращенные и возвеличенные (в пользу тронов) версии событий, подвигавшие и продолжающие подвигать человечество (через реки крови) к установлению мирового господства.

#### XLV

Только в одном, пожалуй, можно согласиться с пращурными и современными столпами знаний, что религия и мифология не просто влияли на исторический ход жизни, на формирование устоев хищничества, но и сегодня представляют ведущую силу в духовном, нравственном притеснении народов; согласно церковной и академической догматике, им придается значение факела, освещающего путь к вратам всеобщего благоденствия, тогда как истинная роль факела, о которой ученые мужи предпочитают умалчивать, заключена в другом — слепить своим ярким свечением личности и народы в их стремлении к реальным человеческим ценностям; действие это в образном выражении сравнимо лишь с тем, что человек, долго смотрящий на солнце (на золотой блеск дворцовых и храмовых престолов), в конце концов видит только темные круги и перед собой, и позади себя и, потеряв ориентацию в пространстве (в историческом пространстве веков), легко принимает руку ведущего и следует за ним. Выше я уже говорил о роли Церкви в этом процессе (на всех этапах ее становления, начиная от оракульского и жреческого фанатизма и завершая религиозным фундаментализмом), а потому позволю себе остановиться здесь на мифологии, которая, с одной стороны, является предтечей исторической и философской наук, а с другой — имеет и сегодня самостоятельное значение, рядясь в одежды литературных версий, исполненных некоего и пращурного, и текущего драматизма, оживая на полотнах живописцев, театральных подмостках, в теле- и киносериалах, которые, представляя собой лишь механизм индустриального зомбирования масс, подаются как невинные развлекательные зрелища для простолюдинов. Прежде всего следует усвоить, что легенды и мифы всегда, как и теперь, сочинялись во дворцах и храмах и всегда, как и теперь, с одной и той же тронно (или дворцово) обелительной целью, и главнейшим заблуждением (если, конечно, это можно назвать заблуждением) историков и философов является то обстоятельство, что в мифотворчестве они склонны видеть не дворцовое и храмовое начала, а некую высшую (божественную) потребность народного бытия; но, во-первых, у народа, народов не было повода исказить историю, то есть переводить реальную действительность в сферу не всегда четких, туманных символов, и, во-вторых, трудно поверить, чтобы народ, народы, изначально (и это бесспорно) думавшие об основательности жизни и стремившиеся к ней, решились вдруг

сойти с тропы реального восприятия и толкования бытия и ступить на тропу (пусть хотя бы и божественного) самозапугивания. Ни в древних, ни в современных (о них ниже как раз и пойдет речь) легендах, сказаниях, мифах нет ничего, что могло бы сказать об их принадлежности к народным истокам, но зато все они изобилуют царскими и божьими разборками; жестокие и мстительные боги легко узнаваемы в жестоких и мстительных царях, стремившихся к расширению и упрочению своего господства, точно так же, как и героизация богов свободно переносится на земных владык, так что, если без богобоязни посмотреть на реальную картину жизни, которая вольно или невольно складывается из мифических сюжетов и действий, то она иначе не предстает как в кроваво-красных тонах дворцовых переворотов и массовых побоищ, в которых бессмысленно стравленные народы самоизничтожали себя, оглуленные сказками о грядущем благоденствии. Как видим, мифосочинители опирались далеко и далеко не только на свои вымыслы, но и на реальные события; но они брали в основу своих сюжетов лишь поверхностную, четко видимую часть этих событий и насыщали их не тем действительным драматизмом, каким они оборачивались для народов, для простолюдинских масс, а все переводили в драматизм царских особ, обретавших и терявших престолы, а потому пращурная мифология как ветвь исторической науки не давала и не могла дать ясной картины происходившего. Чтобы иметь простор для переименования истории, для манипуляции историческими фактами, все переводилось нашими предками в символы: символы-боги, символы-цари, правившие на Земле с согласия богов, символы-чудища, то есть драконы и змеи (когда не хотелось впутывать в злодеяния ни богов, ни царей), и народ, безгласный и беззащитный люд, страдающий от царских разборок и ожидающий чудо-спасителя; конечно, я знаю, есть сложное или, вернее было бы сказать, усложненное толкование мифов (наподобие черного квадрата Малевича, при виде которого каждый волен думать и воображать, что хочет, восторгаться глубиной проникновения в некий окружающий нас мир, чтобы не предстать перед другими белой вороной, тогда как чернота остается чернотой, лишь взятой в определенные рамки), но мы уже не раз говорили в этом повествовании, что все в мире творилось и творится по самой простой схеме взаимодействия вещей и явлений и что познание этой схемы (системы бытия) есть первейшая задача историков и философов; мифы, если обратиться к их стержневой основе, несут в себе (каждый из них) определенный заряд зомбирования, то есть тот часто не уловимый простонародьем, да и не только простонародьем, двадцать пятый кадр, который, западая в души, превращает людей в послушных рабов; кадр этот, однако, расшифровывается просто, и заложен он в беспомощности и страхе человека перед богами, способными менять (словно перчатки) гнев на милость, милость на гнев, в беспомощности и страхе человека перед царями, способными взмахом руки отправлять на казнь тысячи и тысячи безвинных людей (например, Македонский с его распятыми на крестах персами), в беспомощности и страхе перед злыми чудищами (драконами, змеями), обладавшими неизмеримой потусторонней силой, и во всех этих ситуациях к беспомощному народу являлся спаситель, но не из гущи народа, а непременно благородных кровей и с божественными началами (на раннем этапе это Геракл, на более позднем — Иисус Христос, действовавший уже в отличие от своего предшественника не силой и ловкостью воина, а продуманной, кабально рассчитанной на долгожительство идеологией). Мифы древности выполняли две поставленные тронами задачи: гласную, заключающую в себе историческое или, скажем так, якобы историческое познание бытия, и негласную, регулирующую степень исторического невежества простолюдинских масс, дабы страх жизни превалировал над удовлетворенностью ею. Народ, народы не должны были забывать, что над ними всегда стояли и будут стоять злые и добрые боги (это как абсолютная величина), злые и добрые властители (величина не менее абсолютная) и что без согласия этих сил ни волос не падет с головы человека, ни камень не сдвинется с места; страх перед повелителями должен был подавлять и подавлял в человеке естественное

в нем чувство достоинства и приводил к смирению и послушанию; смирение и послушание, о каких бы государственных устройствах ни шла речь, о царствах, королевствах, империях, республиках, то есть о тоталитарных или демократических режимах, смирение и послушание масс является и сегодня важнейшим элементом политики новых и обновленных престолов, и я думаю, совершенно не случаен проявляющийся сегодня интерес к мифологическим героям древности, особенно к тем, которые, выступая спасителями народа, наделены силой Божьих кровников. Народу, народам дается понять, что и сегодня он ничто без своих спасителей и что только спасители, то есть правители (и тут явно возникает намек на богоизбранность), могут привести человечество ко всеобщему благоденствию. Думаю, двуединая тронная заданность мифов — гласная и негласная — остается и по сей день действующей рукотворной закономерностью. Однако легенды и мифы создавались не только в древности, но создаются и теперь, неся в себе, с одной стороны, бессмертный заряд пращурного тронугодничества, а с другой — тронугодничества обновленного, которое так завуалировано, что нужны недюжинные упорство и терпение, чтобы разобраться, что подается нам в качестве исторического познания.

## XLVI

Я не претендую на категоричность высказываемых здесь мыслей, потому что истины в последней инстанции нет, а есть только предположение истины, из чьих бы уст, как показывает действительность, это предположение ни исходило, но в то же время (и как подтверждение сказанному) из наблюдений за творческими способностями человека, за его возможностями к фантазированию, можно сделать вывод, что еще ни одному самому высокоодаренному фантасту не удалось ни на миллиметр шагнуть в своих творениях за черту политических, экономических (социальных), нравственных (духовных) взаимоотношений землян; все изобретенные ими вземные существа наделены вполне земными страстями (разнятся же они между собой разве что степенью уродства), среди которых на первом месте стоят власть, порабощение, накопительство, то есть все стержневые основы нашей хищнической (фараоны и рабы) цивилизации, отвратительные стороны которой, не замечаемые в обыденной жизни, обретают гротесковые черты и вольно или невольно (скажем, вопреки авторским замыслам) придают земному хищничеству элементы некоего благородства в сравнении с хищничеством вселенского образца. Земная (от древнеегипетского первородства) цивилизация занята закабалением народов, государств, континентов, и ее цель — достижение мирового господства; вселенское хищничество, то есть вселенская цивилизация, оказывается, занята захватом и порабощением планет (тут либо мы копируем вселенское мироустройство, либо вселенная — наше, земное), и космические войны, выдающиеся на-гора фантастами как зеркальные снимки земных побоищ, хотя и не прямолинейно, а исподволь (двадцать пятый кадр), но достаточно убедительно показывают, что мир управляется не добрыми началами, а силовой разнузданностью, и, главное, в этом нет никакого исключения из правил. Но что на самом деле происходило и происходит во Вселенной, мы не знаем; по крайней мере наукой зафиксированы лишь те явления вселенского бытия, какие укладываются в естественный ход развития и неподвластны рукотворным закономерностям, к которым прежде всего относятся дворцовые разборки и межцарские войны, и тут, думаю, вряд ли кто-либо решится на серьезное опровержение; если бы космос действительно был наводнен всевозможными межпланетными средствами захвата и порабощения (летучими крепостями с площадками для развертывания ракетных атак), то, во-первых, звездочеты (астрономы), издревле наблюдающие за небом, заметили бы это явление и дали бы ему (пусть и на примитивном уровне) обоснование, и, во-вторых, на Земле давно бы господствовали инопланетяне или, судя по их агрессивности, планета уже была бы превращена в прах; но ни захватнических войн в космической пустоте, ни инопланетян на Земле нет,

а есть только космос со своей естественной заданностью, и есть человечество на Земле, вступившее в полосу рукотворных противоборств (в схватки за богатство, славу и власть, за трон мирового господства), и это порочащее поводящих особ явление надо было хоть как-то скрасить, придать ему некую осмысленность, обожествленность, и космос невольно стал подходящей (божественной) ареной, на которой возможно было разыгрывать все те драматические сюжеты рукотворного бытия людей, какие тронно заказывались в прашурные и тронно заказываются в нынешние, казалось бы, цивилизованные времена. Если на все это посмотреть с обобщенно-реалистических позиций, то можно прийти к выводу, что и прашурное противоборство богов с включением безгласых и бесправных людских масс (прашурные космические войны) и современные звездные побоища, затеваемые вселенскими монстрами с целью захвата уже не мирового, а вселенского господства,— все эти душераздирающие картины захвата и разорения планет являются прямыми копиями земных противоборств, в которых уничтожались и продолжают уничтожаться непокорные (не растерявшие еще человеческое достоинство) народы и самобытные цивилизации. Жизнь людей (простолюдинского большинства), по сути дела, лишена самой элементарной логики, ибо то, что творится с человечеством на Земле, когда, словно бы торопясь откреститься от ужасов реального бытия, людские сообщества нациями, народами, государствами устремляются в омут символических ценностей, не поддается никакому объяснению, кроме разве что тронной предначертанности. Знатоки развлечений, давно уже превратившие искусство в средство наживы, с некой вроде бы легкостью и наивностью выбрасывают на рынок народного потребления как мифологию прашурных (подтасованную, разумеется, под нужное восприятие) веков, так и современную, именуемую в простонародье фантастикой, с помощью которой далекое и неведомое нам космическое пространство превращается в арену жестоких и нестигаемых битв за известные уже нам богатство, славу и власть. Для чего нужны битвы земные превращать в космические побоища? А не для чего, успокаивают нас искусствоведы всех рангов (при молчаливом попустительстве правителей); народ идет на эти представления — значит, ему это приносит удовлетворение, и чем больше показывается ужасов, тем сильнее будто бы проявляется интерес к ним, ибо простолюдину, как гласит древнейшее изречение, подай только хлеба и зрелищ, и он будет вполне доволен жизнью. Но оставим это на совести тех, кто возвел формулу — хлеба и зрелищ — в абсолюте народного бытия, поскольку, кроме унижения, она ничего не дает простолюдинскому большинству, и обратимся к действительности, в которой народ тянется не столько к зрелищам, сколько к познанию (через эти зрелища) мира и себя в нем, и не его вина, если вместо истины ему подают очередную порцию самого оголтелого хищничества. Ведь космос — это вечность, и если в этой космической вечности бушуют идентичные человеческим страсти (схватки за богатство, славу и власть, за трон мирового господства), то почему бы не признать естественным все творившееся и творящееся на Земле? И признается, и культивируется, хотя мало что общего имеет с развлекательностью, а носит совсем иной, связанный со внушением хищнической идеологии характер. Система господства и рабства давно бы прекратила свое существование (так ли, иначе ли, но человечество пришло бы к здравому смыслу), если бы она не подпитывалась (самоподпитывалась) идеологией хищничества, и, главное, если бы в подпитку эту не вкладывалась вся ее энергия жизни; простолюдинские массы просто-напросто обрабатываются до нужных пределов послушания и невежества относительно своего бытия (по-современному: люди загоняются в тупик, причем не только духовными извращениями, разного рода запугиваниями некой высшей силой, но и притеснениями политического, экономического характера), и процесс этот, носящий в веках неразрывное цепное развитие, как раз и выдается учеными мужами от истории и философии за естественное течение жизни. Естественно будто бы, что народные массы требуют хлеба и зрелищ (когда у людей все отобрано

и они загоняются в тупик, то и свет, проникающий сквозь игольное ушко, покажется солнечной дневной благодатью); естественно будто бы, что властители (цари, поводырствующие особы) вынуждены удовлетворять эту оголтелую страсть людей, чьи истинные заботы и потребности лежат в основательности жизни, и через эту искусственно создаваемую духовную, нравственную потребность властители насыщают мир людского бытия своей тщательно разработанной (в пользу тронов) идеологией. Думаю, было бы неверно утверждать, что народы (простолюдинские массы) не прозревали в своем восприятии жизни и не подбирались к раскрытию обмана, в каком властители (через религию и науку) держали их, но в этом перманентно-нарастающем процессе обмана, угнетения и прозрения всегда была упреждающая волна, исходившая из дворцов и храмов, которая своими новоизошрениями гасила, а чаще и вовсе сводила на нет прозрение народных масс; сегодня эта волна (благодаря эпохально накопленному тронному опыту) снабжена трехнакатной и в то же время утонченной до интеллигентности силой духовной (в пользу хищничества) обработки: битвы богов, переведенные в битвы космических монстров (снято будто бы согласно требованиям времени божественное начало, но усилено античеловеческое, в котором нет предела ни жестокостям, ни мстительности, когда речь идет о захвате богатств и власти), голливудско-конвейерные сюжеты криминальных драм, убийств, суперубийств, суперкиллеры, суперманьяки, суперагенты и т. д. и т. п., все так же бьющиеся за обладание богатством, славой и властью (как тонко и «удачно» дополняется воздействие космического хищничества земным), и если добавить к этому детский вариант звездных войн и земных суперпобоищ (то есть уже сызмальства мы насыщаемся не миролюбием и основательностью жизни, а самым, повторяю, оголтелым хищничеством), то ни случайностью, ни естественным течением жизни это не назовешь и тем более не прикроешь тем фиговым листком, сотканным из понятий «хлеба и зрелищ», за каким все еще и сегодня историки и философы пытаются скрыть от народа, народов историческую истину. В Библии сказано: «В начале было Слово, и Слово это было Бог». Тут все впечатляет: и возвышенное значение, какое придано слову, и величественность дела, какое должно последовать за ним. Однако прожитые тысячелетия показали, что если произнесенное слово и сегодня все еще воспринимается (при искусственном раздувании его имиджа) в своем первоприданном ему значении, то дело, следовавшее за ним, то есть Бог, чья милость к людям как к Божиим овечкам не подлежит сомнению, — дело, увы, оказалось совершенно противоположным тому, что ожидалось человечеством; троны и прислуживающие им религия и наука до сих пор придают божественное или почти божественное значение произносимому ими, да, именно ими, слову (особенно проявилось это при смене формаций, когда под предлогом обновления жизни заменялся лишь ее фасад, а не укоренившаяся система господства и рабства), и после провозглашения, как и по библейскому варианту, их уже не беспокоило, чем оно обернется для народных масс; главное, еще на столетие, а то и на два, и на три народы погружаются в обольстительный туман неоправданных надежд и религиозно-научных утрашений. Жизнь есть движение к цивилизованным отношениям людей, народов, наций, государств, движение к мирской основательности и мирскому благоустройству, и повсеместно насаждаемые демократические преобразования (новый фасад на хищнической системе господства и рабства) начинены вроде бы именно этими идеалами; но как соединить сии провозглашаемые идеалы с тем, что последовательно, через печать, науку, религию, теле- и киноэкраны преподносится мировому сообществу? Хищничество космическое, хищничество земное, детский вариант этого хищничества... Человеку уже некуда податься от этого трехъярусного духовного насилия, людей не узнать, какими они были еще два, три столетия назад, а уютно в этой жизни разве что олигархам, упаковавшимся в своих златооблитых дворцах и не жалеющим на голливудский механизм простолюдинского развращения никаких субсидий.

## XLVII

У мифов и легенд, то есть у исторической и философской наук, сегодня более чем когда-либо переплетенных с культурой, искусством, со всеми техническими и не техническими средствами массовой информации, единой государственной сетью спеленавших народы и государства, есть еще одна важная (кроме зомбиобработки народных масс) задача — напоминать правителям азы властвования, то есть основы тронного благополучия и бессмертия. Разумеется, в таком аспекте мифы и легенды (тем более современные) никто и никогда не рассматривал, и думаю, вряд ли нужно вдаваться в подробности, почему ученые мужи обходили стороной этот важнейший кладезь истории; в мире не происходит ничего, что не соотносилось бы либо с естественными, либо с рукотворными закономерностями (в данном случае с рукотворными), и зашифровка тронно-азбучных истин (на чем стоит власть или, вернее, без чего она не может существовать и тем более укрепляться) не является исключением. Хотя дворцовая жизнь и представляет собой нарост на теле народного бытия, но подчинена своим устоявшимся законам, которые вырабатывались веками, исходя из тронных потребностей. Цари, возгоравшиеся страстями к расширению господства, видели возможность в осуществлении своих замыслов в нападении на сопредельных царей и сопредельные царства, и это было не только признаком геройства, но и приносило обогащение и славу, позволявшую занять нишу в ряду иконостасно-пьедестального исторического величия; разорение народов тут уже не имело значения, жернова истории оказались запущенными, и так как у коронованных особ другого столь же надежного прецедента на обогащение и бессмертие не было, жизнь дворцовая (как, впрочем, и престолюдинского большинства) на сто восемьдесят веков словно бы заиклилась на этих захватнических и поработительных войнах; боги на богов, цари на царей, императоры на императоров, оглуленные народы на другие оглуленные народы, и главным факелом, или образцом, или примером для подражания, а еще точнее — тронным наставлением, какому непременно должны были следовать властители, вступающие в борьбу за достижение мирового господства (да и просто для обретения могущества и бессмертия), был пример сципионовского Рима, расправившегося с Карфагеном. Я не думаю, чтобы у Древнего Царства (Египет) или древнегреческой империи, чьи владения простирались от берегов Колхиды на Черном море до побережья Испании (ведь Римская империя — это только повторение древнегреческой), — да, я не думаю, чтобы у властителей этих супергосударственных (по тогдашним временам) образований не было примера в их завоевательских делах, на который бы они, стирая с лица Земли цивилизации, народы, державы, не опирались, но Карфаген затмил все эти примеры и, как показывает весь дальнейший ход истории, стал своего рода символом тронного геройства; беспощадность, с какой уничтожался этот торговый город (см. подробности во второй книге повествования), затем прославлялась в веках как модель тронного мужества, тронного величия, тронных свершений. Карфагенизм повторился в уничтожении кельтов, бриттов, франков, в уничтожении американских индейцев, чьи земли приглянулись европейским державникам от древнеегипетского первородства; карфагенизму (вот уже на протяжении тысячелетия) подвергается славянство, повинное лишь в том, что расселилось на огромном пространстве Европы и Азии, и это только веки неохватного айсберга карфагенизма, какой, эпохально продвигаясь на пространстве веков, уничтожает нации, народы, цивилизации, государства. Думаю, еще не настало время подводить итог этому кровавому процессу истории, но что касается деятельности тронов, то тут однозначно можно сказать, что у властителей есть свой жестко разработанный устав жизни, из которого следует, что только те коронованные особы, которые безоглядно расправлялись и расправляются со всеми и всем, что соперничает или может соперничать с ними, обречены на господство и процветание (таковы альфа и омега карфагенизации, альфа и омега могущества и бессмертия престолов), тогда как правители, которые отступают от этого фараоновского, я бы так назвал его, правила, рано или по-

здно ложатся сами и кладут свои народы, образно говоря, под топор «римского стратега Сципиона». Здесь нет ничего, что шло бы не от хищнического мироустройства, основанного на системе господства и рабства, и не подтверждалось бы мифами как древнейших, так и новейших времен; современная жизнь вроде бы не похожа на прежнюю, она уже не кипит захватническими войнами, какие могли бы столбцами вноситься в героизированную память веков, ибо на арену действий вышли экономические и духовные (вроде бы бескровные) порабощения и удушения народов, но стержневая суть этих новых методов, скрытая от простолюдинских масс, остается неизменной; карфагенизм, отказ от которого для тронов равнозначен гибели, по итоговой своей значимости является и сегодня главным условием жизнестойкости тронов. Это подтверждено историей, об этом говорят и новейшие мифы, преподносимые в виде развлекательных зрелищ, но несущие в себе заряд тронного (двадцать пятый кадр), да и не только тронного поучительства. Одним из таких современных мифов является телесериал о бессмертных, в котором под предлогом развлекательности насаждается (в героизированных, разумеется, тонах и красках) самая развращающая суть хищнического мироустройства. Народам внушается неизбежность творимой и творившейся жестокости, словно над человечеством всегда стояла и будет стоять некая непостижимая сила власти, правителям же — программа действий, которая, несмотря на изменившиеся обстоятельства (когда вперед выдвинулись экономическое и духовное подавления), ставит торжество власти в прямую зависимость от торжества карфагенизма в царских свершениях. Миф начинается с того, что вдруг среди людей объявляются бессмертные; в отличие от древнеегипетских фараонов они не называют себя взнезменными пришельцами, детьми Солнца, Неба, их статус неясен, как, впрочем, неясным до сих пор остается статус фараонов, но они бессмертны, как бессмертна в истории человечества власть, то есть властители, заточающие себя в пирамиды, возносящие на пьедесталы и вкрапливающие свои лики в иконостасы, отсюда и деятельность их должна напоминать деятельность бессмертных богов и столь же бессмертных (по крайней мере в стремлениях) коронованных особ. Миф рассказывает не о борьбе народов за право жить и развиваться, а о борьбе бессмертных между собой, в результате которой среди них должен остаться один, который, как можно предположить, и займет трон мирового господства. Цари погибали в схватках друг с другом, сильный обогащался, слабый уходил в небытие; заданность бессмертных — отсекай голову друг у друга (сильный у слабого) и насыщайся энергией побежденного; в сериале это материализовано в неких электрических разрядах, испустив которые, обезглавленный превращается в щепотку пепла, и, восприняв которые, победитель получает новый приток могущества и сил. Исторически это свободно накладывается на все прошлые завоевательские деяния царей, раздвигавших границы своих владений и обогащавшихся за счет подобных ограблений; практически же правителям и народам подается смысл карфагенизма в чистейшем его виде, что править может только тот, кто беспощаден к себе подобным, и что правило это обязательно не только для коронованных персон, особенно тех, кто рвется к трону мирового господства, но и для всех уровней власти, ибо только строжайшая унификация (ныне она проявляется в демократическом устройстве) позволит ново-богоизбранной личности или клану личностей управлять миром. Власть обычно сильна не только своей жестокостью, но и жестокостью созданным ею подвластием, так что карфагенизм не должен давать сбоя ни на одном уровне власти (что как раз мы и наблюдаем в текущей действительности). И совсем не важно, что в сериале бессмертные поделены пока лишь на носителей добрых и носителей злых начал (добрые и злые боги, добрые и злые цари) и что не до конца прояснена цель их противоборства (придет время, и все будет прояснено и узаконено), но важно лишь, что правителям, народу, народам подается карфагенизм в действии, как некий стержневой смысл хищнического мироустройства, коему должны следовать люди во всех своих жизненных проявлениях: в политике, в экономике, в науке, в культуре, то есть литературе, искусстве, жи-

вописи, музыке, зодчестве, в торговле, в промышленности, в делах присвоения земных недр, морских и воздушных путей и т. д. и т. п., что подпадает под определение «базовые основы жизнеобеспечения»; и — следуем, принижаем, убиваем, сжигаем на кострах, сечем головы, дабы убирать с дороги соперников, подогреваемые ежечасно, ежедневно, ежегодно, ежеэпохально этой развращающей разум и душу идеологией господства и рабства. В сущности, мы имеем здесь дело с развернутой на сто восемьдесят веков картиной порабощения простолюдинских масс, то есть с реалистическим макетом так называемого исторического развития человечества в рамках хищнической (от древнеегипетского первоуродства) цивилизации, и все разговоры о движении к свободе, к прогрессу и процветанию имеют смысл лишь для обитателей дворцов и храмов, но не для обитателей хижин, и в основе этого необратимого или почти уже необратимого расслоения лежит прямой обман простолюдинских масс, запрограммированный во всех столь возносимых (божественно возносимых) историками и философами мифах и легендах, в которых истина только в том, что своей хищнической обнаженностью они понуждают народы к хищническим деяниям и разврату.

### XLVIII

Я уже говорил выше, что любая фантастика ограничена земными отношениями людей. Мифы — это та же фантастика, и до каких бы божественных высот они ни поднимались, и до каких бы земных дел ни опускались, они так ли, иначе содержат то, что вынашивалось и вынашивается их дворцовыми сочинителями — иногда через ретроспективу, то есть обращение к древности, поскольку не так уж и далека от нас та древность, которая берет начало с Древнего Царства (фараоны и рабы); иногда, напротив, подчеркнуто базируя все на современности, чтобы обозначить некую божественную заданность хищнического — а другого у нас нет — мироустройства (что, полагаю, недалеко от истины), поскольку процесс становления человечества, если брать от классового расслоения, един и все в нем взаимосвязано и вытекает одно из другого. Мы видим, что повсюду на Земле господствует хищническая цивилизация, но мы лишь смутно догадываемся, каким способом шел захват мира, подавлялась идилическая система бытия, стирались с лица Земли самобытные цивилизации; может быть, потому, что носители фараоновской державности, вышедшие из обглоданного Египта на захват обетованных земель, наложили строжайший запрет на свою народопокорительную деятельность (многие так называемые священные тайны, изложенные в древнейших иудейских письменах, и сегодня доступны только избранным вершителям человеческих судеб), или их пугала и продолжает пугать угроза разоблачения, ибо тайна познанная уже не представляет собой никакой силы воздействия, и вся построенная на ней пирамида власти может в одночасье обратиться в песок; но дело не в этом, так как у людей всегда найдется соблазн поковыряться в запретном, а в том, насколько это запретное, когда оно выносится на общее обозрение (хотя бы и через современные мифы), способно восприниматься и истолковываться простым людом. Характерным в этом плане является сериал, а по сути самый настоящий современный миф на тему мировой истории, именуемый «Захватчики». Этому сериалу-мифу придают еще значение фантастики, хотя, и я уже не раз подчеркивал в этом повествовании, фантастики как некоего обособленного жанра не существовало и не существует, к термину этому надо подходить как к определенной (принятой во многих областях) условности, ибо никому из самых одаренных, работавших и работающих в этом жанре, еще ни разу не удавалось в своих писаниях вырваться за круг земных человеческих отношений; так обстоит дело и с «Захватчиками», авторы которых, то есть создатели этого сериала-мифа, по сути дела, обратились, может быть, сами того не осознавая или, вернее, не до конца осознавая, к реальному ходу исторического развития человечества. Исходной точкой цивилизации, как известно, принято считать в научном мире период Древнего Царства. Властители Древнего Царства считали себя вземными пришельцами, детьми Солнца и Не-

ба, то есть изначально поставили себя над народом, которым они с мечом и огнем пришли управлять, и, естественно, принялись уничтожать все самобытное, чем жили нильские племена, и насаждать свой (хищнический) миропорядок. Думаю, нет нужды повторять, насколько удалась им эта античеловеческая миссия, они блестяще, и этого не отнять у них, справились со своей тронной заданностью и сорок с лишним веков безраздельно и безнаказанно правили Египтом, глумясь над древними египтянами, превращенными в абсолютных рабов. Период этот мало изучен в истории; известно только, что все важнейшие институты, или, вернее, все важнейшие подпорки, власти, коими и сегодня определяется могущество тронов (армия, религия, СМИ, наука, культура, искусство, просвещение), были определены и задействованы именно в период Древнего Царства. Возможно, фараоны полагали, упиваясь безграничной, абсолютистской («век Богов») властью сорок веков, что так будет продолжаться вечно, но и людские, и природные ресурсы все более и более приходили в истощение при такой варварской, да, я бы сказал, варварской эксплуатации, и это истощение заставило властителей Египта выйти за пределы нильской долины на поиски новых обетованных земель. Библия утверждает, что вышло из Египта некое притесняемое фараонами иудейское племя, которое затем, поскакивая по пустыне, достигло наконец искомого пристанища, выйдя к цветущим городам Палестины (земля обетованная) и, прислушившись к наущениям Бога, захватило их, предварительно вырезав все население этих городов от старика до младенца (кстати, группа современных израильских историков недавно выступила с утверждением, что не было никакого скитания по пустыне и не захватывались цветущие города, но этих историков живо осадили другие, резко придерживающиеся консервативных взглядов); я тоже полагаю, что все было не так, что из Египта двинулись на поиски новых обетованных земель прежде всего властители, то есть те, кто составлял стержневую основу хищнического (фараоны и рабы) мироустройства и кому неуютно и тесно было уже на истощенной нильской земле; они двинулись, чтобы разнести и утвердить свои хищнические идеалы (хищнические наработки) среди других народов, и с этой черты, позволительно будет сказать, по сути дела, начинается вся наша ныне так прославляемая история насаждения «цивилизации». Мы не знаем точно, каким образом фараоны устанавливали свое абсолютистское господство в захваченном ими Египте, в исторической науке на этот счет имеются лишь скудные (общего порядка) сведения, но можно предположить, исходя из фактов стовосьмидесятивекового периода развития человечества по насаждению системы господства и рабства, что прежде всего были нейтрализованы, а точнее, обезглавлены вожди племен, обитавших на нильской земле; действие это, с точки зрения властителей, было правомерным и неизбежным, поскольку обезглавленный народ, народ, лишенный организующей (стержневой) национальной основы — уже не народ, а безвольная и беззащитная толпа, не обладающая никаким охранительным иммунитетом, которую можно использовать в любых целях и назначениях, особенно когда у этой толпы отняты все средства жизнеобеспечения. Хочу заметить, что я обратился лишь к первому этапу закабаления, который, впрочем, настолько характерен для всей истории развития и становления общественных, как говорят ученые мужи, отношений и общественного бытия, что в каждой прожитой эпохе мы так ли, иначе ли встречаемся с этим древнеегипетским (фараоновским) вариантом завоевания и закабаления народов. В качестве примера можно привести библейские описания Царств и царствований или, скажем, захватнические войны Римской империи, особенно в периоде расцвета, когда по триумфальной дороге с ныне обветшалыми триумфальными воротами (арками) позорно вели в рабство не только плененных воинов, но и закованных в цепи вождей, государей, дабы поработенные народы, присоединявшиеся к Великой Империи, не могли восстановить своей попорченной национальной государственности. Таким образом были уничтожены кельты, франки, бритты; когда же обжившим Европу римским захватчикам показалось (или, вернее, они уловили тенденцию), что корен-

ное население способно вновь возродиться в своей прежней самобытности, что повсюду в народах начали возвышаться новые лидеры, тронными силами была задействована католическая церковь, и на континент опустилось мрачное средневековье. Повсюду в городах и селах Западной Европы запылали костры инквизиции; дело доходило до того, и об этом свидетельствует история, что в одном только приходе (селе, городе) отыскивалось до семидесяти — восьмидесяти еретиков, разумеется, все более из людей состоятельных, способных сплачивать вокруг себя народ и оказывать на него влияние, так что если мы что-то и знаем об инквизиции, то лишь верхушку айсберга, но далеко и далеко не весь айсберг и уж тем более не тронно-идеологическую подоплеку тех мрачных деяний. В истории каждого народа, куда приходили (с мечом и крестом) носители фараоновской державности со своим миропорядком, есть не одна страница обезглавливания, она легко просматривается в освоении Америки, когда отлавливали и казнили индейских вождей, да и Рюрик с братьями, едва ступив на нашу землю, первым делом обезглавили всех славянских старшин, которые, по преданию, пригласили этих балтийских пиратов на княжение. Приведенными фактами, конечно же, не исчерпывается процесс обезглавливания народов, пострадавших от насажения хищнической (фараоновской) цивилизации, ибо только простое перечисление названий бы несчетно томов, но, думаю, такая хроника мало что прибавила бы к понимаю происходивших на пространстве веков событий; следует также заметить, что этот первый шаг фараоновского закабаления народов, первый, можно сказать, факт, канонизированный наследниками древнеегипетской державности, которые двинулись на захват и освоение обетованных земель, нельзя рассматривать неким обособленным атрибутом навязывавшегося (под предлогом оцивилизовывания живших будто бы в варварстве наций) хищнического миропорядка, поскольку параллельно с обезглавливанием, как некий могучий вал, пущенный для разрушения и уничтожения идиллической — «славные Гипербореи» — жизни народов, их самобытных культур, самобытных цивилизаций, двинулись для упрочения на обетованных землях все прислуживавшие властителям Египта идеологические, политические, силовые, культовые, получившие затем название культурных и духовных ценностей, гласные и негласные столпы тронов. По сути дела, мир подвергся самому крупному из всех известных в истории человечества завоевательских нашествий, основной силой и ядром которого были коварство и обман, обман и коварство, настолько продуманно завуалированные, то есть прикрытые благими намерениями (ведь предлагалось не что иное, как прогресс и процветание, одним словом, мир райского блаженства), что и сегодня народы не могут осознать всей глубины своего подслащенного посулами светлого будущего падения. Разумеется, официальная историография, взять хоть всемирную, хоть национальные истории, совсем по-другому трактует ход развития человечества; она придерживается того общепринятого (тронно-одобренного, тронноканонизированного) шаблона, отступление от которого явилось бы полной катастрофой установившихся академических догм, но, думаю, ложь не может держаться вечно, настанет час, и народы обратятся к исторической правде, которая, впрочем, хотели или не хотели того сочинители сериала-мифа «Захватчики», зеркально или почти зеркально отразилась в их многосерийном сочинении.

## XLIX

В мифе (сериале) о захватчиках, казалось бы, все просто, доступно, ясно; некие инопланетяне, разве что не поименовавшиеся или не успевшие еще поименоваться богами, детьми Солнца и Неба, отправились (в межпланетном, надо полагать, масштабе или диапазоне, что в переносе на земные координаты вполне сравнимо с параметрами нильской долины) на захват новых обетованных планет, и первой целью их оказалась планета Земля. В отличие от будущих египетских фараонов они высадились сразу на всех континентах, хотя авторы с явным намерением подчеркнуть политическое, военное, экономическое, духов-

ное превосходство Соединенных Штатов Америки как господствующей в мире супердержавы делают ее главным объектом внимания пришельцев-захватчиков. Сюжетное построение мифа тоже своеобразно и говорит о многом, мы не узнаем из него ничего, что предшествовало этому межпланетному нашествию, и, полагаю, не случайно, поскольку, как я уже говорил, даже составители самых известных божественных легенд и мифов так и не смогли выйти за оболочку земных событий (взять хотя бы евангельское жизнеописание бого-человека Христа); нам остается только догадываться, что там, откуда они прибыли, царит «век Богов», то есть своего рода Древнее Царство со всем своим абсолютизмом господства и рабства (фараоны и рабы), и на Землю, чтобы поработить ее, двинулись не сами фараоны (как, впрочем, было и с земными фараонами), а были направлены хорошо обученные, снабженные определенными наставлениями дворцовые солдаты, которым поручалось подготовить планету Земля к смиренному принятию вселенской кабалы. Даже самый неискушенный зритель уже с первых кадров начинает проникаться этой простой заданностью, и если у него еще не возникает ощущение сопричастности мифа историческому процессу развития человечества, а точнее, насаждению хищнической цивилизации среди народов, живших своей тихой, спокойной, самобытной, идиллической жизнью, то он приходит к пониманию, что вся наша сегодняшняя действительность есть не более, не менее (я имею в виду олигархическое владение всеми или почти уже всеми средствами жизнеобеспечения не просто отдельного человека, но человечества, то есть глобализацию управления поработенными людьми, экономикой, военной силой, религией и культурой, объединенных в понятие «духовность») как следствие этого разворачивающегося в мифе о захватчиках действия, каким в свое время были наполнены все сто восемьдесят веков прожитой человеческой истории. Думаю, выход фараонов из обглоданного, истощенного ими Египта на поиски и захват обетованных земель нельзя воспринимать буквально, будто они вдруг поднялись с насиженных мест и двинулись в поход, не имея представления, где, за какими пустынями (я не случайно употребляю это слово) лежит тот девственно-благодатный край, в котором они смогут обосноваться; все это происходило постепенно, растянувшись, может быть, на столетия, и с некоторой стихийностью, что тоже не исключено, через торговцев, бороздивших Средиземное море, через тех, кому не досталось места при фараоновском дворе, и жажда самостоятельности и власти гнала их в поисках удовлетворения своих амбиций за пределы нильской земли; наконец, грабительские походы на ближних и дальних соседей, оракульские усилия (в сущности, все они были из одного гнезда, то есть фараоновские державники, расплодившиеся за сорок веков Древнего Царства и сообразовавшиеся в клан единомышленников и единокровцев, или, можно сказать, армия захватчиков, готовая двинуться на обретение мирового господства); разумеется, сначала они действовали по прецеденту (как, впрочем, во многом действуют и теперь), по опыту, обретенному за сорок веков царствования фараонов, и только позднее, когда поняли, что, внедряясь в не подготовленные к хищническому миропорядку народы, они и в самом деле смогут завладеть человечеством, то есть навязать миру свою идеологию, свой (хищнический, повторяю) уклад жизни, явились те самые священные писания, которые и сегодня доступны только посвященным, а затем и библейские легенды, соединенные в Ветхий и Новый завет, и евангельские — как ориентир народной жизни, определяющие от и до права и деятельность простого человека (в отличие от безграничных дворцовых), поставленного в рамки неудовлетворенной жизнью, а очищения через страдания. История свидетельствует, что сто восемьдесят веков понадобилось клану, или армии, фараоновских захватчиков (с учетом их быстрого и эффективного размножения, связавшего их в национально-родственные отношения), чтобы оккупировать Землю, ибо сегодня нет народа, который бы не испытал (да и продолжает испытывать) всей тяжести этого ползучего насилия, обретенного или окутанного нимбом ложной святости и ложного благоденствия. Что делали эти фараоновские (в обобщенном понима-

нии) державники? Они проникали в народы, обретали облик этих народов, захватывали руководство культурой, научными и просветительскими центрами, подгребали под себя экономику стран, перекраивали историю жизни покоренных народов на свой лад, порочили их традиции, сбрасывали с пьедесталов их священных кумиров, выставляя взамен своих, а главное, проникали в правительство, подтягивая за собой собратьев, и не проходило и столетия, как захватчики уже обитали во дворцах, нагруженные чинами и званиями и кичащиеся своим высокородством, и проводили ту политику, которая (я называю ее антинациональной) позволяла им держать народ в крепостничестве (в сущности, в рабстве) и наслаждаться своей дворцовой жизнью. Цари роднились с царями, князья с князьями, обобранные и одуроченные простолюдины метались в поисках лучшего бытия. Надеюсь, читатель понимает, что я говорю здесь о стержне явления, или, вернее, процесса становления и развития общественных отношений и общественного бытия, который, увы, не дал человечеству ничего (будучи прославляемым на протяжении более чем восемнадцати тысячелетий), кроме поэтапного угнетения и рабства; но ни историки, ни философы, ни церковники не любят очищать жизнь (разумеется, чтобы осознать ее) до ее стержневой основы, ибо против очевидного закабаления народов (очевидных своих коварств и обманов) нечего будет противопоставить им, а потому они во все века старательно придерживались терминам естественности и божественности течения жизни. Они признавали только ту поверхностную часть бытия, которая насыщалась ими же пускавшимися в народ посулами благоденствия (власть, к примеру, признавалась от Бога, насаждавшаяся хищническая цивилизация выдавалась за прогрессивное движение к идеалам социального равенства, свободой внутренней подменялась свобода истинная и т. д.), тогда как то глубинное, что составляло смысл и цель фараоновских державников, то есть стержневая основа, или заданность, происходившего процесса, оставалось в тени забвения. История не имеет свидетельств, как на самом деле осуществлялось внедрение древнеегипетских миссионеров в покоряемые (теперь уже либо покоренные, либо стертые с лица Земли) народы; но ведь, кроме зафиксированной на папирусах истории, есть еще историческая память народа (народов), которая независимо от того, знаем ли мы, не знаем ли это, живет в каждом из нас и способна проявиться иногда самым неожиданным образом, что, на мой взгляд, и случилось с сочинителями мифа-сериала «Захватчики». Они не то чтобы вернулись в своем творении на тысячелетия и тысячелетия назад, в эпоху, когда только еще начинался захват обетованных земель выходцами из нильской земли, но, подняв прошлое до нынешних обстоятельств жизни, в которой повторяется все, что было и в древности, и в средние века и с живостью происходит теперь, дали реалистический разрез этого античеловеческого процесса. Действия захватчиков среди народов, в которые они проникают, не просто равны действиям вышедших на захват мирового господства фараоновских державников, но во всех тонкостях раскрывают их коварные приемы и методы. Первым делом они, внедряясь в народ, подстраиваются под него, чтобы не вызывать подозрений; затем, осмотревшись, начинают овладевать главными центрами духовности: религиозными, культурными, просветительскими, — компрометируя и выдавливая из этой сферы деятельности представителей (какими бы талантливыми они ни были) коренных народов (оттого ныне что ни кумир в национальных культурах любых народов, то либо прямой иноземец, либо иноземец в некоем аборигенском обрамлении); путь этот обычно устилается трупами тех, кто хотя бы намеком пытается различать их или в силу своих способностей противостоять им (известный прием карфагенизма), и таким образом вся нравственная основа жизни оккупированных людских сообществ оказывается в их руках. Они тут же берутся за создание новых национальных историй, потрясая известным древнейшим памятником — Библией, — и на основе этого памятника предлагают как нечто научное свой вариант видения прошлого и настоящего, разрушая при этом национальные традиции, национальные связи, не забывая укреплять свои, клановые, дабы не ис-

тощиться в силах перед толпами простолюдинов. Параллельно или даже, может быть, в первую очередь взоры их обращаются к экономике; они скупают (чаще отбирают у крестьян) земли, присваивают земные недра, строят замки, чтобы оберегать награбленное, и рвутся во власть, то есть на вершину пирамиды жизни. Они заполняют дворцы, храмы, между ними, как и между царями и нынешними президентами и премьерами (добавлю, и олигархами одного с ними транснационального клана), давно уже сообразовалась не столько деловая, сколько побратимская связь, заставляющая их держаться кучно, чтобы господствовать над народами.

## L

Мне не хотелось бы здесь вновь возвращаться к историческим событиям, начиная с древнейших времен, хотя, чувствую, повествование требует этого; но я позволю себе остановиться лишь на хроникальном перечне основных и хорошо известных в науке этапов насаждения фараоновского хищнического миропорядка, то есть на том, что можно определить как расползание по Земле некой благоокрашенной ядовитой смеси, от которой, как показало время, не было и нет спасения ни малым, ни большим, ни сильным, ни слабым народам. Первыми (разумеется, вслед за египтянами), кто ощутил на себе всю тяжесть вынесенного из Древнего Царства миропорядка, были народы Палестины (кстати, до сих пор именуемой «землей обетованной»); но это нашествие ознаменовалось только созданием царств-карликов (см. библейскую историю царств и царствований), на столетия погрязших в междуусобных войнах, и здесь важно отметить только одно, что именно с палестинской земли (включая и раннюю Грецию, впрочем, и все восточное Присредиземноморье) распространение хищничества получило два направления: восточное и западное; в восточном направлении первофакельником следует считать Геракла, ходившего завоевывать Азию и привнесшего в нее азы так называемой древнеегипетской цивилизации; с ним шла не только армия воинов, но и армия негоциантов (назовем их так), они оседали в городах и методом захватчиков из новосочиненного мифа подгребали экономику и пробирались во власть, ставя под свой контроль окружающее сельское население (черта эта и по сей день остается знаковой и нестираемой). Вторым и более откровенным поставщиком хищничества на азиатский континент был Александр Македонский, возводивший свои Александрии, то есть центры торговли, культуры и власти (на известный ему древнеегипетский и древнегреческий манер); биографы великого полководца говорят, что от завоевания Индии его остановили несносные проливные дожди; однако есть и другая версия — он увидел: то, что хотел сделать, было уже сделано Гераклом, и ему оставалось только повернуть обратно к родным очагам. Из Индии хищнический миропорядок, известный своей заразительностью, тем же ползучим (и неуловимым, потому что ни историческая наука, ни философская ничего не говорят об этом) способом стал распространяться по всему азиатскому континенту, переводя привычную, естественную жизнь людей на стезю рукотворных (с беспределом господства и рабства) закономерностей, и в этом состоянии, если так можно выразиться, то есть в границах вполне оформившихся индийской и китайской империй (индийской и китайской государственности) и застаёт их древнейшая перволетописная история. Характерным для западного направления было создание древнегреческой и Римской империй. Еще раз говорю: я не буду вдаваться в подробности, как, на чьей крови возводились эти империи, особенно Римская, какие народы и каким способом вгонялись в нее, обращались в рабов, какие вырубались под корень (вспомним: именно в те времена возник карфагенизм как символ твердой власти), поскольку, во-первых, я уже в предыдущих книгах писал об этом, и, во-вторых, жизнь Римской империи достаточно широко освещена в мировой да и во всех почти национальных историографиях; здесь же речь идет не о римских стратегах и цезарях, добывавших славу своей великой державе, а о том, что и Римская империя не была той крайней ступенью, за ко-

торой обрывалось навязывание хищнического миропорядка. Вместе с тем, как римские цезари начали завоевание Европы, они привнесли в нее свою античеловеческую (фараоны и рабы) систему бытия, породившую (по палестинскому образцу) лишь обилие королевских и герцогских дворов, вокруг которых уже через несколько столетий скопилось такое количество высокородных и невысокородных дворян, требовавших себе места в иерархических кругах власти (ситуация Древнего Царства), что правителям ничего не оставалось, как приступить к поискам новых обетованных земель. Уже в начале поисков обозначились два ведущих направления. Одни деятельные царедворцы, придерживавшиеся или, вернее, продолжавшие оставаться приверженцами политики Карла Великого, основавшего в свое время в центре Европы «Священную Римскую Империю» (на большее, чем попугайство, видимо, не хватило ума) и провозгласившего идею *Lebensraum*, то есть расширения жизненного пространства за счет славянских земель (проще говоря, походом двинуться на славян и потеснить их), — приверженцы эти, поддерживаемые главой Ватиканской церкви, уже приступили к подготовке сей сверхмасштабной акции, полагая, что если она и не завершится полной победой, то, во всяком случае, принесет ощутимые плоды (крестовые походы, в сущности, можно считать прелюдией к намеченному великому сражению со славянством, о чем говорят исторические факты, когда толпы крестоносцев, отправлявшиеся спасти гроб Господний, вдруг поворачивали на Византию и громили православные храмы в Константинополе); к сказанному можно добавить, что политические и военные стратеги тогдашней Европы не только не помогли попавшей в беду Византии, когда войска Магомета Второго подступили к стенам Царьграда, но намеренно дали возможность мусульманам стереть с карты Земли первое православное государство. Все это лежало в русле антиславянской агрессивной политики, в русле подготовки к Великому походу на Восток. Но походу этому не суждено было состояться; не суждено потому, что другие искатели новых обетованных земель открыли Америку, куда и кинулись, готовые смять все перед собой, толпы европейских ловцов счастья. Как осваивалась Америка этими толпами, известно; в этой связи можно только сказать, что римский карфагенизм бледнеет перед карфагенизмом американским, хотя историки и философы либо говорят о нем сквозь зубы, либо вовсе ничего не говорят. Кроме того, есть еще одна сторона этого процесса, полностью остающаяся неосвещенной в истории, ибо открытие Америки явилось своего рода спасением как для западных, так и для восточных славян. О славянах, вернее, о славянских (обетованных) землях на некоторое время было забыто, даже самые ретивые поборники восточного похода, наслушавшись рассказов о богатствах открытого Колумбом континента и о возможностях быстро и без особых усилий нажить капитал (об этом говорили и во дворцах, и в общественных местах, где скапливался простой люд, возбуждавшийся экспансионистским энтузиазмом), даже самые ретивые поборники восточного похода вынуждены были прекратить его подготовку. Образно говоря, могущественная Европа начала перетекать, ослабляя себя, в Америку, и многим отправлявшимся за океан уже тогда было ясно (как ясно было афинским и пелопоннесским ловцам счастья, перетекавшим в свое время в набиравший могущество Рим), что обескровленная Европа рано или поздно потеряет свое ведущее значение, и в центре мировой политики, экономики, духовности (если, конечно, американскую масскультуру возможно отнести к категории духовности) окажутся лидеры освоенного ими нового обетованного континента. Славянство же получило передышку, которой оно, к сожалению, не смогло воспользоваться; не смогло по разным причинам, к рассмотрению которых мы еще приступим во второй части повествования, а здесь я не могу оставить без внимания тот ход исторических событий, который был прерван именно открытием Америки. Еще не успевшая снять с себя рыцарские доспехи, но успевшая уже снарядиться новым и новейшим оружием, вся воинственно кипевшая экспансионистскими страстями Европа хлынула бы на Восток и, думаю, совершенно не подготовленное к подобному повороту событий славян-

ство не выдержало бы такого натиска и было бы обращено в полное и необратимое рабство либо загнано своими остатками (по американскому образцу) в бесправные резервации, как некие отбросы жизнедеятельности «великой (от древнеегипетского первоуродства) цивилизации». Военное могущество Европы, не в десятки, а в сотни раз превышавшее возможности славян, только что переживших гуннское и аварское нашествия и терзавшихся варягами (скандинавами) и хазарами, считавшими неким своим святым правом (как, впрочем, считают и теперь) накладывать дань на народы только за то, что они живут на свете, — военное могущество Европы было столь велико относительно незащитных славян, что новокрестоносцы вполне могли бы, если бы не открытие Америки, легко захватить все славянские земли до Урала и таким образом решить судьбу великого славянского люда. Для убедительности хочу только напомнить, что после нашествия гуннов, а затем аварского, обернувшегося трехсотлетним разорительным игом, лишь жалкие толпы униженного и напуганного народа, как свидетельствуют арабские источники, бродили вдоль рек, боясь не только возводить города, но даже поселения, и разбегались по лесам при первых же слухах (заметим, слухах) о появлении новых азиатских орд. Знай это тогда, европейцы наверняка (и параллельно с оттоком в Америку) осуществили бы свой задуманный против славянства коварный план, но все произошло так, как произошло, и, хотя принято полагать, что история не имеет обратного хода, теперь, когда Соединенные Штаты Америки достигли мирового господства, как это и пророчилось отправлявшимися туда новофараоновскими державниками, и когда теснота алчных людей стала достигать критического предела, ловцы счастья вновь вспомнили о славянских землях, главным образом о России с ее природными и людскими ресурсами, и принялись за нее.

## LI

Возродив мечту о Великом походе на Восток, то есть сплотившись вокруг идеи, некогда провозглашенной Карлом Великим, американско-европейцы, приглядевшись к новым для них обстоятельствам, увидели, что Россия уже не та, что была, что разрозненное славянство сообразовалось в державу, обладающую достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять прямой агрессии, и что одолеть ее теперь можно лишь известным в истории многоходовым приемом опорочивания и травли, с какого римские цезари начинали свое многовековое истребление кельтов. Возможно, многим сегодня кажется странным, что Рим, не обладавший такой мощной информационной (зомбирующей) системой внушения, какой обладают нынешние фараоновские державники, смог создать вокруг кельтов такое общественное мнение, которое, по сути дела, ставило этот народ вне закона, и, когда римские когорты и легионы двинулись к центру Европы, антикельтское настроение соседствующих народов было таково, что и они набрасывались на обреченные кельтские племена и заливали кровью их земли и реки, даже отдаленно не осознавая, что готовили этим и себе подобную участь. Новодержавным правителям, то есть правителям XVII, XVIII, XIX, XX веков, обладавшим совсем иными возможностями массового зомбирования народов, уже не составляло труда представить мировому сообществу Россию страной дикой, варварской, в которой, кроме царских хором, солдат и тюрем, нет ничего, что хотя бы приближалось к европейским стандартам цивилизации, что русский народ кровожаден и является угрозой всему просвещенному миру и что было бы лучше, если бы народ этот вовсе исчез с лика Земли (кстати сказать, подобные высказывания достаточно выразительно печатаются и сегодня в нашей олигархически свободной прессе). Я не думаю, что что-то преувеличиваю в этих своих суждениях, в конце концов общее сегодняшнее озлобление против России является не случайным, и у него, как и у всего происходящего на Земле, есть свои исторические корни, и они не поддаются уничтожению. В Россию и в прошлые времена наезжали многие, чтобы познакомиться с русской жизнью, но, когда возвращались в свои закордонные пенаты, писали не о том, что виде-

ли, а о том, что заказано было (в согласии с европейской политикой) увидеть и изобразить им. Во всем трехтомном повествовании, названном «Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах», я излагал только свои мысли и соображения относительно тех или иных событий, какими характеризовались прошедшие и текущие столетия, но здесь позволю себе нарушить это принятое мной правило (в конце концов каждый сомневающийся может обратиться к первоисточникам и сделать свой вывод) и привести цитату из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина как подтверждение изложенной мысли. Вот его первое впечатление, какое он вынес от общения с иностранцами, как только пересек российско-германскую границу. «Между тем вышли на берег два немца... легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России дальше Риги? «Нет»,— ответили они. «А когда так, государи мои,— сказал я,— то вы не можете судить о русских, побыв только в приграничном городе». Они... долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками». Карамзин со свойственной русскому человеку интеллигентностью и сдержанностью употребил лишь слова «бранить русский народ», хотя разговор, как это можно заключить из подтекста, был куда жестче и резче, но дело даже не в жесткости и резкости, а в сути, которая характерна и для нынешнего умонстроения и западноевропейцев, и американцев, уверовавших, что Россия, в которой они никогда не бывали, но о которой наслушались зомбирующей болтовни, была и остается непредсказуемым варварским (по-азиатски варварским) государством и что с русскими людьми нельзя иметь никакого дела; но ведь реально западный мир никогда не имел дела с русским народом и ничего не знает ни о его жизненных устремлениях, ни о его неподдельном интернационализме, ни о его великой (и пагубной для него) доверчивости, ни о его терпимости, добронравии, миролюбии, не говоря уже о национальной русской культуре, национальном русском искусстве, которым, во-первых, не дают развиваться внутригосударственные (клановые) державники, и, во-вторых, Запад просто-напросто игнорирует эту нашу историческую самобытность и подменяет ее творениями так называемых обрусевших, но озирающихся на Запад околоремлевских интеллигентов — да и еще раз да, западный мир никогда не имел дело непосредственно с русским народом, но общался и продолжает общаться лишь с нашими правителями, которым всегда была чужда национальная политика (со времен «призванных» на княжение Рюриковичей), они были и остаются чужеродными, то есть призванными, если верить известной легенде, или (если по ползучему варианту «Захватчиков») прямыми узурпаторами российского престола, и деяния этих правителей не могут идентифицироваться с русским народом. Но в действительности, однако, не только идентифицируются, но целиком переносятся на славянское простонародье, которое, не обладая средствами массовой информации, то есть не имея возможности влиять на предосудительное мнение мировой общественности, оказывается в положении изгоев как в своем Отечестве, так и за его пределами. Думаю, это отступление, какое я позволил себе, не разорвет, а только усилит общее впечатление о происходившем и происходящем с нами; в конце концов ведь мы далеки от престольных (для нас кремлевских) манипуляций, до нашего слуха докатывается лишь то, что властью определено знать нам, тогда как стержневая основа процесса, направляемого западными и отечественными политиками (и олигархами, естественно), как оставалась, так и остается вне поля простонародного внимания, а потому считаю необходимым хотя бы схематично (к подробностям мы еще вернемся) охарактеризовать суть планов и действий западноевропейских и американских правителей и политиков новейших времен. Любой историк, да и не только историк, а просто гражданин, не выходящий в исторических познаниях за вузовскую или даже школьную программу, присмотревшись к еще свежим в памяти народов событиям последних трех-четырех столетий, не может не заметить, с какой настойчивостью шло духовное и военное притеснение Рос-

сии, словно она действительно была костью в горле для западноевропейских и американских властных элит. Между тем Россия даже при своих антинациональных и агрессивных — в смысле продвижения на Восток — правителях вела себя не только безупречно по отношению к Западу, однако и во многом заискивала перед ним; и, заискивая, постепенно, но верно теряла свою самостоятельность. Думаю, все это так очевидно, что едва ли нуждается в пояснениях; едва ли еще и потому, что новодержавники действовали и продолжают действовать по так называемой схеме уничтожения кельтов и американских индейцев, в которой четко просматриваются три этапа покорения и уничтожения обреченного народа: первый — до предела опорочить (в данном случае славянский люд и его государственность в глазах мировой общественности, что в полной мере было достигнуто уже к концу XVII и середине XVIII века и наступательно продолжает осуществляться теперь), второй — прямое и опосредованное обезглавливание славянского народа (XIX век, прошедший под знаком террора против царствующих особ, пытавшихся проводить даже не национальную, а только самостоятельную политику, и особенно против патриотически настроенных государственных деятелей) и третий (считалось, что завершающий) — военные экспансии (наполеоновское нашествие и мировые войны двадцатого столетия, в которые неизменно втягивалась Россия). Затем, как бы в дополнение к этим славяноедским мерам, в которых четко просматривался и просматривается известный карфагенизм, была предпринята попытка взорвать Россию с ее плохой ли, достойной ли самобытностью изнутри (Февральская, а затем Октябрьская революции, совершенные в основном иноземцами и на иноземные деньги, о чем историки до сих пор стараются стыдливо умалчивать, и при содействии доведенного крепостническим и посткрепостническим рабством до полной нищеты российского люда), но и это коварство, преподнесенное нам в виде несказанного благоденствия (ведь мы боролись за свободу, равенство, братство), — коварство это, как и трехэтапный предыдущий экспансионизм, не дало желанных для Запада результатов; оказалось, что русский народ по своей природной доверчивости мог обмануться, то есть клонуть на обольстительные посулы (уроки, которые мы так и не научились воспринимать), но, когда дело доходило до военных вторжений, умел, не жалея жизни, постоять за себя. После второй мировой войны (для нас Отечественной) Россия (СССР) оказалась еще более окрепшей и начала (чего Запад особенно не мог выдержать) претендовать на мировое господство. Мир оказался разделенным на два враждующих лагеря, две враждующие системы — олигархического и государственного капитализма, — в схватке которых, как и в схватке Рима и Карфагена, одна из систем должна была уйти в небытие, и если мы видим сегодня Россию загнанной в тупик, то причину такого падения следует прежде всего искать в целенаправленной деятельности западных властных структур. В Россию была запущена армия гласных и негласных захватчиков, одним из которых поручалось воздействовать на творческую, научную, техническую интеллигенцию и с помощью организованного диссидентства положить начало «оттоку умов» в будто бы распираемые от богатств западные страны, другим — проникнуть во власть, а также в сферу экономики и духовности, чтобы, действуя с престольных (кремлевских) высот, продемонстрировать неспособность компартийных правителей управлять государством. Параллельно с этими мерами разрабатывалась легенда о благах демократического устройства, в чем особенно преуспели западноевропейские и американские миссионеры от политики, культуры, искусства, просвещения, следом за которыми (или почти тут же) подключились некие «деловые» люди (эксперты) из пресловутого МВФ и других фондов, скороспешно состряпанных и управляемых из Вашингтона, и весь этот молох развала, возврата, разграбления, запущенный вроде бы из благих намерений, отбросил Россию со всем ее могущественным потенциалом чуть ли не ко временам открытия и освоения Америки. Сегодня в этом страшном падении в нищету и бесправие обвиняют народ России, главным образом стержневую его основу — славянство; и это еще одна клеветническая стрела, запущенная для то-

го, чтобы унижить достоинство российского простолюдина. Кремль сегодня как никогда насыщен чужеродцами, и это говорит если не обо всем, то о многом; нас снова загоняют под церковные своды, чтобы молиться иконостасным кумирам (вместо того чтобы осмотреться и действовать в своих, простолюдинских интересах), в то время как олигархи (все из того же клана фараоновских новодержавников), приняв нужные для себя законы и обворовывая страну и народ, продолжают вывозить, то есть обогащать своими капиталами зарубежные банки и торжественно (на элитных кремлевских сходках) поднимать бокалы в честь своих великих побед. Я не могу сказать, сколько еще продлится это материальное и духовное разорение России, разделит ли наш народ судьбу кельтов и американских индейцев, — время покажет; одно только ясно, что если и после этой ползучей экспансии Запада славяне не откажутся от своей всетерпимости и доверчивости, то один из величайших европейских народов медленно, но верно сойдет в небытие. Неужели до сих пор никому не ясно, что демократия — это такая же профанация, как и коммунизм, только с еще большим отчуждением народа от власти, что она является лишь гранью все той же — от древнеегипетского первородства — системы господства и рабства, приняв которую на заре тысячелетий, народы надели на себя ярмо безысходной нищеты, бесправия и беспросветных страданий, из которых нет или по крайней мере не видно выхода.

## ЛП

Для того чтобы единой державно управлять миром, а мир сегодня как никогда подошел к такому единой державству, нужно, чтобы народы исповедовали если не единую, то, во всяком случае, схожую по социальной основе систему жизни, то есть нужны определенная унификация властных структур, унификация исторических, культурных и религиозных ценностей, признание единого истока цивилизации, внедрение единых или близких к единству экономических основ жизнедеятельности народов и государств, единых или близких к единству церковных отправлений и т. д. и т. п., о чем хорошо было известно еще правителям Древнего Царства и к чему стремились (разумеется, уже в иных масштабах) все вышедшие из Египта носители фараоновской державности, в течение ста восьмидесяти веков распространявшие по свету свою — от древнеегипетского первородства — хищническую цивилизацию. Унификация жизненных основ (в рамках указанной уже хищнической цивилизации), далеко еще не завершенная и поныне, как видим (и что сегодня констатируется многими академическими светилами), привела к тому, что национальные истории большинства европейских, да и не только европейских, государств оказались настолько привязаны к библейским (в данном случае христианским) догмам, словно ни у каких других народов никогда не было ни своей самобытной цивилизации, ни своей культуры, ни своих традиций жизни, ни религиозных верований, ни памятников древности, в том числе и летописных, ни кумиров, оберегавших народ и действовавших (в отличие от захватчиков, приходивших на обетованные земли и подгребавших под себя все рычаги как светской, так и духовной власти) в национальных интересах, а если и было что-то, что образовывало их жизнь (их идиллическое — «славные Гипербореи» — мироустройство), то это варварское было ни в какое сравнение не могло идти с привносившейся фараоновскими новодержавниками великой (хищнической, расшифруем) цивилизацией. Исторические корни народов не просто подрубались и уничтожались (процесс этот все еще не может остановиться), но по странам и континентам прокатывался (параллельно с насаждением хищнического миропорядка) необъявленный и незафиксированный ни в одной историографии вандализм, сравнимый разве что со всемирным карфагенизмом. В результате этого карфагенизма (вандализма) народы получили безродство и, страшась этой открывшейся исторической пустоты, покорно (вместо того чтобы разобраться в ней и реалистически истолковать ее) начали привязывать себя к чуждым, но возвеличивавшимся до всемирной значимости библейским сказаниям, легендам и догмам. Естественно, я беру близкий мне христиан-

ский мир, хотя точно то же происходит и в мусульманском, и в буддийском, и в иудаистском мире, ибо, как уже говорилось выше, все эти религии возникали из потребностей власти, служили ей и сопровождали (если не опережали, сказать точнее) ее во всех разбойно-захватнических и целенаправленно-ползучих проникновениях на новые и новые обетованные земли. Долгое время на унификацию всех начал жизни (под древнеегипетскую систему господства и рабства) трудились оракулы и жрецы, но с расширением плацдарма по навязыванию хищнического миропорядка, то есть образованием Греческой, а затем Римской империй, оракульско-жреческая культовая деятельность уже перестала устраивать правителей, стремившихся к мировому господству, и они обратились к язычеству, шедшему на смену ограниченному в возможностях влиять на массы оракульству, и хотя им не удалось превратить язычество в требующуюся опору государственности (не до земных дел было и олимпийским богам, занятым своими небесными разборками), но это был уже шаг к созданию фундаменталистских религиозных учений. Царства земные (что особенно наглядно проявилось в христианстве) получили зеркальное подтверждение своей тронной значимости, то есть ту недостававшую им легитимность (отсюда, возможно, и евангельское утверждение, что всякая власть от Бога), какой выходцы из фараоновской державности добивались в течение тысячелетий и какая, открыв им неограниченную возможность унификации исторического и текущего бытия, была канонизирована ими (и канонность эта до сих пор не утратила значения) как некая естественная закономерность жизни. А ведь Библия, по сути дела, — это всего лишь одно из древнейших исторических свидетельств, какие можно было бы обнаружить у любого народа, если бы не всеобъемлющий вандализм (карфагенизм), каким сопровождалось насаждение хищничества и стирались следы самобытных цивилизаций. Я глубоко убежден, что Библия (главным образом Ветхий завет) сочинялась древнейшими иудейскими летописцами не как Священное Писание, а из естественной потребности зафиксировать события, очевидцами и участниками которых они были, и то, что творение их со временем было превращено в эталонную значимость человеческого развития, имеет свои обоснования. С одной стороны, такому возвеличиванию Библия обязана своей сохранности (всеобъемлющий вандализм, как видим, во все века обходил ее стороной), а с другой — беспредвзятой будто бы героизацией царских деяний, оправданием их дворцовых и междворцовых разборок, в которых, как в мясорубке, перемалывались простолюдские массы. Кроме того, вышедшие на захват обетованных земель фараоновские державники были не только идеологически, но и территориально привязаны и к нильской с ее бессмертными символами власти — пирамидами, и к палестинской с ее провозглашенной святостью землям. Им нужны были опора, доказательство превосходства хищнической (господство и рабство) цивилизации по отношению к варварству, в каком будто бы находились оккупируемые ими народы, и, может, именно потому, что представить такие доказательства фараоновские державники не могли (пирамиды далеко, да и о чем могли свидетельствовать сии символы абсолютистской власти?), то и вынуждены были прибегнуть к риторическому восхвалению тех мест (Египет, Палестина), выходцами из которых они были, и восхваление это, нараставшее в течение тысячелетий, как-то вроде бы незаметно, вроде бы само собой начало восприниматься как единый исток или источник человеческого бытия. Период Древнего Царства, когда закладывалась хищническая цивилизация, был назван историками и философами «зарей» и «колыбелью» человечества, на что мы стали смотреть с благоговением, жизнь народов все больше и больше стала измеряться постулатами Библии (я говорю о христианском мире, тогда как в мусульманском — Кораном, в иудаистском и буддийском — своими священными писаниями), и явление это, давшее, повторяю, безграничную (и безнаказанную) возможность к унификации всех вступающих или, точнее, вгонявшихся в христианство (словно стадо овец в новую кошару) людских сообществ, привело к тому, что сообщества не просто лишились своих родовых корней, но и не

могли уже проявлять себя в рамках своих национальных традиций. В орбиту библейских догм оказались втянутыми все представители искусств, то есть литераторы, живописцы, музыканты, скульпторы, архитекторы и строители; как по чьей-то властной команде они переключились от служения дворцам к служению храмам, и девять десятых из того, что создано ими за два тысячелетия христианства, основано на библейских сюжетах. Однако такая перестановка сил, действовавших на арене общественной жизни, не принесла никаких существенных изменений; служение храмам, которые сами служили дворцам, только усилило (приумножило) могущество как светской, так и духовной власти, и — случайно или не случайно (думаю, не случайно) так много художественных полотен, выставляемых ныне в галереях и музеях мировых столиц, посвящено мучениям Иисуса на кресте, Его чудесному воскрешению, мучениям Его сподвижников, апостолов, кинувшихся распространять Его Учение, суть которого заключалась в обретении вечных (райских) благ через страдания (Иисус терпел и нам велел), и вот уже с этим неотъемным от нищеты и бесправия терпением народы готовы шагнуть в третье тысячелетие, не подозревая даже, в каком обмане они пребывают; да, случайно или не случайно (наверное, все же не случайно) почти все религиозные сюжеты, посвященные становлению христианства, насыщенные оправдательной кровью, то есть написаны в русле известной уже нам героизации ранних эпох, и такая синхронность тоже не может не вызывать определенных мыслей. Не отставали от живописцев и литераторы, и музыканты; лучшие зодчие и строители взялись за проектирование и возведение соборов, храмов, церквей, монастырских подворий, которые и по сей день способны посоперничать с царскими, президентскими и премьерскими дворцами; я не знаю таких городов и деревень (разумеется, не только в христианском мире), где бы ни возвышались на видном месте соборы, храмы, церкви, церквушки, часовенки; появление этих духовных поработителей среди повсеместного убожества хижин — событие (с точки зрения эстетического любования) своего рода примечательное; примечательное тем, что якобы символизирует своей красотой и изяществом достигнутый уровень цивилизации (да и то сказать, мы можем все, когда под предлогом угождения Богу угождаем себе); но поскольку достижение это связано с усилением духовного, да и не только духовного, насилия (чем богаче убранство церквей и храмов, тем сильнее их воздействие на простолюдное большинство), то тут уже не до эстетического восприятия. Так складывалась наша кабальная история (кабальная история человечества), но совсем не так выглядит она в изложении историков и философов, которые находились и продолжают находиться под прессом грандиозного, сочиненного властителями и церковниками обмана; академическим светилам, как и деятелям искусств, надо было либо пристраиваться к библейскому взгляду на историю, согласно которому все началось с грехопадения Адама и Евы, с гнева Бога на них, со всемирного потопа как воплощения этого Божьего гнева, с Ноя, его ковчега и сыновей, родоисходников трех ведущих ветвей цивилизованного человечества, либо идти на костер инквизиции, не знавшей пощады к тем, кто решался на высказывание своего мнения.

### ЛIII

Мир человеческого бытия, как и мир растений и животных, интересен и красив прежде всего своим разнообразием, и если бы кому-либо вдруг пришло в голову реформировать или, вернее, упростить это разнообразие, скажем, до двух знаковых видов, то есть оставить волков, пожирающих овец, и овец как необходимый корм для волков, то такого преобразователя назвали бы не иначе как сумасшедшим; однако то, что происходит в действительности с человечеством и именуется глобализацией (по крайней мере не так вызывающе звучит, как идентичное: «унификация» или «мировое господство»), хотя и напоминает приведенное реформирование, ни у кого пока еще не вызывало и не вызывает ни серьезных опасений, ни решительных протестов; напротив, унификация бытия, когда людские сообщества лишаются своих самобытных, национальных корней

жизни, многими воспринимается как спасение от трудных условий жизни. А ведь мы и в самом деле неумолимо идем к тому, что на Земле останутся только господа (по абсолютистскому варианту Древнего Царства) и рабы (все по тому же абсолютистскому варианту), то есть, говоря иносказательно, волки и овцы, и это не преувеличение, нет, а реальность, стоящая на пороге нашего «развития». Нас ждут небывалые еще кровавые катаклизмы, так предсказывает Библия, а точнее, ее составители, которые, поняв еще на заре человечества суть и значение хищнического мироустройства, то есть к чему могут прийти народы, зараженные ядом потребительства и насилия, предопределили и драматический конец света. Однако, приняв христианство как величайшее божественное учение и оспенно испещрив лик Земли куполами церквей, соборов и храмов, мы все еще пока лишь посмеиваемся над пророчеством иудейских старцев, полагая, что и в самом деле движемся к прогрессу и процветанию, тогда как если реально оценить творящееся с нами и вокруг нас, то можно прийти к выводу, что и в духовном, и в материальном, и в политическом, и в социальном планах мы сооружаем (или, если точнее, совершенствуем, междержавно соревнуясь в открытиях и достижениях) лишь гигантскую гильотину, под ножом которой падет все, что оставяло и зловещий, и благостный смыслы бытия. Правители действуют, народы безмолвствуют — вот суть исторического развития человечества, и наша история, история славянства вообще и особенно восточноевропейского славянства, ничем не отличается от истории всемирной с ее самоубийственным ходом развития, и если мы хотим знать правду о своем прошлом, начиная с древнейших времен, то должны прежде всего обратиться к тенденциям в становлении и развитии общественных отношений и общественного бытия, под влиянием или, вернее, прямым воздействием которых человечество пагубно переводилось со стези естественных на стезю рукотворных закономерностей.

## **ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ**

### **I**

Историческая наука никогда не была наукой в том толковании, в каком мы привыкли воспринимать ее; она, как и войны, то предваряла, то являлась прямым продолжением политики, проводимой правителями или, если конкретнее, последователями фараоновской державности, сегодня почти уже захватившими трон мирового господства; искажая и научно (якобы научно) обосновывая вносимые в ход исторического развития искажения, правители лишь укрепляли фундамент своей царской власти, тронной власти вообще как некой легитимной вроде бы надстройки над простолюдным большинством, готовым сносить любое над собой тиранство, и такое представление о дворцово-хижинном «монолите» правителей и народов, застagnированное еще во времена Древнего Царства (фараоны и рабы), во многом остается и в наши дни благодаря «способностям» историков и философов возводить миражи благоденствия на кровавом пространстве веков. Чтобы убедиться в правоте сказанного, нет нужды обращаться к фактам мировой истории, которых не счесть, достаточно присмотреться к своей, в которой на всей ее протяженности не раз и не два переоценивались деяния великих князей, царей, вождей пролетарской революции (особенно «взело» в этом плане тиранствовавшему Иоанну Грозному, «просвещенному» монарху Борису Годунову, великому государю Петру Первому, политвождям Ленину, Сталину); хотя мы привыкли делить тронных персон на просвещенных и непросвещенных, добронравных и жестоких, отцов и ненавистников народов, в реальном бытии все властители действовали и действуют одинаково по отношению к подданным — грабят и притесняют их; при этом одни пользуются «крышей» просвещенного правителя и, провозглашая себя либералами, отыскивают и поднимают на щит те исторические эпизоды, в которых легко можно выделить, то есть из которых сфабриковать, образцовое «единение народа и власти»

(да и кому придет в голову перепроверять сие научное утверждение, если оно канонизировано официальной историографией?!), другие, которым важно обосновать жесткую линию, ищут и находят в тиранских деяниях тронных особ прошлых веков благо для народов, и весь смысл современной жизни, насыщенной репрессиями и казнями, обретает значение всеобщего благоденствия. Да, все правители действовали и продолжают действовать (в своих тронных проявлениях) в одном ключе, одном направлении, и первым и главным подтверждением такого вывода служит сама историческая наука, которая, однажды отступив от правдивого освещения исторического развития человечества и оказавшись во лжи, так и не находит сил вылезти из этой стовосьмидесятивековой трясины своего черного грехопадения. Я понимаю, что персонифицированный разбор царских деяний, определявших «величие» прожитых эпох, вызывает у простых людей куда больший интерес, чем обобщенные рассуждения о стержневой сути исторического развития народов; но ведь любой процесс, если обходить стороной его стержневую основу, никогда и ни персд кем не откроется в истинном своем значении, а потому, чтобы до конца понять скрытую концептуально-рукотворную заданность хищнического мироустройства, со всех сторон обручно охватившего нас, нужно хотя бы время от времени отстраняться от традиционно дробного взгляда на ход исторических событий и обращаться к обнаженной, столбовой, рукотворной его сердцевине. Я глубоко убежден, что если бы можно было одновременно обозреть тысячелетия прожитых эпох, то картина жизни, какую мы привыкли воссоздавать в своем воображении, полная некоего единения правителей и народов, картина жизни предстала бы не в этом бутафорском «монолите», но в четком и не стирающемся в веках разделении на хижинное, то есть нищенское, и дворцово-храмовое, то есть барское, бытие; хижины застagnированы в унижениях и бесправии, дворцы и храмы в роскоши и процветании, и в этом разделении, как бы мы ни обходили и ни толковали его, заложен глубочайший драматизм развития человечества; но ни ученые мужи, берущиеся просвещать народы в их обозримом прошлом, ни философы, пытающиеся объяснить нищету нищетой, а барство барством, ни церковники, исходящие (в своем видении мироустройства) лишь из божественных предначертаний, словно бы не хотят видеть этой вопиющей несправедливости и старательно обходят ее стороной в своих исследовательских творениях. Чего и кого боятся ведущие светила мира, думаю, объяснять не надо, ибо, кроме тронных преград, перед ними стояло общественное мнение, которое, как это видно и сегодня, непросто бывает переломить; а между тем такие суждения были, их высказывали (чаще всего в предисловиях к своим многотомным трудам) не столько даже западные, сколько наши, отечественные историки. Николай Михайлович Карамзин, к примеру, коего мы по праву почитаем первоисториком России, в предисловии к своему фундаментальному труду по русской истории писал: «История в некотором смысле есть священная книга народов... зеркало их бытия и деятельности...», но вместо заявленного описания народного бытия, вместо аналитического разбора крепостничества, в какое на семь столетий был погружен великими князьями русский народ, пренебрежительно поименованный смердами, изложил, по существу, «Историю государства Российского», а это, как увидим дальше, далеко и далеко не одно и то же. Сергей Михайлович Соловьев, чей труд и сегодня является настольной книгой по изучению прошлого России, во вступительной статье к первому тому ставит перед собой вполне определенную (достойную и для нынешних историков) цель — если не открыть, то хотя бы прикоснуться к главным пружинам народной и дворцовой жизни, то есть к тем рукотворным закономерностям, какими определялось тогдашнее, как, впрочем, определяется и сегодня, политическое, экономическое, духовное бытие российского люда. «Русская история открывается тем явлением, — констатирует он, — что несколько племен, не видя возможности выхода из родового, особого быта, призывают князя из чужого рода», чтобы передать ему и власть над собой, и земли во владение, и далее пишет, что «главный вопрос для историка состоит в том, как определились

отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами», то есть между народом и властью; но, как и Карамзин, он не достиг поставленной цели и вслед за великим своим предшественником допустил ту же ошибку — вместо исследования взаимоотношений народа и власти ярко и с подробностями изложил историю борьбу разросшегося клана Рюриковичей за великокняжеский стол, то есть за господство над претендовавшими на него родичами и над всеми захваченными (собранными воедино, как утверждают теперь наши коронованные и некоронованные академические светила) восточнославянскими землями. Николай Иванович Костомаров, наиболее, казалось бы, тяготевавший к исследованию русского бытия и, главное, русского народовластия (см. его книгу «Русская республика»), обращается, в сущности, лишь к патриотизированному срезу тех уходящих в глубину веков новгородских, но на самом деле общеславянских традиций народоуправления, какие еще прежде были подавлены варяжскими оккупантами у полян, древлян, кривичей, родимичей, и, оказавшись более устойчивыми у новгородцев, проявлялись последними вспышками непокорства встававшей над ними верховной — киевской, а затем московской — великокняжеской власти. Он как бы отдавал дань покойному, возвеличивая его и скорбя над ним, но, повторяю, и этот великолепный знаток русской истории не пошел дальше патриотизирования «народного вече», а в главном своем труде, названном «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», и вовсе отошел от исследования народной жизни и обратился целиком к истории становления российской государственности. Однако констатация — это еще не упрек, и я отнюдь не собирался в чем-либо принизить Карамзина, Соловьева, Костомарова, которые, как уже отмечалось выше, положили начало нашей национальной историографии; они, достаточно обогащенные опытом исторических сочинительств прошлых веков, шли той проторенной дорогой, которая восходила ко временам написания Библии (Ветхий завет), к той концепции героизирования царских деяний, которая была затем положена (через Церковь, да, главным образом через церковное миссионерство, прокладывавшее путь хищническому мироустройству) в основу изложения всемирной, а позднее и национальных историй. К нам эта концепция пришла через перволетописцев Нестора и Никона, авторов «Повести временных лет». В их творениях нет даже намека на анализ народного бытия, как нет ни слова ни о гунском, ни об аварском нашествиях, ни о Готской империи Эрманариха (Германариха) — Руси Первой, как можно было бы по славянской базовой основе именовать ее, — ни о хазарских, варяжских, печенежских, половецких набегах, терзавших Русь, но зато, отдав должное христианским догмам об Адаме и Еве, всемирном потопе, Ное с его сыновьями, от одного из которых, Афета, как раз и пошел род славянский, — отдав должное этому всеохватному подражательству Библии в написании всемирной и национальных историй, перволетописцы наши Нестор и Никон тут же перешли к освещению великокняжеских междуусобиц, положивших будто бы, как утверждают нынешние академические светила, начало становлению русской государственности.

## II

Но вопрос в том: была ли эта государственность русской, какое участие принимал в ее созидании русский люд и принимал ли вообще, или, отторженный варяжскими захватчиками от политической, экономической и духовной жизни этого рэкетирского, как я уже называл его, общественного образования, принужден был (насилием и смирением) принимать как должное обрушивавшиеся на него удары судьбы? Да, вопрос именно в этом, была ли создаваемая Рюриковичами государственность русской или же, напротив, разрушала уже имевшийся уклад — безжалостно, жестоко, действуя методами фараоновских державников, уже прошедших по Западной Европе и лишивших коренные народы этого континента всякой самобытности и самостоятельности? И хотя восточнославянские племена не имели еще к описываемому периоду своей единой

государственности, а жили, можно сказать, огромными родовыми анклавами: сами по себе киевские поляне, сами по себе древляне (кстати, одно из самых могущественных славянских образований, ставившее города и имевшее своих князей), сами по себе кривичи, родимичи, новгородские, или, иначе говоря, северные, славяне, но такое видение той нашей ранней истории, мягко выражаясь, вызывает сомнения; один язык, одни боги, один уклад социальной и нравственной жизни — все это позволяло им широко общаться между собой, связывало их экономически, и если бы не варяги, явившиеся к нам с мечом («со всей русью», то есть с пиратской дружиной), думаю, русская государственность сообразовалась бы путем естественного сближения разрозненных (особенно после гуннского и аварского нашествий) славянских родовых анклавов и, что особенно важно, бескровно, совсем на иных, чем варяжское рэкети́рство, основах. Но этого не произошло; не произошло не только потому, что славянство вообще и восточноевропейское в частности оказались нравственно не готовыми к такому страшному для них повороту событий (к тому же славянские племена, как свидетельствуют Геродот и Тацит, с незапамятных времен отличались невоинственностью, не признавали рабство и имели характер добрый и миролюбивый), и не только потому, что были разобщены, то есть расселены по огромной территории от Днепра до Рейна, от Балтийского моря до Средиземного, что и обеспечивало им более или менее спокойную жизнь (по крайней мере до первых азиатских нашествий), но потому, что фараоновская державность, выплеснувшаяся из обглоданного Египта на обетованные земли, настолько преуспела в распадничестве (насаждении) среди народов хищнического мироустройства, что палестинский почин ее превратился уже в мировую тенденцию развития, которая (в лице варягов ли, византийских ли церковных миссионеров или иных захватнически настроенных людских сообществ) так ли, иначе ли не обошла бы стороной и славян, что, впрочем, и случилось с нами на рубежах новой и новейшей истории. Первыми под натиском варяжских оккупантов пали новгородские славяне, затем поляне, жившие вокруг Киева, куда явился (опять же «со всей русью») сподвижник Рюрика конунг Олег, впоследствии объявивший себя великим князем, и именно с восхождения его на княжеский престол как раз и принято в официальной историографии вести отсчет так называемой «русской государственности» (хотя в действительности шло безжалостное разрушение устоев исконного славянского бытия). По сути дела, в естественный ход жизни добронравных и миролюбивых племен было привнесено рукотворное (хищническое) начало, поставившее эти племена в положение безгласных, бесправных рабов, и положение это, великокняжески закрепленное затем в преимущественных правах варягов и абсолютном бесправии смердов, которым непозволительно было владеть ни землей, ни имуществом, положение это стало главным поработительским законом для русского простолюдинского большинства. Таковы факты истории, и в каких бы формах мы ни игнорировали их, они всегда будут оставаться черным знаковым пятном на «славных», как говорят теперь, обратив княжеское и великокняжеское рэкети́рство (а как еще можно охарактеризовать сбор дани?) в удобоваримое, во многом даже лестное понятие «собираание русских земель», — да, всегда будут оставаться черным знаковым пятном на «славных» деяниях Рюриковичей, беспардонно (и в историческом, и в сиюминутном планах) выставляющих себя благодетелями восточноевропейских славян. Ни в мировой, ни в национальных историографиях нет понятия нравственной крыши, тогда как еще с оракульских времен над всей правящей верхушкой планеты создавалась научными и религиозными кругами такая крыша, которая (вопреки вроде бы здравому смыслу) оказалась во сто крат надежнее, чем любые разово-устрашающие силовые воздействия, и главной опорой этой так называемой нравственной крыши явилось (и является по сей день) самое простое и действенное искажение исторической правды, когда отторженное от созидательных процессов бытия простолюдинское большинство провозглашается ведущей (или по крайней мере единой и равной с властителями) силой, и если что-то не ладится в

мировом бытии, то вина за неурядицы в конечном итоге падает на народ. Правители же, оказывается, лишь выполняли волю народа, а не навязывали ему свою (что в переводе на нормальный язык понятий означает, будто не было ни господства, ни рабства и будто человечество, разбитое на хижинное большинство и дворцовую надстройку, в едином порыве созидало то, что позволяло процветать дворцам и пребывать в нищете и беспорядке обитателям хижин). О единстве или хотя бы согласованности действий народов и правителей нельзя говорить уже потому, что народы на протяжении тысячелетий пребывают в одном и том же состоянии нищеты и рабства, то есть застagnированными в этой своей ипостаси, и трудно поверить, чтобы они добровольно, в согласии со своей совестью отдавали все создаваемое ими дворцам и храмам для процветания; обитатели дворцов и храмов, захватив рычаги зомбирования простолюдинских масс (в том числе или даже в первую очередь научный и религиозный), буквально жонглируют ими, высвечивая каждый раз (при смене формаций, о чем уже говорилось выше) некую новую, обещающую всеобщее благоденствие сторону своей традиционно-однообразной тронной (от древнеегипетского первородства) деятельности, и народы, то есть простолюдинские массы, к сожалению, снова и снова попадают в одни и те же расставляемые для них сети. Уже в библейские времена всемирная история сочинялась на основе палестинских (иудейских) царств и царствований, то есть как становление определенной государственности, и стержневой основой такого сочинительства, вернее, стержневой его заданностью являлись, с одной стороны, героизация событий, а с другой — некая будто бы самобытная активность народов, действовавших в согласии с объявляемой (божественной) волей царей. Позднее библейскую интерпретацию истории продолжил Блаженный Августин в своей «Всемирной истории четырех империй», да и мало чем отличается от своих предшественниц и нынешняя всемирная история, в которой народная жизнь, оставаясь все тем же названным приоритетом, до такой степени предана забвению (ведь нам и сегодня важна жизнь фараонов, а не жизнь рабов), что все мы и в самом деле начинаем верить, что воля царей — это и есть воля народов, что не цари за обладание властью, а народы за обретение свободы и благополучия захватывали, закабалляли, обращали в рабство себе подобных и что жизнеописания тронных особ, их междуусобных войн и дворцовых разборок как раз и дают представление об исторических судьбах народов.

### III

Все истории, включая и всемирную, какими бы предисловиями или высказываниями ни сопровождалась, все они написаны не на основах общественного бытия народов, когда бы в равной степени изображались и беспорядок, рабское положение простолюдинского большинства, и пресыщенная всеми достоинствами жизнь тронных и околотронных особ; такой перекосяк, с одной стороны, оправдан действительностью, ибо с переходом на рукотворные закономерности человечество не просто лишило себя естественного хода развития, но целиком и полностью отдалось на произвол правителей, которые и принялись выстраивать (как, впрочем, продолжают выстраивать и теперь) приемлемые для себя общественные (на основе хищничества) отношения и общественное бытие, а с другой — еще более оправдан некой будто бы видимой пассивностью масс, затвержденной в широко распространенном мнении о безликости толп и неспособности их ни на какие (без жестокого поводырства) решительные действия. Как видим, для подобных суждений есть вроде бы достаточно оснований, которые, однако, при углубленном рассмотрении не выдерживают никакой критики, ибо движущей силой жизни нельзя считать лишь тронные особы, большей частью поглощенные (в промежутках между репрессиями против своих подданных) дворцовыми и междворцовыми разборками, которые под пером историков и философов как раз и обретают значение государственного строительства, и точно так же неправомерно сбрасывать со счетов бездействие и безмолвие толп, как это делают многие, берущиеся излагать исторический процесс развития человечества.

ва; суть в ином — в извечном противостоянии народа и власти, и бездействие (безмолвие) народа в этой полюсной связке, конечно же, являет собой определенную историческую заданность, несущую в себе заряд огромной взрывной силы, который во все времена подвигал или, вернее, принуждал властей предрержаниям, чтобы не лишиться добытой за века господства и рабства поводырьской значимости. Итак, подытожим: движущей силой жизни является противостояние (противоборство) народа и власти, и если активность правителей в этой антагонистической расстановке порождается скрытой взрывной силой народных масс, то бездействие народов подпитывается, во-первых, безудержными и бесконечными несбыточными посулами правителей, и, во-вторых, силовыми (войны, карательные меры) устрашениями и экспансионистским духовным насилием. Инициативность тронных и околотронных особ (если, разумеется, не касаться главных или стержневых механизмов или пружин этой инициативности) на фоне пассивности масс поражает воображение, как поражает воображение, но только с обратным знаком, пассивность масс, и обе эти застagnированные в общественном мнении ипостаси, создавая впечатление естественной заданности жизни (чем не «промысел Божий»?), как раз и дают искривленное представление как о прошлом, так и текущем бытии. Вольно или невольно (или просто-напросто подаваясь логическим соображениям) человечество привыкло видеть в правителях людей особо одаренных, наделенных почти божественным правом миловать и карать, а в простолюдинских массах — лишь голь перекатную, жаждущую кумиров, и, как бы мы ни хотели изменить это канонно-устоявшееся восприятие общественного бытия, оно столь глубоко пронизало и ученых мужей, заикленных на академических догмах, и простолюдинов, издревле пребывающих в историческом невежестве, в каком удерживали и продолжают удерживать их правители, что всякая попытка приподнять завесу над истиной либо душится на корню, либо бесславно погибает под многотысячелетним наслоением эпохально подновляемой академической и церковной лжи. Но, кроме этих названных аргументов, есть еще обстоятельство, подвигавшее и подвигающее ныне историков, а вместе с ними и представителей всей творческой интеллигенции (деятели культуры, искусства, литературы, музыкантов, живописцев, скульпторов, архитекторов, дизайнеров) к героизированному изображению дворцовой жизни; они, эти творческие люди, менее всего думают о государственном строительстве, то есть об историческом перекосе, с помощью которого прославляются ведущие человечества и отодвигаются в тень забвения народное бытие, а весь интерес их сосредотачивается на драматизме царствующих персон, на их кровавых и некровавых разборках, их тронных взлетах и падениях, сопровождающихся прилюдными и неприлюдными казнями, и хотя в этом интересе литераторов и художников нет вроде бы ничего предосудительного (созданные ими шедевры до сих пор волнуют нас), но если посмотреть на явление с позиций его влияния на исторический процесс развития, то окажется, что оно самым теснейшим образом сплетено с так называемой научной (ложной) интерпретацией прожитых эпох. Конечно, я понимаю, найдутся историки, философы, деятели искусств, которые, не утрудив себя вникнуть в суть вопроса, примутся с колес, как говорится, отвергать высказанные здесь суждения, но, господа, прежде чем растрчивать пыл своего негодования, присмотритесь как следует к историческому процессу, как он представлен во всех, да, почти во всех официальных историографиях, в которых есть место царям (ими заполнено почти все) и нет места простолюдинам, на ведущую роль которых так любят иногда ссылаться академические светила, когда обстоятельства требуют от них популистских высказываний, и о которых наглухо забывают, как только склоняются над своими научными трудами. Кто-то из философов сказал, что на Земле (имея в виду прежде всего жизнь людей) нет ничего, что не повторялось бы в главнейшей своей стержневой заданности; каждая эпоха лишь меняет наряд, то есть сбрасывает устаревшую одежду и надевает новую, отличающуюся вроде

бы и по покрою, и по расцветке (родовой строй, феодальный, капиталистический, социалистический, коммунистический, демократический), но плоть, или основа, то есть телеса, кои прикрываются этими эпохально будто бы обновляющимися одеяниями, остаются неизменными, по крайней мере со времен Древнего Царства; заложенная фараонами Египта хищническая система мироустройства (фараоны и рабы), как она процветала тогда, так процветает и сегодня, и все атрибуты насилия, как они применялись в ту древнюю эпоху, так применяются и теперь, но только с большей изощренностью и завуалированностью, что как раз и говорит об исторической (поражающей или по крайней мере должной поражать нас) активности тронных и околотронных (в борьбе за бессмертие) персон. Для чего фараоны громоздили величественные усыпальницы? Для того, чтобы укрепиться в веках в своем могуществе. Однако значимость их оказалась куда большей, чем задумывалась ими, ибо пирамиды стали не только символами безграничной фараоновской власти, но и символами той абсолютистской (хищнической) системы господства и рабства, какую человечество, получив из рук сих древнейших правителей, бережно, да, такое создается впечатление, сумело пронести через тысячелетия и готовится нести дальше, как мать-кормилицу или как богиню-охранительницу тронных интересов, лелея и ублажая ее. Фараонам, достигнувшим божественной власти, не было дела до рабов, то есть до простолюдинов, на поту и крови которых они возводили свое благополучие, и мы, по сути дела, мало что знаем о жизни тех несчастных, закабаленных египтян, а если и знаем что-то, то лишь в общих чертах нищеты, человеческих страданий и бед; то, что ученые мужи сегодня ищут в той древнейшей истории, отнюдь не пополняет наши знания о жизни простолюдинского большинства, ибо их в первую очередь интересуют пирамиды и фараоны, то есть жизнь властителей, их мудрость в становлении тех государственных основ жизни, которые дошли до нас если и не в первоизданном виде, то, как уже говорилось здесь, во всей своей негнибавшей стержневой заданности. Мы точно так же ищем смысл нашего бытия в жизнеописаниях великих древнегреческих и римских государственных деятелей (кстати, приведших к развалу свои знаменитые империи), в полководцах всех времен, заливавших земли Присредиземноморья и Европы кровью, в историках и философах, отравлявших народы своими изощренными искажениями древней и текущей действительности, в церковниках, благословлявших походы крестоносцев, суды инквизиции, костры на площадях городов, селений, обращавших в пепел цвет наций, и это только тот малый перечень исторической правды, коей однозначно подтверждается разбираемая здесь так называемая научная тенденция, или, сказать иначе, научный подход к изложению как всемирной, так и национальных историй. Для нас священным летописным памятником истории является «Повесть временных лет», сочиненная монахами Киево-Печерской лавры Нестором и Никоном. Но что мы узнаем из этого священного памятника? Все тот же исторически апробированный, начиная с Библии, рассказ о княжеских и великокняжеских междуусобицах, характерных для всех семи столетий правления Рюриковичей. Разумеется, я не могу с точностью утверждать, насколько подражательно и насколько самостоятельно была избрана ими концепция изложения отечественной истории, поскольку жития их (в отличие от других деятелей нашего прошлого) словно в одночасье куда-то испарились, их нет ни в биографиях Костомарова, ни среди дошедших до нас рукописных творений того времени, более того, к этим знаковым для нас историческим фигурам на протяжении почти десяти веков ни историки, ни философы, ни церковники почти не обращались, а между тем, словно по негласному уговору (и на протяжении все тех же десяти веков), все, кто брался за написание исторических трудов о России,— все следовали заданной Нестором и Никоном ориентации и сводили нашу историю к противоборству претендентов-Рюриковичей, а затем претендентов-Романовых, пролетарских вождей и «прорабов» демократического переустройства жизни за обладание российским престолом; то есть, говоря иначе, сочиняли (следуя тысячелетней мировой тенденции) «Историю государ-

ства Российского», а не историю живших и живущих в этом государстве народов, игнорируя главным образом национальную самобытность славян. Мы не знаем своей истории, как не знают своей многие и многие европейские, африканские и азиатские народы; нам говорят, что «русская история открывается тем явлением, что несколько племен, не видя возможности выхода из родового, особого быта, призывают князя из чужого рода» и передают ему всю власть над собой; ничего не скажешь, легенда достаточно продуманная, поработительское действие которой рассчитано на века (ведь мы до сих пор живем под ее впечатлением), но я задаю себе вопрос: а что представляли собой славянские племена до рюриковической оккупации, каковым был уклад их жизни, из каких истоков берут начало наши добронравие, миролюбие, терпимость, доверчивость, и, наконец, не пора ли прекратить все инсинуации насчет исторических будто бы метаний славян, однажды вдруг бросивших свои северные земли и отправившихся на юг, в Индию, искать «молочные реки и кисельные берега», чтобы затем, не найдя их там, вернуться обратно (вариант первый, назовем его так), или некое пришествие с Дуная, то есть из теплых, благодатных мест в заснеженные, студёные земли (вариант второй); но ведь есть же достоверные свидетельства Геродота и Тацита, согласно которым славянские племена занимали почти всю центральную Европу от Днепра до Рейна и от Балтийского моря до Средиземного, включая Балканы, Фракию, Грецию (пелопоннесские, афинские, македонские илоты, прозывавшиеся иванами), — да, не пора ли вернуться к этому первоисточнику о славянских племенах и ощутить себя потомками одного из великих и некогда могущественных (пусть хотя бы и в прошлом) европейских народов.

#### IV

Но, чтобы осуществить это, нужно прежде всего в изложении истории отказать на всех уровнях (особенно на академическом и просветительском) от концепции «государственного строительства», предполагающей лишь героизированное описание великокняжеской и царской дворцовой жизни (великокняжеская и царская жизнь должны стать только тем зловещим фоном, на котором раскручивалась трагическая судьба русского, да и не только русского, народа России), и обратиться к истокам простонародного бытия, проследив развитие событий от древних и древнейших времен, по крайней мере насколько это возможно с вандалистской утратой национальных памятников, которые могли бы с достоверностью раскрыть нам тайну нашей жизни (наших бед, нашего достоинства, нашей славы); точно так же, как Ломоносов боролся с немецким засилием в Российской академии наук, нам предстоит еще смертная (хотя слово это, возможно, и не совсем уместно здесь) схватка с нынешним засилием чужеземства, и не только в академических кругах, но и в правительстве, и в просвещении, и в культуре, и во всех иных руководящих центрах, кардинально влияющих на общественную жизнь страны, — да, да и еще раз да, предстоит эта борьба, проиграв которую мы потеряем все. Я говорю о борьбе потому, что исхожу из фактов истории, в которой (как в нашей, так и в историях других народов) не зафиксировано ни одного случая, когда бы последователи фараоновской державности, то есть носители и хранители хищнического (господство и рабство) мироустройства, отступились по совести от своих античеловеческих (антинародных) завоеваний; искажения истории — это их хлебная (или золотая, можно сказать и так) нива, с которой они кормятся и процветают, и главным искажением в этой научно будто бы канонизированной концепции по изложению событий минувших и текущих столетий как раз и является изображение дворцовой и игнорирование народной жизни. Если рассматривать эту концепцию в действительном ее выражении, то есть влиянии на ход исторического развития, то прежде всего следует выделить в ней паническую, да, почти паническую боязнь наших правителей (правителей вообще) перед возможным пробуждением национального самосознания простолюдинских масс; массы, познавшие истину о своем древнем и текущем бытии, потребуют восстановления справедливости, то есть равных

прав для всех граждан сообщества, и одним из действенных средств не допустить такого поворота событий и является подача искаженного представления или, что еще чудовищнее, умолчания о вековом трагизме народного бытия. Однако искажение истории, подтасовка в ней стержневых основ национального развития не являются только делом внутригосударственной политики тронных и околотронных или президентских, премьерских и околопрезидентских и околопремьерских персон, но начиная уже с древнейших времен, то есть с Древнего Царства, применялись как инструмент давления на тех или иных государей соседствующих стран (разумеется, и на их народы), троны которых становились объектами пристального внимания фараоновских новодержавников; прежде всего в ход пускалась нелегитимность их царских полномочий, и это (совместно с неисторичностью народа, если по классификации Гегеля, утверждавшего, что есть народы исторические, то есть ведущие, и есть неисторические, то есть ведомые) в конце концов приводило в лучшем случае к сменам правящих династий. В России со времен появления Рюриковичей действовала лишь внутригосударственная политика в искажении и фальсификации истории, и служила эта политика в основном престижу варяжских узурпаторов власти; но чем больше расширялось наше государство территориально, чем сильнее оно укреплялось среди европейских и азиатских держав, тем обильнее появлялось претендентов на ее престол, не брезговавших в своих стремлениях никакими методами свержения уже коронованных самодержцев; тут и царубийства, и детоубийства, и отравления (не без участия западных «благодетелей»), и всевозможное самозванство (Лжедмитрии — первый, второй, третий), вылившееся в пугачевщину, и мазеповщина как предательство интересов славянского единства, и тогда же, на рубеже пятнадцатого-шестнадцатого веков, явилась некая новая (позднее она стала называться южной) теория становления русской государственности. Не России, нет, то есть не русского и примкнувших к нему народов, объединенных в понятие «Русь», а именно — южнороссийский вариант становления нашей государственности. Изначальной основой для такого подхода к восстановлению некой будто бы попорченной истины было взято известное выражение, что Киев является матерью городов русских и что не Москве и уж, конечно, не Владимиру, не Суздалью, не Твери, а именно Киеву надлежало быть стольным градом Российской державы. Как гласит Библия, в начале было Слово, и Слово это, то есть фраза, была произнесена: «Мать городов русских»; на тот период, когда ее произносили, она отражала действительность, и никому не приходило в голову, что именно она станет той отправной точкой, от которой начнется раздор среди восточнославянских, да и не только восточнославянских, племен; мы сегодня говорим об украинском национализме, вспыхнувшем как некий противовес русскому засилью, какого, впрочем, никогда не было и не могло быть между единокровными братскими народами (тяжбы правителей, боровшихся за власть, — это вопрос другой), но история подтасованная — это не история истинная и уж вовсе не история народа, и если она обретает значение истины, то есть пропитывает сознание людей, то это может означать только одно — что во дворцах идет смена правителей, а к народу стучится новое бедствие. Мне не хотелось бы вдаваться здесь в подробности, почему великокняжеский стол был перенесен из Киева в северные земли, поскольку обо всем этом подробно рассказано и у Карамзина, и у Соловьева; для такого демарша, разумеется, были достаточно веские побудительные причины, среди которых следовало бы отметить постоянные набеги азиатских орд, терзавших «мать городов русских», и княжеские междуусобицы, когда те же орды, но уже в виде княжеского войска (и то сказать, на что только не шли все эти святославичи, ольговичи, ростиславичи, всеволодовичи, ярославичи в схватках за великокняжеский стол!), подступали к стольному граду, свергали одного и восстанавливали другого претендента, и, как плата за услугу, им отдавались на разграбление окрестности Киева. Конечно, дело не ограничивалось только двумя этими приведенными примерами, было множество и других причин (нельзя сбрасывать со счетов и то, что порабощение Рюрикови-

чами восточноевропейских славян начиналось не с Киева, а с Новгорода, и это в конце концов тоже имело свое значение), но Киев, как засвидетельствовано в истории, не мог смириться со второй ролью в державе своего князя, его по-прежнему величали Великим, и особенно усердствовала в этом Церковь; ее духовная власть через священников, готовившихся в Киево-Печерской лавре, распространялась почти на все тогдашние области России, и это вызывало раздражение у северных властителей русской земли. Киев все чаще и чаще изгонял присылавшегося ими князя с севера и ставил своего, нарекая его Великим, на Руси явно назревал раскол, и, чтобы избежать его, на юг направлялись карательные дружины, и бывший стольный град подвергался разорению и осквернению (при этом больше всего страдал простой люд, что вызывало в нем возмущение); но киевские отцы города, особенно отцы Церкви, не успокаивались, и, когда киевляне в очередной раз изгнали присланного им ставленника, владимирский князь Андрей Боголюбский, которого одни историки называют просвещенным за его пристрастие к православной вере и возведение церквей и монастырей, а другие — первым российским самодержцем, претендовавшим на единодержавную в России верховную власть,— владимирский князь Андрей Боголюбский, чтобы прекратить распри и остановить назревавший раскол, решил как следует наказать непокорных киевлян. Он собрал войско, которое на две трети состояло из половецких да и вообще азиатских орд, и подступил к Киеву. Летописная история не зафиксировала ни осады, ни взятия города, в ней говорится лишь о том, что Киев был разрушен и сожжен полностью, что вместо строений простиралось лишь дымящееся пепелище, будто поднявшийся из могилы Аттила вновь прошелся по этой земле со своим зловецим (в кибитках и на лохматых лошаденках) державным табором; часть киевлян, особенно житых людей, была побита, часть угнана (вместе с младенцами) в рабство, то есть на невольничьи рынки Востока, Днепр был красным от крови, окрестность оглашалась стонами несчастных горожан (не менее досталось и окольным хлебопашцам), и, полюбовавшись с возвышения картиной мести, князь отправился в обратный путь. Никто из ученых мужей не сравнивал в нашей истории разорение Киева владимирским князем с разорением (и в том, и в другом случаях события подавались как усмирение непокорных) Новгорода Иоанном Грозным или с карательным походом княгини Ольги на древлян. Мне же представляется, что события эти связаны между собой одной идеологической (политической) нитью, и если Ольга подала первый пример усмирения, да такой, что древляне — одно из могущественных старейших славянских племен,— имевшие и свои города, и своих князей, и свою самобытную культуру, так и не смогли после этого за все последующие столетия восстановиться ни в своей самобытности, ни в своем могуществе, то князя Боголюбского и царя Иоанна Грозного вполне можно считать самыми примерными ее учениками; точно так же, как после расправы грозного московского царя над Новгородом этот русский город полностью потерял свое значение в самобытном развитии российской государственности, потерял значение после «визита» Боголюбского и Киев, как град-претендент на державное столонаследие, и хотя Церковь (вместе с сохранившимся Софийским собором) еще пыталась что-то предпринять, чтобы вернуть утраченное, но значение «матери городов русских» было уже на столетия вперед предопределено историческим ходом развивавшихся событий.

## V

Все, что выстраивается по рукотворным закономерностям, непременно порождает в истории и предсказуемые, и непредсказуемые явления; поход Олега на Киев, с одной стороны, был предсказуем, поскольку область новгородских славян составляла лишь часть той обширной территории, какую занимали единопородные и единопольные (поляне, древляне, кривичи, родимичи и т. д.) славянские племена, и если предположить, что захватнический поход Рюрика с братьями и «со всей русью» не был стихийным, но представлял собой достаточно про-

думанное и целенаправленное действие (что, впрочем, как увидим ниже, вполне подтверждено ходом истории),— да, если предположить, что захватнический поход Рюрика не был стихийным, а основывался на определенных знаниях неких свежих еще в памяти народов событий (в конце концов легенда о Руси Первой, то есть о Готской империи Эрманариха, или Германариха, основанной на базе славянских племен и разоренной гуннами,— легенда эта, ходившая в устных пересказах и зафиксированная в летописи, какая велась при внуке Эрманариха Виннитаре, будоражила многие умы тогдашних охотников или соискателей власти),— если предположить, что оккупация варяжскими пиратами славянских земель была действием целенаправленным, а это, на мой взгляд, так и было, потому что созданная Рюриковичами Русь Вторая, как я называю ее, оказалась созданной точно в границах Руси Первой, то и поход Олега на Киев, и захват его были не только предсказуемыми, но явились прямым продолжением замыслов главы вторжения, так что у Киева, что следует особо подчеркнуть, ни тогда, ни, разумеется, теперь не было и нет оснований на столоначалие. Ведь Киевская Русь, которой так гордятся, возникла не из политических или социальных (народных) потребностей жизни, но была захватнически навязана явившимися на славянские земли варяжскими пиратскими дружинами, и если уж говорить о главенстве, то первыми, кто испытал на себе это оккупационное «благо», были новгородские славяне; чужеродная власть пришла на юг с севера, так что вполне закономерно, что она затем вновь убралась на север, и никакие амбициозные претензии не могли (как не могут и теперь) остановить ее. Но ведь известно, что эмоции людей всегда выше здравого смысла, особенно когда речь идет о захвате власти. Идея самостийности, словно угли в догорающей печи, продолжала тлеть, проявляясь иногда самыми неожиданными вспышками непокорства; по всему югу тогдашней Украины бродили разбойные шайки, так называемые казачьи вольницы, ориентированные на вседозволенность и грабеж; вольницы эти то поднимались на турок, крымских татар, кавказцев, то, объединившись с ними, выступали против поляков, литовцев, русских, часто оказывавшихся беззащитными перед подобными набегами, и я не думаю, чтобы это была организованная, осмысленная борьба за свободу и самостийность Украины, как теперь подается в истории. Скорее всего тут отдавалась дань разбойной Святославовой традиции, то есть памяти бездомного (иначе не назовешь) киевского князя, ходившего на древлян, кривичей, родимичей, на хазар, все еще домогавшихся славянской дани, опустошавшего берега Каспия, не раз подступавшего к Константинополю, терзавшего Фракию, Даккию, то есть своевольничавшего в чужих странах и среди чужих народов, выдавая свои погромные набеги за некую молодецкую удаль; он был непритязательным к условиям походной жизни, спал на потнике, подкладывая седло под голову, подчеркивал свое равенство с дружинниками и вместе с ними в одном ряду бился с врагами. Наверное, вряд ли кто-либо сегодня с уверенностью сможет сказать, насколько правдивы и насколько героизированы «подвиги» сего бездомного (не могу не повторить) киевского князя; скорее всего тут больше героизированного, чем правды, то есть красивой лжи, которая обычно охотно воспринимается в народе, ибо поднимает некий патриотический дух, чем горькой истины, от которой бывает тошно жить; но так ли, иначе ли в нашей, и официальной, и неофициальной, историографии остается канонно-зафиксированной лишь героизация Запорожской Сечи, и все попытки развенчать этот привлекательный образ «казачьей вольницы» пока что ни к чему не приводили. Однако хочу заметить, что в отличие от бродивших тогда по Югу разбойных шаек Запорожская Сечь была первым (после мазеповщины) осмысленным проявлением уже на чавшего к тому времени возрождаться украинского сепаратизма. Наверное, следует сказать здесь, что основатели Запорожской Сечи хорошо знали историю периода княжения Ольги и Святослава, о чем говорят, во-первых, выбор места и, во-вторых, взятые ими атрибуты Святославовой одежды вплоть до широких шаровар, чуба на голове, позднее прозванного хохляцким, и варяжского желто-голубого флага, и, разумеется, вполне ясно

представляли, какую роль может сыграть эта их «казацкая вольница» в будущем отмежевании Украины от России; сами они, как это и водилось среди претендентов на царский престол, держались или, во всяком случае, старались держаться в стороне, мы не знаем ни их имен, ни их чинов, и если ученые мужи приписывают сегодня «славу» Сечи ее знаменитым атаманам, то это всего лишь полуправда или скорее тень от тех влиятельных (амбициозных) украинских гетманов и их кремлевских приструнников, которые вели своего рода подковерные интриги, говоря языком современности, против верховной российской власти. Время от времени в противостояние втягивались людские массы, но это были лишь эпизоды, которые не влияли и не могли влиять на братские отношения двух родственных народов; неприязнь нагнеталась лишь между властвующими особами, то есть велась на тронном уровне, и это состояние «тлеющего костра», перетекая через хребты десятилетий и столетий, постепенно, как само собой разумеющееся, входило в привычную норму общероссийской жизни. С Украиной то считались как с некой претендующей на обособленность частью России, то забывали об этом и возводили в Крыму, под Киевом, в самом Киеве великолепные царские дворцы, как если бы и в самом деле намеревались навечно утвердиться на этой благодатной южной земле. Так, в гласном и негласном противоборстве гетманской Украины и царской России протекала вся наша новейшая почти тысячелетняя история, пока не открылась возможность вновь раздуть костер самостийности (суверенитета), который, с одной стороны, вроде бы позволял украинскому народу освободиться от российской зависимости, а с другой (чего до сих пор еще не осознали ни мы, ни украинцы) — наносился непоправимый вред (удар в спину) общеславянскому единству. Но между тем противостоянием — противостоянием властвовавших и претендовавших на власть персон, — каким обозначилась наша история после похода Андрея Боголюбского с половцами на Киев, и новым витком сепаратистских устремлений, если по-серьезному вникнуть в суть происходившего и происходящего процесса, есть только одно различие, которое можно было бы охарактеризовать как определенную смену масштабов и ориентиров; сегодня в расколе, в противостоянии двух братских народов заинтересованы даже не столько традиционно-гетманские силы, пробудившиеся с распадом СССР и выходом Украины из состава коммунистической державы (которую, кстати, они до сих пор продолжают считать Российской Империей), сколько спецслужбы иноземных, главным образом европейских (натовских), супергосударств. Интерес этот, между прочим, не прерывался со времен Карла Великого, положившего в основу своей политики раздробление славян и оттеснение их на Восток, и если рассматривать нынешние отношения Украины с Россией через призму исторических событий, то они, на мой взгляд, не только не новы ни в целях, ни в методах, но являются прямым продолжением великокарловской антиславянской, господствовавшей на протяжении всей новейшей истории доктрины *Lebensraum*, которая и сегодня побуждает западноевропейских правителей и народы к агрессивным против нас решительным действиям. В нынешних президентских и премьерских дворцах стран семерки не забыли ни намерений Карла Великого, ходившего на славян, ни готовившегося против России крестового, можно сказать и так, похода под патронажем королей и папы, не состоявшегося лишь благодаря открытию Америки, то есть той обетованной земли, куда бросились тысячи и тысячи ловцов счастья, ловцов удачи, чтобы за счет уничтожения других народов обрести богатства и власть; ни вторжения Наполеона в Россию, тоже безуспешного (он взял Москву, но затем похоронил свою обесславленную армию, преследуемую Кутузовым в снегах у Березины); ни липовых успехов гитлеровского вермахта, чьи железные будто бы дивизии подступали к Москве, выходили к берегам Волги, а завершили свой путь в разрушенном Берлине, — да, в нынешних президентских и премьерских дворцах стран семерки (они же главенствуют и в НАТО) отлично помнят обо всех этих неудавшихся попытках поставить на колени Россию, славянство вообще, чтобы занять освобожденные от этого «мусора человечества» обетованные

земли, и если кто-то еще наивно полагает, что СССР как держава развалилась от разъедавших ее внутренних проблем, то есть вождистского тоталитарного режима, то он глубоко заблуждается в своих оценках; внутренние проблемы есть в каждом государстве, каким бы образцовым оно ни представлялось со стороны, тогда как в разбираемом случае истинная правда состоит в том, что на развал СССР была задействована почти вся мировая общественность, включая как ведущих политиков, историков, философов, социологов (профессия двадцатого столетия), так и творческую интеллигенцию, всегда готовую реагировать на что угодно, только не на отечественный национальный патриотизм. Думаю, сказанное не требует доказательств, ибо главным доказательством служит здесь окружающая нас жизнь, подвинувшая россиян на грань нищеты и поставившая Россию в униженное положение. Мы видим, как нажитые народом богатства перетекают от исконных владельцев к отечественным и чужеземным авантюристам; едва республики бывшего Союза получили независимость, как туда тотчас же хлынули армии всякого рода эмиссаров от политики, экономики, духовности, призванные где посулами, где силовым давлением не допустить даже намека на возрождение не только братских, то есть союзных, отношений между размежавшимися государствами и народами, но и всех других жизненно важных для благоустройства связей; возможно, западные воротилы власти в какой-то момент друг почуствовали, что Россия опять ускользает от них, и с удвоенным усердием и заговорщической утонченностью принялись создавать из бывших республик Союза определенный противовес непокорной «имперской» России.

## VI

Выше я уже говорил, что насаждение хищнического (господство и рабство) мироустройства среди добронравно и самобытно живших народов сопровождалось или, сказать точнее, несло в себе заряд беспощадного, жестокого, всеохватного вандализма; вандалы от древнеегипетского первородства не просто разрушали дорогие народам памятники, или вежи их исторического бытия — дворцы, святилища, храмы, города, наскальные, папирусные, летописные свидетельства (нетронутыми оставались только пирамиды как символы бессмертия и могущества власти), но параллельно или почти параллельно с этим духовным, да, я не оговорился, не материальным, нет, а именно духовным обездоливанием закабаленных масс, принимались за перекройку истории, что по сути своей являлось лишь скрытым процессом все того же вандализма, калечившего исторические судьбы народов. Но ни ученые мужи, ни церковники, ни политики и политологи за все восемнадцать тысячелетий, если вести отсчет от Древнего Царства, так ни разу даже не зайкнули о существовании этого скрытого (за пологом ослепляющего наводнения народов), зловещего вандализма. А ведь истоки его восходят к Древнему Царству (как, впрочем, большинство всех нынешних политических и социальных явлений жизни), к безграничному фараоновскому абсолютизму, и, чтобы не быть голословным, позволю себе сослаться на более чем убедительный пример из той ушедшей в небытие эпохи. В истории Древнего Египта известен факт, когда при смене фараоновской династии был уничтожен один из удивительнейших религиозных памятников истории. То, что построили дети Солнца, то есть фараоны, поклонявшиеся этому божеству, — город света и солнца, который мог бы претендовать на одно из чудес света, безжалостно разорили, разграбили и превратили в руины дети Неба, явившиеся на смену своим предшественникам, и сделали это лишь ради укрепления своей династической власти. Вообще замена одних религиозных убеждений другими, если повнимательней присмотреться к историческому процессу развития человечества, ни в какие времена не инициировалась народами, как склонны утверждать ученые и церковники, но всегда правителями, искавшими или добывавшимися (путем искажения исторических фактов, их героизации) легитимности своих прав на тот или иной престол, и вандализм в их представлении не только не казался им вандализмом (тем более по отношению к историческим судьбам покоряемых народов),

но, напротив, представлялся делом величайшей царской справедливости и царской чести. Пример египетских фараонов, опиравшихся в своих противоборствах на некие религиозные будто бы убеждения, их безжалостный вандализм, сопровождавшийся скорее сменой богов, чем сменой убеждений, их стремления к некому социальному будто бы переустройству мира, провозглашавшиеся на площадях и забывавшиеся в суете тронной жизни,— пример этот оказался столь же заразительным, как и вся фараоновская державность с ее абсолютизмом господства и абсолютизмом рабства, кабально охватившая ныне народы и государства планеты. Вожди, цари, императоры, полководцы всех времен, если снять с них оправдательную мишуру веков, могут показаться лишь жалкими ничтожествами в своем зловещем сизифовом труде, недостойными не только иконостасно-пьедестального величия, но даже простого упоминания в истории. Одни властители строили дворцы, храмы для утверждения своего могущества, другие, шедшие за ними, разрушали эти святилища и возводили свои, мало чем (в стержневой заданности) отличавшиеся от прежних, и процесс этот, процесс созидания и разрушения, как запрограммированный молох, связав цепью десятилетия, столетия, эпохи, продолжает и сегодня свое торжествующее шествие по странам и континентам. Все это, мне кажется, настолько очевидно, что не нужно никакого особого ума или особых знаний, чтобы понять, в какой политический, социальный и нравственный тупик вогнало себя ведомое кумирами-поводырями человечество; мы дошли до того, что сегодня ни один народ не знает своей подлинной истории, а пользуется только теми сочиненными в академических кабинетах и монастырских кельях поделками, из которых можно почерпнуть только то, что прошлое — это варварство, а настоящее — это цивилизация, открывающая путь к прогрессу и процветанию (добавим: на основах глобализации, то есть мирового господства, или, если точнее, нового «века Богов»). Точно так же, как скрыты от нас доклассовый период развития человечества и период классового расслоения (разумеется, не без приложения человеческих рук), неисследованными (возможно, в силу тех же причин) остаются и Древнее Царство, на постулатах которого зиждется наша хваленая цивилизация, и всё или почти всё сорокавековое господство фараонов в Египте. Я не уверен в том, что Книга Книг, как называют Библию и в научном, и в церковном мире, являет собой неподражаемое или неподдельное историческое откровение; мы можем только предположить, что в древности, когда сочинители ее только еще приступали к работе, движимые лишь желанием запечатлеть совершавшиеся вокруг них события, то есть в те прашурные времена, когда Библия не была еще Библией и ей не придавалось значение Святого Писания, она, возможно, и представляла собой некую историческую достоверность; но теперь, после эпохальных обработок (каждый правитель, ученый или иерархический церковник считал просто-напросто долгом приложить к ней руку), достоверными остались только имена династических властителей, их разорительные походы, сопровождавшиеся вандализмом явным и вандализмом скрытым, то есть разрушением одних святилищ и возведением других, разумеется, при полном сохранении системы господства и рабства. История свидетельствует, что палестинские мини-государства, или мини-царства, создавались древнеегипетскими державниками, двинувшимися с нильских берегов на поиски новых обетованных земель, и было бы естественно, если бы описание кровавой палестинщины было предварено рассказами о Древнем Царстве как о своем прародителе; но сочинители Библии (скорее позднейшие перекройщики) проигнорировали этот самый, может быть, знаковый период в становлении и развитии хищнической цивилизации и представили дело так, будто человечество вошло в жизнь уже в готовых вариантах царств и царствований (см. Ветхий завет). Библейские старцы, то есть сочинители Книги Книг, стремившиеся, как видно, угодить своим верховным правителям, вряд ли задумывались над тем, что они искажают историю, то есть отправляют в небытие прошлое во имя торжества настоящего; они, по сути дела, словесно вылепливали тех исторических личностей, которые якобы, отмежевываясь от установленных фараонами Египта традиций жизни (традиций господства и рабства),

прокладывали свой путь в мире хищнических отношений (так по крайней мере им казалось) и, естественно, хотели видеть себя запечатленными в истории именно в этом своем мнимом величии. Явление объяснимое, и вольно или невольно, но именно оно сыграло самую зловещую шутку в понимании и толковании целостного процесса развития человечества. Перекраивая или предавая забвению прошлое ради сиюминутных интересов тронных особ и их элитных окружений, мы, во-первых, неправомерно дробим, то есть расчленяем, целостный процесс развития, и, во-вторых, лишаем себя (народы) самых важных (национальных) корней жизни, так что — чему удивляться, если народы (и прежде всего европейские) даже понятия не имеют о своем историческом прошлом. Между тем традиция, заложенная древними мудрецами в Книгу Книг, как, впрочем, и все, что канонно представлено в Библии, в конце концов получила, не могла не получить статус научно обоснованной догмы, и мы уже не замечаем (за этой въевшейся в нас догмой), что подаваемая для просветительского пользования история народов (будто бы история народов) есть только жалкое подобие истины, то есть тот заменитель действительных событий, каким была и остается наполненной в своем трагизме наша жизнь.

## VII

Захотим ли, не захотим ли мы признать это, но история свидетельствует, что все этапы распространения и насаждения хищнического мироустройства сопровождалась одним и тем же явлением — либо частичным, либо полным отрицанием прошлого во имя привносимого (весьма и весьма, впрочем, сомнительного) будущего. Правитель, воцарившийся на престол, к пику или к концу своего правления настолько заражался богоизбранностью, что начинал помышлять или даже принимался за пересмотр летосчисления, полагая, что оно должно начинаться с его тронной деятельности, а не с каких-то там неведомых древних эпох (в Японии, например, все еще и сегодня с приходом каждого нового императора устанавливается отсчет новой эры), и, чтобы легитимизировать сии престольные амбиции, нужно было либо стирать с лица Земли памятники истории, либо править, искажать, переделывать летописные свидетельства, вытравляя из них правду действительности и заменяя ее своими (важными для себя) героизированными измышлениями. Разумеется, были исключения, даже наверняка были, ибо если бы их не было, мир не знал бы даже той доли истины, какая, пробиваясь через века, будоражила и продолжает будоражить умы людей. Но я говорю не об исключениях, а о стержневом явлении, которое пронизало все столетия и охватило все народы, оставив их исторически обездоленными и немощно беззащитными перед воинственно устремленным напором хищничества. Правители Древнего Царства не без основания, видимо, полагали, что они являются основателями некой новой цивилизации (цивилизации господства и рабства), и усилия их были направлены на то, чтобы перечеркнуть все, что было на нильской земле до их появления, и установить новый, нужный им порядок жизни, и, надо сказать, они настолько преуспели в этом своем стремлении, что после сорокавекового их правления поработанные ими египтяне уже не помнили ничего из своего идиллического («славные Гипербореи» — это относится ко всем народам) прошлого; но ведь и мы ничего не знаем о том периоде жизни египтян (как, впрочем, и о своем прошлом, прошлом славян и других народов, прошедших через молох фараоновских новодержавников, во все времена копировавших и продолжающих копировать свой древнеегипетский оригинал), поскольку дофараоновский период жизни нильских племен, отсеченный от общей истории еще властителями пирамид, так до сих пор и остается покрытым мраком веков. Тенденция отсечения прошлого, то есть отделения ствола и веток от корней, питающих их, ибо народ, не знающий своей истории, своего национального родства, — это уже не народ (о чем говорилось выше), а толпа, не способная ни к самостоятельности, ни к защите своих интересов, — тенденция отсечения прошлого ради торжества (тронного торжества) настоящего, взяв старт от Древнего

Царства и прокатившись по народам и государствам, продолжает сегодня по второму, а где и по третьему кругу обездоливать (исторически обездоливать) однажды уже обездоленные людские сообщества. Если в развитии рассматривать эту тенденцию и пройтись непредвзятым взглядом по ее хребтовой основе, то без труда можно заметить, что она представляет собой единую (с нарастанием звеньев-колец) цепь, пролегающую через столетия, через смену эпох и так называемых социальных формаций, и что, как некий будто бы естественный закон жизни, имеющий, однако, рукотворное начало, она так основательно вошла в политический и нравственный обиход человеческого бытия, что никому сегодня и в голову не приходит обратиться к сему величайшему обману веков и разобрататься с ним. Фараоны Древнего Египта предали забвению самобытную жизнь закабаленных ими нильских племен и таким образом обозначили первое черное пятно во всеобщей человеческой истории; библейские мудрецы, оставившие за чертой своего внимания Древнее Царство (из которого, впрочем, все они вышли), усилили или, вернее, добавили к этому черному пятну свой налет непроясненного тумана; таким же образом поступили деятельные мужи Древней Греции и периода империи, и периода городов-полисов, как если бы до их государственности в мире не существовало ничего подобного, то есть не было ни Древнего Египта, ни палестинских мини-царств, во многом усиливших хищнические навыки нильских владык. Пожалуй, следует отдать должное лишь Аристотелю, который хотя и скуп, но все же признавал, что и Греция, и все присредиземноморские государства, жившие по системе господства и рабства, вышли из Древнего Царства, как птенцы из-под наседки, но и он, имевший возможность открыть истину, не продвинулся ни на шаг дальше констатации признанного им исторического факта. Он находился в плену тех же тенденций — прошлое в прошлом, а будущее в настоящем (хотя настоящее было той же фараоновской системой господства и рабства), — в каких и до него, и после пребывали историки и философы, бравшиеся истолковывать смысл бытия, и не без основания полагал, что участвовал в становлении некоей новой цивилизации, которую позднее назовут «великой» и «непревзойденной»; ему казалось (и это вполне просматривается в его философско-исторических трудах), что становление Греческой империи, а затем городов-полисов сопровождалось возрождением реалистического (в отличие от древнеегипетского символизма) видения и толкования миробытия; наверное, бессмертный древнегреческий философ не лукавил ни перед собой, ни перед историей, соотнося понятие «реализм» с произведениями искусства, с архитектурой храмов и монументализмом мраморных статуй, изображавших живую картину человеческой плоти, но, высеченные по образу и подобию людей, статуи эти постепенно начали обретать значение олимпийских богов и богинь, и весь хваленый аристотелевский реализм в конце концов самосообразовался в некий отмежеванный от простолудинских масс клан вершителей человеческих судеб и, водворившись в бесчисленные иконостасы ликами бога-человека Христа, его подвизников и страдальцев за веру, превзошел все возможные представления о символизме. Разумеется, я не собираюсь выставлять это в упрек Аристотелю, он был реалистом и реально описал то, что видел вокруг себя и что представлялось вечным законом жизни (вспомним его разделение людей на носителей духа и обладателей плоти); речь о другом, вернее, о том, что и он, наделенный непревзойденной мудростью, лишь упомянул о Древнем Царстве, наградив его лестными эпитетами и, по сути дела, солидаризировавшись во взглядах с древнейшими первосоставителями Библии, открыл еще более просторный путь к шаблонизации исторических догм. Ведь мы, если разобраться, знаем и оцениваем историю Греции по ее пиковым, или вершинным, достижениям, которые дошли до нас в виде порушенных дворцов, храмов, безглавых, безруких статуй, монументальных эпических полотен, легенд, исторических (современных для своей эпохи) и философских творений, произведений драматического и лирического жанров, — да, мы оцениваем историю Греции по ее вроде бы демократическому укладу жизни, тогда как демократизм этот существовал в основном лишь в Афинах и распространялся только на круг состоятельных (исто-

рики называют их свободными) граждан, владевших землями, торговлей, рабами или полубрабами, то есть илотами, составлявшими сельскую (наиболее многочисленную) часть населения вокруг городов-полисов. Выработанные состоятельными гражданами законы общественного бытия, на которые мы сегодня так любим ссылаться как на образец политического и социального благоразумия, были законами для родовых состоятельных династий; им же, как и в Древнем Царстве и при господстве фараонов, служили все достижения цивилизации, и сколько бы мы ни восхищались сегодня этой цивилизацией, находя ее действительно великой (даже в развалинах после прокатившихся по ней эпохальных разграблений), но верхоглядство обычно способно лишь порождать эмоциональные всплески восторга, преграждающие путь к познанию. Точно так же, как темна история древних египтян, подвергшихся фараоновскому нашествию, темна история племен, населявших некогда (до появления фараоновских державников, двинувшихся из Египта на поиски новых обетованных земель) греческое Присредиземноморье; история, как это представляется мне, совершила здесь свой очередной (после Древнего Царства и палестинских мини-царств) виток насилия над идиллической системой бытия, лишив завоеванные народы исторических корней и обратив их в илотов, то есть иванов не помнящих родства. Такой поворот событий уже сам по себе наталкивает на определенные размышления, и если понятия «иваны», «греки» имеют единое значение, то вольно или невольно возникает вопрос: почему выражение «иваны не помнящие родства» распространилось затем на славянство и закрепилось за ним? Не потому ли, что среди племен, населявших тогдашнюю Грецию, были и славянские (Фракия, Македония, Пелопоннес и т. д.) племена, и не потому ли, что и у славян была отнята (хотя, может быть, чуть позднее) и предана забвению их самобытная (национальная) история? В то время как мы считаем, что греческий Олимп был населен греческими богами, новейшие (и более глубокие) исследования показывают, что большинство олимпийских богов в своих именах (да и не только в именах) имеют славянские корни, и это, с одной стороны, должно указывать нам на великую славянскую культуру, на достигшую (разумеется, в дохищнический, то есть идиллический, период) определенных высот самобытную славянскую цивилизацию, которая была разрушена, предана забвению, но из которой было взято древнегреческими правителями и жрецами то, что можно было, переиначив, приспособить к хищническому миропорядку, а с другой — говорит о многочисленности славян в тогдашней Греции, с которыми нельзя было не считаться. Но сегодня никто уже не вспоминает об этом, будто славян в Присредиземноморье и вовсе не было, как не было у них ни своей самобытной культуры, ни самобытной цивилизации, ибо какой спрос с «иванов не помнящих родства» (вопрос серьезный, и мы еще не раз и не два будем возвращаться к нему)? Не одно уже столетие нам внушают эту мысль, как внушают ее (возможно, лишь в иной интерпретации) другим столь же исторически оскопленным народам, и мы так привыкли к этому унижающему наше достоинство высказыванию, что воспринимаем его как нечто должное, некогда остроумно подмеченное академическими светилами знаний. Однако мировая тенденция развития, заложенная правителями Древнего Царства, не могла не захватить и Грецию; основавшие Римскую империю новофараоновские державники поступили с ней так же, как она поступила с предшествовавшими ей палестинскими мини-государствами и Древним Царством, взяв их культуру, уклад тронной и жреческой (оракульской) жизни, саму систему господства и рабства, на базе которой сначала возникла великая (от Крыма до берегов нынешней Испании) империя, а затем, разбившись на города-полисы (верный знак падения любой империи), ступила на стезю так называемого демократического (афинский вариант) развития, — да, взяв их культуру, уклад тронной и жреческой (оракульской) жизни, саму систему господства и рабства, она провозгласила себя родоначальницей всех этих достаточно уже устоявшихся за сорок веков фараоновского и десять веков палестинского господства политических, экономических, нравственных, то есть духовных, ценностей.

## VIII

Сегодня вряд ли найдутся историки и философы, которые не признали бы, что Римская империя была целиком и полностью основана на базе греческой цивилизации (что фактически означает: на базе дворцовых, тронных, да, прежде всего дворцовых, тронных достижений); но чтобы хоть как-то приглушить или притушить эту свою масштабно-воровскую, иначе не назовешь, деятельность и придать своему новообразованию видимую, по крайней мере хотя бы видимую, первозданность, надо было до предела разорить, оскопить и унижить все то первичное, то есть историческое, что могло или должно было оскорблять достоинство римлян. Мало того, что они весь греческий Олимп (с именами богов от славянского корня) перенесли или, вернее, приспособили для своего пользования (разумеется, со всеми сопутствовавшими этим богам мифами и легендами); мало того, что разграблению подверглись материальные и культурные (храмовые) ценности, но и была предпринята попытка «перекачки умов», как мы бы сказали теперь, то есть историков и философов либо заманивали, либо угоняли в Рим и под угрозой рабства заставляли воздавать хвалу Вечному городу, его консулам, полководцам, сенаторам, вершившим судьбы присредиземноморских и европейских народов. В этой связи мне хотелось бы выделить два обстоятельства, которые оказывали существенное влияние на ход развития человечества. Одно из них — традиционно жесткое уничтожение своих исторических предшественников (на чем, собственно, выстраивались и сохраняли незыблемость троны), и второе — легитимизация всех видов материального и духовного (на государственном и межгосударственном уровнях под предлогом внедрения цивилизации) ограбления народов, которое, впрочем, не прекращается и по сей день. Ученые мужи того времени, казалось бы, стремились воссоздать всемирную историю человечества; но, поклоняясь настоящему, то есть требованиям тронных особ, и отвергая прошлое, способное бросать тень на настоящее, ученые мужи, по сути дела, лишь приумножали черные пятна на пространстве прожитых и текущих эпох, то есть затушевывали в истории то, что позволило бы (хотя бы и в будущем) увидеть и осознать истинную картину не столько дворцового, храмового, сколько народного бытия. Я называю это явление страшным, жестоким, напоминающим самоограбление действием, так что история темна не потому, что следы человеческих деяний, будь то созидательные или разрушительные, обратившись в тлен, покрылись прахом веков, а потому, что в разрушительном этом процессе не обошлось без людского (тронного) вмешательства. Думаю, нет нужды вдаваться в подробности, сколько и каких богатств награбил Рим, обездоливая и поработая североафриканские и европейские народы, ибо даже сегодня достаточно лишь взглянуть на Вечный город, как сейчас же становится ясно, что и в каких масштабах свозилось сюда и оседало то в виде показной, то в виде монументальной красоты и роскоши. Но в конце концов и Римская империя, как и древнегреческая, и палестинские мини-государства, и Древнее Царство, попав под узаконенные (узаконенные нильскими правителями) жернова истории, оказалась беззащитной и бесправной перед напором теперь уже европейских последователей фараоновской державности. После падения Рима, когда искатели новых обетованных земель воцарились в Европе (благодаря, разумеется, цезарским походам), материальное и духовное разграбление прошлого во имя установления некоего нового порядка (историки и философы называют этот период переходным от феодализма к капитализму) достигло таких вершин или, вернее, такого размаха, что представлялось уже не просто делом естественным, но необходимым, призванным сохранить для потомков великие достижения прошлых веков. В Лондон, Париж, Берлин, Мадрид свозилось все, что, по мнению ученых мужей, представляло историческую ценность, вернее говоря, был развязан всемирный легитимизированный грабеж народов, когда из колоний и доминионов вывозились не просто материальные ценности (что уже само по себе вело к обнищанию), но у поработенных стран отбирался их духовный (исторический,

национальный) потенциал жизни; как и Рим, европейские королевские дворы ломились от награбленных богатств, и разрушение самобытных культур и цивилизаций (тот самый скрытый, или завуалированный, вандализм, о котором говорилось выше) стало идеологической и силовой мерой тронной политики; столицы держав-грабительниц, держав-вандалов (кстати, они и сегодня не оставляют своей обретенной профессии) все более и более одевались в гранит и мрамор, венчаясь златокупольным венцом дворцов, церквей и храмов, и именно в этот период, не замеченный вроде бы ни историками, ни философами, был положен в развитие человечества второй исторический водораздел (назовем его так), но уже не между богатыми и бедными личностями, а между государствами, присвоившими себе право повелевать всем и вся, и подвергшимися материальному и духовному ограблению народами, сброшенными (безжалостно, бесчеловечно) на дно бесправия и нищеты. Гегель и его последователи сегодня вполне могут торжествовать, ибо жизнь (естественное вроде бы течение жизни) подтвердила, что есть якобы исторические народы, призванные править и повелевать, и есть неисторические, пригодные лишь на послушание и рабский труд, и что с наслоением веков различие это не только не исчезает, но будто бы проявляется все в большей и большей степени. Да есть ли в этом явлении хоть что-либо естественное? Нет, и все это знают; и, зная, продолжают молча (если не сказать — трусливо) наблюдать за действительностью, в которой всё-всё, и прежде всего обособленность господ от рабов, являясь следствием классового расслоения, то есть тронно-рукотворной заданностью, продолжает прогрессировать уже во всемирном масштабе, захватывая племена, народы, государства. Мудрость древних, как известно, неоспорима; однако «мудрость» современных иерархов от политических, экономических, исторических, философских знаний не только не уступает, как увидим ниже, древности ни по глубине, ни по всеглобальности обмана, но, думается мне, многократно и утонченно (в дворцово-храмовых традициях) превосходит ее, и об этом говорит идея «золотого миллиарда», усиленно навязываемая сегодня мировому сообществу претендентами на иконостасно-пьедестальное величие и почитание. Я не знаю, в каких академических кабинетах и кем была разработана эта поработительская (человекоистребительская) идея, будто земля способна обеспечить достойную жизнь только определенному (в один миллиард) количеству людей (смотри подробности, изложенные во второй книге этого повествования); возможно, идея «золотого миллиарда» исходила от тронных (президентских, премьерских) особ и их элитных окружений (банкиров, магнатов, промышленников, интеллигенции, привычно жаждущей схватить кусок пирога с барского стола) и, поданная на алтарь дворцовой и храмовой жизни (хижины опять не в счет), начала, как снежный ком, обрастать «могущественными» и «деятельными» сторонниками. Если сие произойдет (а произойдет непременно, поскольку есть на то все основания), то мы станем очевидцами очередного, третьего по счету, всеглобального (возможно, необратимого) водораздела человечества на абсолютных господ и абсолютных рабов со всеми вытекающими из этого (их нетрудно предугадать) последствиями. Церковь (в данном случае я отношу это понятие ко всему религиозному фундаментализму) наблюдательно молчит, как она молчала, да и не только молчала, во все периоды означенных водоразделов; что касается ученых мужей, то тут дело обстоит несколько сложнее, ибо, пользуясь своим самоканонизированным научным авторитетом (авторитетом на ниве тронно-запрограммированного для плебеев исторического невежества), вместо того чтобы выступить с разоблачениями, каких люди вправе были ожидать от них, ратуя за глобализацию, а по сути — за мировое господство, они вольно или невольно, словно некие чернорясники, стали в ряд сторонников сей великовымученной мудрецами-толстосумами двадцатого столетия формулы обогащения для дворцов и храмов и обнищания для обитателей хижин. «Золотой миллиард, золотой миллиард», что при этом случится с простолюдным большинством, с государствами-изгоями, давно уже превращенными в «дойных коров», никого не

волнует, кроме разве тех, кто считает себя безусловно внесенным в сей пресловутый отборочный список, и такое безразличие обнищавших масс может быть серьезно объяснено только двумя причинами: полным историческим невежеством, то есть полным непониманием того, что происходило и происходит в мире человеческого бытия, и самодостаточным утешением, насчитывающим не одно тысячелетие, что будто бы «хуже того, что есть, не будет». У простолюдинов, в отличие от тронных персон, своя жизнь и свое представление о ней, и если оно не зафиксировано в истории, как зафиксировано дворцово-храмовое «благородство», то это не означает, что народу, народам, простолюдинам исторически предначертано быть безликими и бесправными, а царям, королям, императорам, президентам, премьерам, коим и в голову не приходит опуститься до народного бытия, просто-напросто вкладывается в руки благословенный (и царственно принимаемый ими) жезл жизни; от тронов, да, именно от тронов шло влияние на ученых мужей, и под этим, не всегда гласным, влиянием историки и философы и сегодня продолжают абстрагироваться от народного бытия. Концентрируя внимание на дворцовых интригах и переворотах, они, то есть ученые мужи, самым активным образом способствовали и способствуют утверждению скрытого тронно-запрограммированного вандализма, приумножая на эпохальной карте времен так называемые «черные пятна» исторической памяти, и человечество, перетекая из тысячелетия в тысячелетие, все надежней отдалается от своих истоков, своих самобытных корней жизни, и все глубже погружается в омут рукотворных закономерностей. Сегодня уже не только личности остаются невостребованными в созидании устоев бытия, но на обочину отброшены целые народы и государства, и происходит все это вроде бы в рамках цивилизации (рамках фараоновской системы господства и рабства) и при светильниках (посулах) некоего возбуждающего души людей грядущего всеобщего благоденствия.

## IX

Все сказанное выше приводит к выводу, что ни одну национальную историю, какой бы видимой или провозглашенной самобытностью она ни отличалась (в конце концов из любой самобытности торчат уши тронных особ, издревле еще начавших приспособлять народные проявления или, вернее, подстраиваться под них в своих златотканых одеждах), — да, ни одну национальную историю нельзя рассматривать в отрыве или вне общемировых процессов развития (как в пору естественных, так и особенно в пору рукотворных закономерностей). Все, чем жило человечество до классового расслоения, в полной мере, как уже говорилось выше, можно отнести к идиллическому состоянию бытия, а то, что произошло и происходит после классового расслоения, пронизано от начала и до конца человекопоедательским хищничеством, то есть тем мироустройством (фараоны и рабы), от которого, как свидетельствуют века, не удалось уберечься никому. Мир на тысячелетия погрузился в борьбу сил добронравия с силами зла и разврата, однако то, что мы знаем об этой борьбе, не только не имеет ничего общего с действительностью, но настолько извращает ее, переводя в плоскость царских междуусобиц, что народ, то есть сила, от которой всегда зависел, как зависит и сегодня исход любых даже самых кровавых событий, — народ выступает (если в образном выражении) в роли пристяжной к кореннику, не способной ни на какую самостоятельность. Любое уродство, как известно, не любит света; искаженная и оскопленная история — тем более; поэтому-то иерархи от исторических и философских знаний предпочитают начинать свои труды с чистого листа, то есть со дня восшествия на престол того или иного амбициозного властителя; история франков и бриттов, к примеру, подающаяся сегодня на просветительский стол познания, начинает свой эпохальный отсчет даже не с захватнических походов Цезаря, когда была не просто нарушена, но сломлена жизнь этих европейских народов, а с возникновения королевских дворов (королевских династий), внесших якобы самый значительный

вклад в национальное объединение разрозненных племен (ах, как эта история напоминает нашу, российскую, или, точнее, наша, российская, — этот европейский вымысел!) в могущественные будто бы государственные образования; в то время как римские когорты, с мечом и огнем проходившие по Европе, разорjali и уничтожали самобытную жизнь завоеванных народов, историки и философы, то есть ученые мужи, вдохновляемые цезарскими победами, искали оправдательные мотивы этому кровавейшему действу; чуть позднее, когда на развалинах Римской империи возникли королевские дворы, ученые мужи со свойственным им тронхолоуystвом примкнули к этим новым властителям, которые не хотели ни знать, ни помнить о цезарских походах, открывших им путь к тронам, и, samozапрограммировавшись на иконостасно-пьедестальное величие, брались творить новую историю; им казалось, что они уже перешагнули порог Божьих горниц, и, как машина для тиражирования этих их амбициозных притязаний, явились при дворах всесущие теоретики. Думаю, не так уж и трудно разглядеть в этой схеме характерную для всех времен и народов тенденцию развития, заложенную в миробытие еще властителями Древнего Египта и повторенную затем правителями палестинских мини-царств, древнегреческой и Римской империй; я не хочу здесь возвращаться к подробностям, уже достаточно широко изложенным мною выше (истребление кельтов, порабощение франков, бриттов), и позволю себе остановиться на славянстве, а конкретнее, на участии восточноевропейских славян, именовавшихся (согласно «Повести временных лет») полянами, древлянами, кривичами, родимичами, новгородскими (северными) славянами, которые, сообразовавшись сперва в Киевскую, потом в Московскую Русь (Московию), явились на арену исторических действий могущественной Российской Империей. С нее, с этой империи, российские историки и философы обычно начинают отсчет нашей государственности, оставляя за чертой вторжение готских князей и создание ими на базе славянских племен Руси Первой, то есть первой (в полном значении этого слова) государственности со всеми атрибутами тронной власти: царь (Эрманарих), бояре, придворная знать, армия (дружина), престолюдины, языческая и христианская (для дворцовых особ) религии, а при внуке Эрманариха Виннитаре велась даже летопись, пылящаяся теперь где-то в немецких архивных кладовых, что, впрочем, неудивительно, ибо из России, как и из африканских и азиатских стран, а позднее из Греции и Рима, вывозилось все, что имело или даже могло иметь национальную ценность, а что невозможно было прибрать к рукам, разрушалось, разбивалось и предавалось огню на месте. Готские князья изначально намеревались захватить Византию и основать там свою империю; взяв старт у берегов Балтии, они прошли через славянские земли (известным нам теперь путем «из варяг в греки») и осадили Константинополь; они вполне могли взять город (несмотря на неодолимую, казалось бы, Анастасьеву стену), но в канун штурма к ним явились послы от императора и предстоятеля православной Церкви с богатыми дарами, однако, как повествуют греческие источники, на готских князей не столько подействовали преподнесенные дары (о богатстве византийского царского двора ходили тогда легенды), сколько вещи наставления императора и предстоятеля. Глава византийской державы и Церкви указал им на славянские земли, через которые они прошли и которые бесхозно лежали теперь за их спинами. «Берите, владейте с Богом», — сказали послы, присовокупив к этим словам византийского правителя заверение о содействии и поддержке, и готские князья, недюжинно поразмыслив над таким предложением, оставили Константинополь и, удовлетворенные дарами и наущением, двинулись вверх по Днепру на указанные земли. Вот так, через наущение и насилие, появилась у нас первая государственность, о которой мы, в сущности, ничего не знаем; и не только потому, что воинственные орды гуннов, возглавляемые Атиллой, стерли эту государственность с лика Земли, но, главное, потому, что о ней не хотели ничего знать ни Рюриковичи, считавшие себя «собираателями русских земель», то есть первооснователями нашей будущей державы, ни Романовы, положившие от-

счет столетиям со дня восшествия на престол царя Михаила, ни вожди победившего пролетариата, возомнившие себя великими переустроителями мира, ни ползуче пришедшие сегодня во власть так называемые демократы, принявшие со стовосьмидесятивековой яростью крушить и искоренять все, что напоминало или могло напоминать им о прошлом. Демократы, как видно, искренне полагают, что творят новую историю, тогда как ничего нового в их тронных (поспешно-тронных) деяниях нет, они лишь попугайно повторяют то, что безнаказанно (со времен Древнего Царства) творилось на пространстве веков и приносило успех расползавшимся по миру фараоновским державникам, то есть было апробировано временем как самое надежное средство закабаления народных масс. Вообще-то история знает два вида нашествий: когда устремляются разорять, грабить, уводить в рабство, чтобы было что поставлять на невольничий рынок, и когда задаются целью создать на базе захваченных земель и народов свое государство, что является уже не временным, а историческим злом, противостоять которому бывает не под силу даже самым многочисленным (подобно кельтам или славянам) людским сообществам. Что касается России, то, пока она подвергалась разорительным нашествиям, которые наваливались то с востока, то с запада, то с севера, то есть пока не подрубали под корень ее самобытность, она всякий раз поднималась из пепла и восстанавливалась в своем бытии; но как только разбойные нашествия сменились фараоновской (и силовой, и ползучей) заданностью, русский народ, как, впрочем, и большинство народов мира, оказалась бессильным противостоять этому (от древнеегипетского первородства) историческому злу. Но ученые мужи наотрез отказываются признавать различия между нашествиями разового порядка и нацеленными на создание антинародных (с чужеродством на тронах), лишенных национальной ориентированности, режимных государств. Мало сказать, в нашей официальной историографии трудно отыскать даже просто упоминание о Руси Первой, созданной готскими князьями на рубеже V и VI веков, а вторжение Рюрика с братьями и со «всей русью» на новгородскую землю никем и никогда не рассматривалось как целенаправленное продвижение фараоновских державников на открытые ими новые обетованные земли; по сути дела, главное, что являлось и является источником наших нескончаемых бед, преподносится академическими светилами как источник блага (будто бы все, что есть хорошего в стране,— от Рюриковичей, а плохое — от смердов, которые, если верить Ключевскому, самозакабалились в крепостные), а то, что терзало Русь — крупнейшие азиатские и европейские нашествия и бесконечные набеги печенегов, половцев, крымских и казанских татар, подкреплявшиеся толпами северокавказцев,— то, что хотя и терзало Русь, но не гнуло, не ломало (через колено) национальное достоинство и не подрубало под корень нашу самобытность (что составляет основу жизни любого народа), продолжает подаваться как неистребимое зло, во все времена стоявшее и продолжающее стоять на нашем пути. Мне могут возразить, что, дескать, и гунны (Аттила), и авары (свирепый хан Боян) тоже создавали на захваченных территориях свои империи. Да, создавали, но это были скорее мыльные пузыри, чем организационно оформленные общественные образования, и они разваливались, обращались в прах, как только уходили из жизни их правители. Происходило это, возможно, именно потому, что изначально цель этих азиатских нашествий не превышала рамки разбоя, грабежей и насилия (но ведь и с Запада, чтобы пограбить Россию, являлись с мечом то литовцы, то поляки, то немцы, шведы, французы), да и что, какую культуру, какую цивилизацию могли предложить тогдашние азиаты европейским и, прежде всего, славянским народам? Они, словно кровавый ураган, раз за разом прокатывались по нашей земле, но как после любой отбушевавшей стихии проясняется небо, всходит солнце и все вокруг оживает в буйном цветении,— поднимались из пепла племена и народы (я не склонен относить это только к славянам), сплываясь вокруг национальных традиций, составлявших цель и смысл их исторического бытия.

## X

Итак, хочу констатировать, что ущерб (и материальный, и частично духовный), нанесенный нашествиями разбойных азиатских и европейских орд, неисчислимы; однако, если положить на чашу весов бедствия разового порядка, а на другую — чем обернулось для нас престольное чужеродство, проникшее к нам и на тысячелетие укрепившееся у нас (с помощью скрытого фараоновского вандализма), — если сравнить эти два явления не по внешним признакам насилия (пришел, пограбил, убрался восвояси), а по глубине и степени закабаления, то легко можно убедиться (по возрождению народов после разовых нашествий и смирению и увяданию с воцарением долговременного престольного чужеродства), что являлось и является бичом людских сообществ. Ученые мужи признают, что и до эпохи Рюриковичей у восточноевропейских славян была своя история, однако признают не настолько, чтобы всерьез заняться ею; такое занятие привело бы к исследованию народного бытия, а это не входило, как не входит и теперь, в их тронно-холуйские планы, и они, совместив понятие «история русского народа» с понятием «история государства российского», как если бы государство и народ всегда представляли собой единое целое (при нестираемой грани между дворцами и хижинами), положили начинать историю России с призвания, если придерживаться официальной историографии, а в действительности вторжения (о чем свидетельствуют факты) Рюриковичей на славянские земли. Но давайте обратимся к истинным событиям тех лет и посмотрим, так ли все происходило на самом деле и не преподнесена ли нам тут очередная чудовищная ложь, в которую заставили нас (через многовековые научные и церковные внушения) поверить? Нам говорят, что Рюриковичи были призваны потому, что несколько славянских племен, «не видя возможности выхода из родового, особого быта», решаются пригласить князя из чужого рода и передать ему власть над собой и своими землями; нас убеждают, что славянские племена настолько погрязли в своих родовых отношениях, то есть настолько обуялись страстью вражды друг с другом (как будто родовые отношения только и состоят из вражды), что нужна была некая третья (и, безусловно, властная) сторона, которая могла бы восстановить мир и порядок на славянской земле; но, на все лады расписывая вражду единоплеменников, заключенную в понятии некоего особого быта (будто слово «особный» и в самом деле что-то объясняет), историки, словно сговорившись, не приводят ни одного сколько-нибудь убедительного эпизода этой вражды. А ведь если исторические суждения не подтверждены фактами, то это означает, что мы имеем дело с явным, достаточно отчетливо целенаправленным вымыслом. Для чего и кому нужен был этот вымысел, не трудно догадаться; гораздо труднее понять, почему ученые мужи, привыкшие придерживаться железной логики в построении и оценках исторических явлений (даже когда логика явно противоречит истине), — почему они в данном случае отступили от своего правила? Да потому, что пошли не тропой правды, а тропой лжи, игнорируя действительные факты истории и подменяя их своими тронно-запрограммированными вымыслами; приходится только удивляться, что такая подтасовка понятий долгое время оставалась незамеченной, тем более что в истории нет свидетельств, которые бы хоть как-то говорили о вражде среди славянских племен. Я не думаю, чтобы родовые отношения, через которые прошли все народы, были настолько тягостными для восточноевропейских славян, как пишет об этом историк Соловьев, и столь цепко удерживали их (словно рабов, в то время как предки наши по признанию Геродота и Тацита не знали рабства и даже не имели, удовлетворяясь своими родовыми отношениями, представления о нем), что надо было призывать кого-то на помощь, чтобы вырваться из этого плена; так ради чего, прекращения вражды и установления мира или ради освобождения из некоего родового плена (родовых отношений), славянские старшины пошли на призвание чужеродного князя? Объяснения эти, по сути дела, не выдерживают никакой критики, ибо из родовых отношений, как увидим ниже, зарождалась славянская, да, именно славянская, основанная на национальных традициях и ус-

тоях государственность, которая как раз и была затем задавлена варяжско-византийской державностью, а что касается так называемого разгоревшегося славянского междоусобья, то утверждение это в полной мере опровергается хорошо известным (в том числе или в первую очередь академическим светилам) фактом истории. Ровно за десятилетие до появления Рюрика с братьями и «со всей русью» славянские племена, объединившись (заметим, что враждебные настроения вряд ли способствовали бы объединению), изгнали из своей земли варягов, донимавших их непосильной (двойной, тройной) данью, и маловероятно, чтобы после такой внушительной победы над извечным своим врагом возобновилась некая ничем не обоснованная (ни в прошлом, ни в постпобедное десятилетие) вражда между племенами и старшинами. Для славян, надо полагать, это был урок, из которого следовало, что только единство может обеспечить им мирную, достойную жизнь. Думаю, что высказываю не предположение, но открываю и объясняю действительность, как все происходило, и поход Рюрика с братьями на Новгород и славянские земли был скорее всего ответной мстительной мерой, ибо для чего было ему спустя месяц прилюдно обезглавить всех призвавших его славянских старшин? Ниже разговор пойдет и об этом, а пока не будем прерывать логику повествования; не находя фактов объявленной ими славянской вражды, ученые мужи начали утонченно, то есть туманно, намекать на некий вздорный славянский характер, способствовавший да и способствующий будто бы и теперь возникновению междоусобиц; но любой намек, как и любое неподтвержденное заверение, повисает в воздухе, ибо история, повторю, не знает таких славянских междоусобиц (вернее, не знала до нынешних новейших времен); чтобы пригласить чужеродца на княжение, то есть чтобы решиться на столь судьбоносный для славянского люда шаг, враждующие старшины должны были собраться и по меньшей мере оговорить детали «призвания» (что так или иначе было бы отражено в истории); им нужно было найти примирение, и если они нашли его, то какая нужда была им ставить над собой князя из враждебного варяжского рода? Выходит, что же, сначала общими усилиями изгнали варягов, а затем общими же усилиями (из-за некоей вдруг будто бы вспыхнувшей вражды между собой) призвали тех же варягов к себе на княжение? Бессмыслица, да, именно бессмыслица, в которой не только нет намек на правду, но нет намека даже на правдоподобие; в конце концов нельзя же считать славянский народ, занимавший в свое время большую часть Европы, имевший свою самобытную культуру, самобытную цивилизацию и делегировавший (можно сказать и так) своих богов на греческий, а затем (через Грецию) и на римский Олимп, — нельзя считать его до такой степени несмышленным, чтобы он добровольно надел на себя ярмо чужеродного рабства; престольное чужеродство было мечом и крестом навязано ему, как оно было навязано многим и многим другим народам, и лишь для придания естественности и правомерности такому явлению, каким был варяжско-византийский военный и духовный экспансионизм, как раз и была сочинена легенда о «призвании». С какого исторического трафарета списывалась эта легенда, на чем основывалась и на что опиралась эта тронно-запрограммированная ложь — в дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу, а пока хочу лишь заметить, что неспроста наши отечественные светила знаний настойчиво выдвигают теорию, будто призывать чужеродных правителей на царствование или княжение было распространенным среди народов явлением и что российское «призвание» — лишь своего рода вариант от прижившейся среди народов общемировой традиции, лишь дань времени, отсчет которого, впрочем, ведется от Древнего Царства и исчисляется не десятилетиями или столетиями, а тысячелетиями насилия и закабаления. Думаю, в данном случае ученые мужи не лукавят, приравнивая российский вариант «престольного чужеродства» к общепохальному явлению; но, не лукавя в одном, лукавят в другом, то есть повторяют ту же ошибку (если, конечно, явную заданность можно считать ошибкой), какую совершали и продолжают совершать ученые мужи, подменяя процесс насилия, то есть весь тронно-кровавый (и силовой, и духовный) экспан-

сионизм, процессом призвания, да и не просто подменяя, но уличая народ в неких несмысленных и поспешных действиях. Из сказанного следует, что народ, народы добровольно, то есть по своей воле, подставляли свои шеи под хомут чужеродного рабства, и выходит, что и обвинять-то некого; народ прав всегда, ибо нет истины выше, чем деяния народных масс, так что бедные египтяне, знали ли они, на что себя обрекали, молитвенно вглядываясь в фараонов и внимая их посулам, бедные греки, италики, кельты, франки, бритты или славяне, принявшие Рюриковичей за князей и богов и семь столетий сряду низкопоклонствовавшие перед ними,— знали ли, да и знаем ли сегодня, что являлось и является источником нескончаемых наших страданий?

## XI

Легенда о «призвании» — это многоярусный колпак, надетый на восточно-европейских славян, причем надетый не сразу, не в день, месяц или год свершения этого порабощающего акта, когда все было и на слуху, и в памяти (и когда современники не допустили бы глумления ни над своей судьбой, ни над историей), но спустя столетие, когда многое было забыто в народе да и среди дворцового окружения, очевидцы, которые могли либо подтвердить, либо опровергнуть великокняжеский вымысел, лежали в могилах, и когда на ниве столетнего кровавого рзкетирства (собирания дани со славянских племен) начала зарождаться у пришлых варяжских узурпаторов власти идея государственности, идея полного и безоговорочного закабаления коренного славянского люда, что и было в конце концов воплощено в жизнь и подано затем как великое благодеяние, за которое русские люди по гроб жизни должны благодарить и боготворить своих исторических наставников и спасителей. Наверное, никто не будет спорить, что у всякого исторического или даже неисторического явления есть стержневая основа или стержневая (что особенно характерно для периода рукотворных закономерностей) заданность, которая, как древо плодами, обрастает всевозможными привлекательными и непривлекательными подробностями, заслоняющими собой корневой источник жизни; легенда о «призвании» (а их было две, о чем ниже и пойдет разговор) точно так же, как и любое историческое явление, состоит из ствола и кроны, причем если ствол очистить от кроны (для познания истины), то перед глазами изумленного люда откроется весь чудовищный замысел пришлых варяжских князей, и мы увидим, что надо было не поклоняться сим странным благодетелям, коим, впрочем, многие готовы поклоняться и теперь, а судить их общенародным судом и приговорить к самому суровому наказанию, но если смотреть только на плоды, облепившие древо, то мы получим совсем иное впечатление, когда объектом внимания окажутся лишь отдельные эпизоды, о значимости которых можно спорить и спорить и, пользуясь эквилибристикой слов, возвеличивать или унижать (согласно тронным потребностям) дела минувших и текущих десятилетий и столетий. Я понимаю, почему историки и философы то до предела усложняют исторические явления (в основном, чтобы упрятать истину в нагромождении всевозможных, иногда ярких, способных поспорить с правдой правдоподобиях), то настолько упрощают (опять же, чтобы никто не мог добраться до истины), что вместе с кроной убирают и ствол (то есть стержневую основу), оставляя лишь вдохновенные суждения о том, что нет дыма без огня и что если «призвания» как такового и не было в том варианте, в каком предписывается нам воспринимать его, то все равно что-то же в этом роде было, поскольку сообразовалось в легенду и вошло в анналы официальной историографии. Так воспринимается это явление большинством людей, не знающих истины и оттого не берущихся выносить сколько-нибудь противоречащих официозу суждений; возможно, народ сглупил, но, возможно, «глупость» эту навязали ему с определенной, далеко идущей целью, о которой, впрочем, мы все догадываемся; но ведь живучесть легенды — не признак ее достоверности; отнести ее к народному творчеству неправомерно, ибо если она исходила бы от народа, то и сопоставлялась бы с народной, а не с дворцовой прав-

дой, и поскольку проигнорирована народной молвой, то скорее всего никакого «призвания» не было, а произошло лишь очередное, которое затем затянулось на века, варяжское вторжение на славянские земли, но это уже событие совсем другого порядка, требовавшее и совсем иного освящения. Необходимость такой легенды возникла позднее, почти столетие спустя после варяжской оккупации, дабы найти примирение чужеземной власти с завоеванным коренным людом, и заданность эта легко прочитывается и в строках, и между строк пресловутой легенды; она не принадлежит к числу спонтанных текстов, которые сочиняются по горячим следам событий, тем более если события имеют судьбоносное значение, но более похожа на глубоко продуманный по широте и охвату событий документ, сочиненный холуйской высокородностью во имя великокняжеского (чужеродного) престола. Любой княжеский, царский, императорский, а по нынешним временам — президентский и премьерский престолы бывают обычно окружены сонмом искренних и двурушних советников-мыслителей, с которыми правители, держа их при дворах, вынуждены считаться (особенно когда коронованное лицо является ставленником сей толпящейся у тронов высокородной челяди); я привожу здесь всего лишь исторический трафарет из дворцовой жизни и вполне отдаю себе отчет, что трафарет этот логично оспаривается историками и философами, выдвигающими на передний план действий иконостасно-педестальная значение личности в историческом процессе развития; что же, историческая наука такова (изначально такова), что в ней всегда есть возможность на черное сказать белое, а на белое — черное, придумав для этого нужные, определенные доказательства, но если, отбросив этот догмовырабатывающий механизм обмана, обратиться к действительности, то личность в истории только тогда личность, когда она опирается на сонм единомышленников, сгрудившихся у тронов и тщасящихся как можно самоотверженнее услужить своему властителю. В каком объеме трафарет этот присутствовал при киевском великокняжеском дворе, мы не знаем, как не знаем имена и возможности тех советников-мыслителей, которые, понимая, что времена рэкетирства прошли, что данопоборы не могут служить основой государственности и что пора приобщаться либо к европейскому общественному устройству жизни, либо к византийскому, начали задумываться над этой встававшей перед ними проблемой. Первый шаг в этом направлении сделала княгиня Ольга (подробности смотри в первом томе повествования); поняв, что не столько мечом, сколько словом, то есть Божьим внушением, можно вернее достичь послушания и смирения подданных, она приняла христианство (православную его ветвь) и таким образом, открыв путь византийщине, обратила вольных хлебопашцев в Божьих и княжеских рабов. Именно при ней (что затем продолжалось и при Владимире, и при Святополке, и при Ярославе Первом, да и при всех Рюриковичах, вступавших на великокняжеский престол), или, вернее, под ее воздействием возникли при дворе разногласия о строительстве (осовремениваю лишь для ясности) российской государственности. Народ, задавленный рэкетирством, был по существу отстранен от участия в этом знаковом, судьбоносном деле, и все было отдано на откуп церковникам и боярам. Мы привыкли полагать (в рамках подаваемой нам героизированной истории), что ведущей силой жизни были и остаются знаменитейшие церковники и бояре; церковники, особенно монастырские старцы, воспринимаемые нами в образе пушкинского летописца Пимена, обычно наделены некоей древней (с подтекстом этого слова) мудростью, одновременно несущей в себе груз прожитых и предсказания грядущих веков, тогда как на самом деле вся мудрость их заключена в попугайо повторяемых евангельских постулатах, призывающих не столько к созиданию добра, сколько к постоянному покаянию (хотя в чем крестьянину каяться?) и смирению; почти такой же жизненной мудростью наделяют историки и философы боярство, занимавшееся, впрочем, все семь столетий своего правления то прямым, то косвенным рэкетирством, представленным в официальной историографии некими не всегда победоносными, но всегда патристически насыщенными — «за Русь святую» — походами и битвами. Но давайте

разберемся, насколько можно верить этой исторической интерпретации, то есть откровенно выставляемому церковному и боярскому патриотизму, когда в религии господствовали греки (чужеродцы), так ли, иначе ли заинтересованные в насажении своей византийщины, а в боярской среде — родители и сородичи Рюриковичей, ни разу и ни в чем не выходящие за рамки своих варяжских интересов? Характеризуя тот период нашей истории, Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» достаточно скорбно и язвительно замечает, что «славянские князья исчезают с приходом князей варяжских» и что «нельзя искать их и в боярах», то есть коренное население было окончательно и бесповоротно отсечено от государственной жизни, что означало — и от созидания собственной судьбы. По сути дела, вся мудрость наших иконостасных старцев, если судить по их бесчисленным житиям, заключена в поисках страданий и в истязании плоти (во что, конечно, глядя на их тучные телеса, трудно поверить), а вся боярская мудрость — в походах и битвах, в которых дрались и гибли смерды, а славу брали на себя князья-предводители, даже когда их находили спящими в кустах на обочине бранного поля, как это случилось с Дмитрием Донским. Именно в этой высокородной среде великокняжеского окружения, чье благополучие целиком и полностью зависело от благополучия великокняжеского престола, как раз и начала зарождаться (разумеется, сперва на примитивных основах) идея государственности; но не той государственности, в которой не только дворцовая, но и хижинная жизнь могла бы обрести стабильность и основательность (извечная и не осуществимая в условиях хищничества мечта простолюдинов), а той, которая могла бы, поставив власть над народом во всем своем абсолютизме, узаконить это положение некими естественными будто бы, то есть теоретически обоснованными (предначертанными), обстоятельствами жизни. К сожалению, в истории не сохранилось никаких следов этого на столетия определившего судьбу восточно-европейских славян процесса, и мы, повторяю, не знаем, кто были эти люди (личности), выделившиеся из церковной и боярской среды и взявшие на себя смелость в решении встававшей перед великокняжеским престолом задачи; первое упоминание о «призвании», но не как о легенде, а как о действительно состоявшемся событии, мы находим в «Повести временных лет», сочиненной монахом Киево-Печерской лавры Нестором и Никонном, но это отнюдь не означает, что первоавторство могло принадлежать им; они лишь воспользовались тем, что было уже пущено в народную молву как важнейшее историческое свершение, и нам остается только понять, почему из двух вариантов «призвания» перволетописцы избрали самый жесткий и античеловечный, придав ему значение истины, и отвергли, то есть не удосужились даже упомянуть, другой, роднивший (роднивший по крови) призванных варяжских князей с покоренным ими славянством.

## ХII

Итак, два варианта «призвания», один из которых я называю боярским, потому что в нем, во-первых, предусматривалось полное и безоговорочное верховенство призванной власти (как же, из княжеского сословия, хотя на самом деле ни Рюрик, ни его братья Синеус и Трувор не были князьями, не владели у себя на родине ни землями, ни замками, а всего лишь пиратствовали на Балтике, зараженные этим ремеслом еще от римских легионеров), и, во-вторых, с помощью этого варианта легко прослеживалась некая княжеская связь между новгородским правителем Гостомыслом и пришлыми варяжскими «князьями», рожденными будто бы от дочери Гостомысла Умилы, а потому и не чуждые славянскому миру. Те представители воинственного и невоинственного боярства, которые тщились таким образом на века укрепить господство Рюриковичей на славянской земле, были людьми далеко и далеко незаурядными, ибо сочинили легенду так ловко, что она не хуже, чем принятая официально, могла бы послужить престольному долголетию Рюриковичей и в то же время слыть народной, какой хотя и сквозь зубы (по ее полному неприятию), но все же признают наши

академические авторитеты. В первом томе повествования я уже обращался к сей боярской легенде, но, чтобы яснее представить суть разбираемого вопроса, придется вновь хотя бы вкратце напомнить ее содержание. У новгородского князя Гостомысла было три сына и три дочери; дочерей он отдает замуж за дружественных ему варяжских князей, а сыновья погибают в битвах с варягами — собирателями дани, и когда пришла старость, оказалось, что новгородскому князю некому передать престол. Уже почти на смертном одре явилось немощному князю видение, которое и подсказало, что у его дочери Умилы есть три сына, Рюрик, Синеус, Трувор, и что ради сохранения новгородской земли он должен пригласить их на княжение, что и было благополучно совершено им на краю могилы. Как видим, легитимность призванной чужеродной власти (согласно легенде) вытекает из княжеского и общеславянского родства, и хотя известно, что спустя всего месяц Рюрик собирает в Новгороде славянских старшин и прилюдно рубит им головы, событие это, этот палаческий беспредел, настолько заслоняется благозвучной легендой, что о нем уже и вспоминать не хочется, словно его и вовсе не было. Легенда эта, думаю, имела глубокий смысл, ибо если приглашенные князья и не были полностью единоплеменниками славян, но все же связь эта так ли, иначе ли (через дочь Гостомысла Умилу) просматривалась, а отсюда и выростала легитимность призванной чужеродной власти. В реальности князья оставались князьями по отношению к народу (коренному люду, смердам) со всеми вытекающими из этого последствиями; жизнь славян превратилась в семивековую дорогу страданий — в безземелье, нищете, бесправии, но ведь на общественный стол познания подавалась или, вернее, могла бы подаваться не реальность, а всего лишь трансформированный в правдоподобие боярский вымысел, пронизанный лжеуспокаивающим патриотизмом; однако даже этот, казалось бы, приемлемый во всех отношениях вариант «призвания» был решительно, как надо полагать (поскольку перволетописцы в своей «Повести временных лет» даже не рискнули упомянуть о нем), отвергнут великокняжеским двором. Следует так же заметить, что ни на какое славянское междоусобье в приведенной боярской легенде нет и намек, из чего можно сделать вывод, что выдвигаемая в качестве предлога для «призвания» (в официально принятой легенде) некая непримиримая вражда, вдруг вспыхнувшая среди славянских племен, не больше, не меньше как оправдательный вымысел ученых мужей и церковников. Нет в этой боярской легенде и упоминания о том, будто славянские племена тяготились своим «родовым, особным» бытом, из которого хотели, но не могли выйти, и что, по мнению ученых мужей, также явилось одним из важнейших поводов для чужеземного посредничества или вмешательства. Между тем родовой быт (родовые отношения) — это далеко и далеко не худшие условия бытия, ибо истоки этих отношений восходят ко временам глубокой и глубочайшей древности, то есть к доклассовому периоду, когда среди людей и людских сообществ господствовали еще миролюбие и добронравие (идиллическая система бытия) и когда о приближении хищничества, о «веке Богов», узаконившем господство и рабство, еще ничто не напоминало и человечество развивалось по естественным законам природы, — да, да, родовой быт, суть которого заключена в основательности личной, семейной и общественной жизни, не был и не мог быть в тягость славянству, как не был в тягость всем другим вышедшим из этого быта народам (процесс сей, разумеется, был насильственным, как и все, чем сопровождалось насаждение хищничества); в конце концов история народов — это многотысячелетнее драматическое подавление родовых (идиллических) отношений и насаждение фараоновской державности, и так как славянство, о чем я уже говорил выше, развивалось и продолжает развиваться в русле общемировых тенденций (каковы эти тенденции — вопрос другой), то и выход из родового быта следует рассматривать не как желанное и долгожданное благо, а как насилие, лишавшее славян права на национальную самобытность. Не знаю, но, может, солдафонское чутье, отличающееся от высокомерно-элитного высокомерия тем, что обычно ближе стоит к широким

народным массам, подсказало воинственному боярству, что их вымысел в угоду династическому долголетию Рюриковичей не должен противостоять простолюдинским идеалам жизни, а, напротив, должен хотя бы декларировать сплоченность властей и народа, — солдафонское чутье сделало бояр куда большими реалистами в оценке и предвидении ситуации (за что, впрочем, их вариант «призвания» и был отвергнут великокняжеским двором), чем всех последующих летописцев и сочинителей нашей отечественной истории. Второй вариант «призвания», то есть официально признанный и продолжающий влиять на состояние нашей политической, экономической и духовной жизни, я называю церковным или монастырско-монашеским, ибо сочинялся он (сначала как легенда, должная противостоять боярскому варианту, но затем переведенная в плоскость реально совершавшихся событий), во-первых, людьми, в той или иной мере знавшими не только библейскую интерпретацию исторического процесса развития человечества, но и достаточно осведомленными и о Древнем Царстве («веке Богов»), и о древнегреческой и Римской империях, иначе говоря, имевшими представление (разумеется, с церковных позиций) об общемировой тенденции мироустройства (ведь не секрет, что вместе с христианством к нам проникли и ложно-обширнейшие, представлявшие, однако, определенные, зажатые в тисках героизации и богоизбранности истории царств и царствований), и, заключив из этих познаний просвещенность западного и непросвещенность своего, восточнославянского, мира (что является фактом прискорбным и трудно объяснимым на фоне патриотических заверений все тех же церковников и говорит не столько о незнании славянской самобытной культуры, самобытной цивилизации, сколько о нежелании что-либо знать о них), они молитвенно принялись за исправление этого смущавшего их исторического перекоса. Подобный взгляд на состояние жизни тогдашней Киевской, а затем Московской Руси был по-своему окрашен чувством государственного, назовем его так, патриотизма. Главное внимание в построении российской державности церковники отводили божественной предначертанности власти; вольно или невольно, но они, разогретые этим своим достаточно странным и однобоким патриотизмом, по сути дела, скопировали или по крайней мере пытались скопировать тот обобщенный вариант фараоновской державности, который, усилившись деяниями палестинских мини-государств и величайших — древнегреческой и Римской — империй, представлял перед ними в живом византийском воплощении, и именно византийщина, возросшая от корней Древнего Царства, подвигала их (славянских будто бы по месту службы, но чужеземных по духу и традициям) к созданию антибоярского варианта «призвания».

### ХІІІ

Исторические события, как и события современности, совершаются не быстро, не в одночасье; они, как плоды на деревьях, созревают постепенно, в тот срок и при тех благодатных или неблагоприятных условиях, какие в природе создаются естественным путем, тогда как в общественной жизни людей (с тех пор как жизнь эта подчинилась рукотворным закономерностям) — путем насилия личностей над личностями, народов над народами, властителей над простолюдинами, и степень благоприятности или неблагоприятности вольно или невольно определяется степенью (или высотой, или богоизбранностью) установившегося или устанавливавшегося (как было с явлением Рюриковичей на славянские земли) господства и степенью (или возможностями) порабощения масс. К моменту создания боярской и церковной легенд о «призвании» (время это, хотя и со многими условностями, обозначено княжениями Святополка и Ярослава Первого) киевский великокняжеский двор был, образно говоря, на вершине того важного (в государственном устройстве, да, именно в государственном устройстве) перевала, за которым либо могла открыться дорога в безоблачное царствование (по примеру сорокавекового правления фараонов в Египте), либо неизбежный крутой скат или обрыв, готовый своей зияющей чернотой поглотить все достиг-

нутое (добытое кровью, как считали сами варяги) за столетие рэкетирства, то есть поборного княжения Рюриковичей; я не думаю, чтобы проблема эта обсуждалась в княжеских палатах или монастырских кельях столь же четко и откровенно, как она представлена мной здесь в стержневом, очищенном виде, наверняка все происходило иначе, растянувшись на дистанцию от зарождения почки (прозрение княгини Ольги) до созревания плода; сыновья Великого князя Владимира, сцепившись в схватках за отцовский престол, уже в силу этой своей нацеленности не могли ни достаточно основательно осмыслить, ни тем более приступить к государственному строительству, да и кровавый груз (расправа Рюрика над славянскими старшинами, якобы призвавшими его) так ли, иначе ли не позволял им особенно развернуться в их крепостнических против славянского люда деяниях. Ратные бояре (каждый в меру своих интересов, связывавших его с киевским великокняжеским двором, с престольным долголетием Рюриковичей, и в меру своего видения и понимания складывавшихся условий бытия), — ратные бояре или, сказать точнее, княжеские сподвижники, готовые отдать жизни за своего кумира, если и могли позволить себе некие государственные разговоры, то происходило это либо на пирах в походах, либо на княжеских застольях; рэкетирские набеги на славянские общины (древлян, родимичей, кривичей и т. д.), чем бы мы ни оправдывали их и как бы пафосно ни писали о них (см., к примеру, походы Ольги), обычно заканчивались кровью и не приносили стабильности в великокняжескую и дружинную дворцовую жизнь, а были тем нагрозочным беспокойством, тем сковывающим барское самоволие неудобством, от которого так ли, иначе ли, но надо было избавляться. Вопрос государственности по сути своей есть усиление или укрепление центральной власти, а власть сильна не столько военной мощью, сколько безукоризненной обоснованностью своей легитимности, и в закладке этой безукоризненной легитимности как раз и принимали (конечно, в меру своих возможностей) участие ратные княжеские сподвижники. Странно, возможно, что странно, однако я вижу этих княжеских сподвижников, прошедших не одно боевое крещение на полях сражений, этих бояр-богатырей, как они, вытирая с усов пенную брагу и громыхая латами и кольчугами, ведут свой неспешный исторический разговор. Возможно, все было не так, а грубее и откровеннее, но кто может вернуть утраченные страницы истории? Я не случайно предварил свое повествование словом «версии», и если они не всегда точны в деталях (а это неизбежно при такой скудости сведений о них, когда сиюминутное прошлое давно и необратимо превращено в прах), то в хребтовой основе представляют собой вполне реальную картину происходивших процессов, которые, начавшись на нашей земле с приходом Рюриковичей, до сих пор (благодаря стараниям ученых мужей) не теряют своих архизомбирующих свойств. Наверное, куда с большей реальностью, чем о ратно-боярском вкладе в основу государственного строительства, можно говорить о церковниках, которые в интеллектуальном отношении, в познании исторических канонов бытия на несколько порядков превосходили ратников-богатырей, ибо не случайно их называли начетчиками; они были знакомы, во-первых, с мировой историей (через библейские сюжеты, древнеегипетские и древнегреческие письмены), и, во-вторых, смотрели на окружающую их современность (на то, что мы называем национальными традициями, национальной самобытностью) с позиций Церкви (позиций православия), принимая и восхваляя только то или, вернее, тех, кто принял веру Христа и свято или по крайней мере прилежно исполнял ее канонную обрядность, и отвергали и порочили тех, кто, сопротивляясь навязываемой чужеродной духовности, продолжал держаться своих языческих богов (что ясно прочитывается в «Повести временных лет» Нестора и Никона). Я полагаю, что вряд ли здесь нужны подробности, откуда у церковников были эти познания, поскольку общеизвестно (и об этом упоминается во всех официальных справочниках по отечественной истории), что наставниками нашими по православию (по духовности) были византийские греки; они обнаруживались и в простых монастырских подвижниках, и в высших святопрестольных чинах, и появление их среди восточноевропейских славян отнюдь не связывается только с нашествием

Рюриковичей; примерно за сто с лишним лет до варяжской оккупации константинопольский Верховный синод объявил наши земли Шестидесятой православной (славянской) епархией, то есть, не спрашивая нас, распорядился по своему пониманию и усмотрению нашей судьбой, и в тот же год (да и во все последующие) к нам стали направлять миссионеров, дабы осуществить экспансионистский замысел константинопольских предстоятелей так называемой духовной власти. Ни в церковных (имеется в виду византийских, греческих), ни в каких иных свидетельствах тех времен не говорится, с каким сопротивлением столкнулись православные константинопольские посланцы, сколько было пролито ими (и за что, главное, за что?!) крови; кое-где (в том числе и в Киеве) им все же удалось поставить несколько часовен и церквей, которые разрушались, восстанавливались и вновь разрушались и восстанавливались и до княжения Ольги, и во время и после ее княжения, и, отмечая это явление в своем тридцатитомном сочинении «История России с древнейших времен», С. М. Соловьев пишет, что в Киеве в те времена вспыхивали антижидовские погромы; он ссылается на некие рукописные источники, достоверность которых неоспорима, за исключением того, что для славян и греки, и евреи могли ассоциироваться в едином понятии «чужеродцы», которые стремились навязать народу свои закабалительные условия бытия, и народ вынужден был сопротивляться этому бескровному будто бы насилию. Византийские (греческие) отцы русской духовности, учившие нас, казалось бы, элементарной грамотности (что, пожалуй, является единственно важной их заслугой), а по сути вгонявшие нас в некое «Царствие Божие», то есть в молитвенную кабалу, обрекая на тысячелетнее безволие (раб Божий — это еще кабальнее, чем раб хозяйский или государственный), на тысячелетнюю бездеятельность в защите своих интересов, своего исторического достоинства, своей самобытности и основательности, базирующейся на простых, общечеловеческих ценностях (вот и защищаем дворцы и храмы, а не свои хижинные жилища), — сии византийские (греческие) отцы русской духовности, стремившиеся довести нас до полного безродства и беспамятства (исторического беспамятства), везли и везли со своего «просвещенного» Востока не только религиозную, но и историческую (псевдоисторическую, как мы теперь оцениваем ее) литературу, переводили ее на славянский язык и насыщали ею если не смердов, то с избытком монастырских и приходских проповедников, тем самым подключая их к общемировому насаждению (попросту беря их в помощники) фараоновской хищнической системы бытия. Мы до сих пор находимся в процессе этой ломки, этой постоянной нестабильности жизни, в которой устойчивыми остаются для нас лишь покаяние и смирение, и все это называется благодатью, привнесенной и привносимой Церковью, наречено великой культурой, великой цивилизацией, которая, как уже говорилось выше, прикрыта всего лишь одним-единственным добрым деянием — распространением (да и то в узком кругу) элементарной грамотности. К константинопольской миссионерской деятельности, видя ее силу и неотвратимость, стали подключаться и наши монахи-подвижники — сначала как переводчики, а затем и как паломники на Афон и в Иерусалим, чтобы глубже постичь истинную значимость учения Христа. Они десятилетиями жили там и возвращались потрясенными той, казалось бы, действительностью, которая на самом деле вовсе не была таковой, а представляла собой яркий, правдоподобный до мелочей, до сущей будто бы истины или правды спектакль, оставляющий и ныне неизгладимое впечатление, сдобренный золотоблеском храмовых куполов, крестов, иконостасов, золототкаными одеяниями богослужителей и культовой обрядностью (богачество церквей и храмов и сегодня поражает людей и вольно или невольно влечет их к пополнению этих богатств), — да, весь этот искрящийся не только драгоценными металлами и камнями, но и беспримерными подвижническими подвигами спектакль (в житиях, легендах, мифах, преданиях, сказаниях) покорял (зрительно покорял) всех, кто хотя бы взглядом прикасался к этим бесконечно повторяющимся сценам на арене мирового зомбирования.

## XIV

Поступки народов, как и поступки людей, не всегда объяснимы; особенно если дело касается прошлых веков. Религиозная начинка, вложенная в жизнь народов, видится мне явлением весьма и весьма загадочным, даже парадоксальным — в том смысле, что естественное восприятие бытия она переводит в некий эфемерный символизм и до такой степени разрушает психику, что человек, уверовавший в Бога, в «царствие Божие» и свое бессмертие, готов, истязая себя в молитвах и постах, семимильными шагами приближаться к могиле, то есть к той цели или черте, за которой наступает предел земным страданиям (страданиям, как я полагаю, от безынициативности и безволия) и открывается внеземный мир Божьего рая. Что такое «рай Божий»? Это тот самый золотокупольный, золотоискрящийся спектакль, который разыгрывался и продолжает разыгрываться в Иерусалиме, на Афоне, на палестинских землях и который, символизируя Царствие Божие, предстал, как предстает и теперь, передней Бога, за которой должны (согласно символическому восприятию) скрываться палаты несказанных богатств и роскоши. Парадоксальность здесь заключается в том, что роскошь дворцов и храмов сочетается с хижинной нищетой, как девяносто девять к одному (впрочем, мы и сегодня можем наблюдать такую же картину), и хотя ужасающая вилка была всем очевидна тогда, как очевидна теперь, но человечество, ослепленное спектаклем веры (в данном случае христианской), воспринимало и воспринимает всерьез только это сценическое шулерство, то есть символику Божьего Царства, не замечая или скорее не придавая значения хижинной нищете. Возможно, я повторяю, возможно, в этой вилке, в этой раздвоенности (расслоении) мира на господ и рабов и кроется главная суть религиозного воздействия? Религия в понимании ее искренних приверженцев открывает дорогу, или переход от нищеты и страданий к достатку и благоденствию, и этим, и только этим, на мой взгляд, можно объяснить и явление монашества, и явление отшельничества, и все те предписываемые верой истязания плоти, на которые идут личности и народы и ради которых готовы распрощаться с дарованной им бесценной жизнью. Разумеется, сегодня трудно проникнуть в духовный мир тех челночных чернорясников (и наших, и греческих), которые, достаточно протоптав паломничьи тропы между Иерусалимом, Афоном и Киевом, наводняли Русь, с одной стороны, церковной, а с другой — псевдоисторической литературой; ослепленные великолепием иерусалимских, а главное, византийских и константинопольских дворцов и храмов (за пределами коих лежала столь же нищая страна, как и Россия), они везли к нам самые жесткие (будто бы по нашей просьбе) монастырские уставы, самые, казалось бы, праведные (евангельские, апостольские) наставления жизни, призывавшие лишь к покаянию и смирению (смирению перед устанавливавшимся уже рабством), искренне, как полагают нынешние теологи и ученые мужи, веря, что делают самое благое дело для славянства — открывают путь в Царствие Божие. Я не могу осуждать этих подвижников веры, ибо они были искренни не столько перед собой, перед людьми, ради блага которых будто бы приносили себя в жертву, сколько перед Богом. Они служили Богу и службой своей, как это представлялось им, подвигали славянский мир к высокой (через молитвенные бдения) духовности и высокоцивилизованной (в смирении и всепрощении) жизни. Что принесла эта «высокая» православная духовность славянским простолюдинам, известно: крепостничество и еще раз крепостничество церковное и светское; прилично поистоцившись к середине пути в этих своих нравственных наставлениях (в конце концов религия, в том числе и христианская, никогда не воспринималась народом, народами в той степени искренности и полноты, в какой явление это зафиксировано в официальной историографии и представлено в трактатах теологов), Церковь вновь на рубеже двухтысячного года (на подступах к глобализации всех средств жизнеобеспечения человека и человечества, то есть к мировому господству по образцу «века Богов») активизировалась или, точнее, заметно активизировалась в своей тронно-холуйской, тронно-прихлебательской деятельности. Я обратился здесь к

современности лишь потому, что эпоха становления рюриковической государственности (эпоха выбора пути) если и не один к одному, то по крайней мере в пределах этой пропорции напоминает обстановку и обстоятельства нашего времени; ведь мы тоже ставим государственность, и ставим ее столь же в обстановке непродуманности и, может быть, в еще более хаотической атмосфере жизни, в какой пребывали монахи-перволетописцы, позволившие себе внести или озвучить в «Повести временных лет» формулировку: «Земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет...» К этой знаменательной фразе нам еще не раз придется обращаться в процессе повествования, поскольку уже более тысячи лет она сопровождает наше политическое, экономическое и духовное существование, и мы произносим ее то с огорчением, дескать, сподобил же Господь нас такими, не умеющими извлекать уроки из исторически совершенных и совершаемых ошибок (как видим, центр тяжести и вины полностью переносится на народ), то с иронической усмешкой, поскольку насмехаться над собой, как это внушают нам, — дело важное и полезное, ибо ведет к нравственному самоочищению (пособие для бедноты, но не для тронных персон и их высочордных окружений), то с оглядкой на некие зомбирующие силы (что, пожалуй, ближе всего стоит к истине), однако не осмеливаемся персонифицировать эти силы ни в личностях (личностях чужеродных правителей), ни в народах, привыкших навязывать свои политические и социальные мировоззренческие идеалы людским сообществам (разумеется, в далеко идущих корыстных целях), ни в государствах (супердержавках типа Соединенных Штатов Америки), стремящихся установить всеглобальную фараоновскую власть, — да, да, я убежден, мы знаем это, как знали народы в древности, в средние века и в новейшие времена, но ничего не предпринимали, чтобы выяснить истинную причину возникающих и приносящих простолюдинам страдания хаотических (даже перманентно хаотических, как у нас) явлений. Монахи-паломники Киево-Печерского монастыря отправлялись в Иерусалим, на Афон, в Царьград, чтобы глубже понять христианское учение и утвердиться в нем; само по себе, возможно, дело благородное, ибо постижение истины (постижение сути и смысла бытия) всегда было заветной мечтой человека и человечества; но если учесть, что религия (взять хоть веды, хоть буддизм, хоть иудаизм, хоть христианство, хоть мусульманство) представляет собой всего лишь прикладную (кабально прикладную) истину, ничего общего не имеющую с естественными законами и явлениями природы, по которым предназначено было развиваться человечеству, но от которых оно преступно отвернулось, отдав предпочтение рукотворным наставлениям хищничества и насилия, — если учесть, что религия (причем любая религия) является всего лишь кабально прикладной истиной к великому дару человеческого бытия, то и монашеско-паломнические познания ограничивались или замыкались в рамках храмово-церковных иконостасных догм. В Константинополе, богатейшем по тому времени городе, они видели тот порядок жизни, какой обычно устанавливается и поддерживается тоталитарными режимами; в дни больших церковных торжеств перед ними открывалась картина почти небесного бытия, которая ассоциировалась затем, во-первых, с царской и, во-вторых, с божественной жизнью, то есть была, по сути, зеркальным прототипом Царствия Божиего (при чем тут жизнь народа, жизнь народа не в счет, народу дается только пример для подражания — пример, который никогда не воплотится в реальность), и, унося с собой и сохраняя в себе этот образ Божьего Царства, они, то есть монахи-проповедники, дополняли его своими религиозно-болезненными вымыслами. Наверное, невозможно сегодня проникнуть в тот мир монашеских стремлений и переживаний, что двигал их в аскетических «подвигах», коими заполнялись их жития, однако рискну предпринять такую попытку, поскольку полагаю, что далеко не все они, пришлые к нам византийские (греческие, православные) миссионеры (об этой экспансии еще пойдет обстоятельный разговор) действовали по заданию правителей (по уложению константинопольского Православного синода, как подается в истории), но многие шли с искренней верой, что отдают жизни за святое де-

ло. Все, что написано о монахах-подвижниках, иногда порывавших с Церковью и уходивших в отшельничество, на мой взгляд, не отражает действительности, то есть тех помыслов и страданий, какие ими самовозлагались на себя, и главный вопрос, какой они задавали себе и на какой не находили прямого и ясного ответа: «Что есть Бог, и что есть человек?» Отшельничество открывало им мир внутренних познаний, исполненный всеохватного символического значения, и сколько они ни пытались соединить (путем евангельских и своих нравучений) предел Царствия Божиего с пределом хижинной нищеты, концы с концами не сходились, и трагизм разрывал душу. Я отношу это более не к греческим (византийским) проповедникам православия, а к славянским, типа основателей Киево-Печерского монастыря Антония и Феодосия (ведь если никого из славян нельзя было найти среди боярства и дворянства, как свидетельствует историк С. М. Соловьев, то среди священнослужителей все же можно было обнаружить их имена), — да, я отношу это свое высказывание более к славянским священнослужителям, которые хотя и были выходцами из состоятельных семей, но жили с народом, знали его и печалились его печалью.

## XV

Каким бы странным ни показалось нам это высказывание, но затворничество (отшельничество) являло и являет собой одну из форм общения с миром. Разумеется, в отшельничество уходили и ради других целей, карьерных, скажем так, чтобы создать себе имя «Божьего человека», привлечь внимание и властвовать над «заблудшими душами», короче говоря, здесь все то же стремление к власти и славе, хотя бы и иконостасной (исключалось разве что богатство из этой троицы искушений, поскольку главным достоинством святости считалось решительное самоотречение от земных благ); однако я не стану касаться религиозно-карьерных дел, ибо они проявлялись и проявляются не только среди затворников или отшельников, но и во всей снизу доверху церковной иерархической системе (ведь где чины, звания, там и интриги), — не стану потому, что не на основе поверхностных, пусть даже ярких, броских событий, зафиксированных в официальной историографии, а на основе углубленных раздумий о процессах и состоянии бытия и на выводах из этих раздумий творилась и творится (на благо ли народа, во вред ли ему) история. Давайте на минуту представим себя в монашеской келье тех времен с ее аскетическим убранством, с ее вечным полумраком, озаренной парой лампад или свечей, иконные образа, глухую тишину ночи и старца за дощатым столом, склонившегося над Священным Писанием и черпающего из него апостольские откровения и истины; не думаю, чтобы эти откровения и истины воспринимались отдельно от общечеловеческого бытия, но, напротив, как раз они-то и являли собой то мироздание, в котором человечество, оглядываясь на Бога и веря в Него, искало ответы на насущные вопросы жизни, и хотя ответы были на виду, лежали в одной плоскости и могли бы быть очевидны и ясны, если бы не религиозная скованность, а попросту не предначертанная богоизбранность правителей («Всякая власть от Бога», — гласит Библия), пользовавшихся неограниченной властью, и не строжайшие запреты Церкви, то есть страх еретического клейма со всеми вытекающими из этого последствиями, — ответы пришли бы сами собой, как светлые знамения в канун великих религиозных торжеств. Порядок византийской жизни (в основном дворцов и храмов) сталкивался в душах затворников с порядком жизни в Киевской Руси; на константинопольском троне восседал единый правитель, который, как уже упоминалось, соединял в себе и светскую, и церковную власть, и если и происходили там дворцовые интриги (а они происходили), то велись скрытно от простолюдских масс и не вызывали среди них волнений; интриги вокруг киевского великокняжеского престола, причем интриги кровавые, являли собой ничем не прикрытую борьбу за власть, князья-претенденты втягивали в свои дворцовые разборки коренной славянский люд, ходили за море приглашать варягов для помощи или в донские степи к гулявшим там азиатским ордам, коим в знак оплаты

за подобную услугу отдавали на разграбление своих бесправных крестьян, то есть смердов. Варяги (имеются в виду приглашенные заморские ратники) разоряли и грабили по-европейски, забирали зерно, продовольствие, скот, пожитки, насиловали женщин, жгли избы, иногда выжигали целые селения только потому, что нечего было взять; азиаты действовали на свой лад: они угоняли славянский люд в плен, чтобы затем поставлять его на работорговые рынки Востока, то есть главным образом на византийские рынки; их гнали партиями — мужчин, женщин, детей, подростков — по Руси, как свидетельствуют арабские источники, стоял стон, эхом отдававшийся далеко за ее пределами. Князья Рюриковичи, претендовавшие на киевский престол, воцарялись на нем, а русская земля оголялась, пустела, и проходили десятилетия, прежде чем жизнь снова восстанавливалась на ней. Дело доходило до того, что из-под Варшавы были переселены тысячи поляков, дабы заполнилась хлебопашцами опустошенная киевская земля. Все это, конечно же, было на виду, на слуху и в памяти монахов-подвижников, ходивших за истиной в Иерусалим, на Афон, в Царьград и молитвенно истязавших себя в монастырских кельях; им снова и снова казалось, что там, на Афоне, в Иерусалиме, Царьграде, был порядок, работорговля не смущала их, как не смущала она отцов Церкви и самодержавных правителей, рассеявшихся по дворцам и храмам (собственность на раба считалась правом священным); император (он же и патриарх) не выезжал там с дружиной на сбор дани, не унимал карательных действий, на все и про все были в Византии законы (какие — другой вопрос), которые, как это казалось нашим монастырским паломникам, беспрекословно исполнялись, и в этом они видели хотя и самодержавный (а как же, по образцу Царствия Божиего), но все-таки порядок. У себя же в противоположность этому порядку видели только великокняжеский и княжеский произвол и вотчинное беззаконие; великие князья, начиная с Рюрика и Вещего Олега, даже по нескольку раз в году отправлялись со своими варяжскими дружинами то к древлянам, то к кривичам, родимичам, новгородским славянам на сбор дани, иначе говоря, на свое государственное рэкетирство, и вносили раздор между собой и коренным славянским людом, возникали кровавые протесты, которые тут же и с еще большей кровью подавлялись (вспомним хотя бы подобные походы князя Игоря, мстительные меры княгини Ольги, буйные расправы Святослава), и монахи-подвижники из своих монастырских келий далеко и далеко недвусмысленно толковали это явление. Они отчетливо сознавали, что в основе порядка стояла сильная и твердая власть, освященная перстом Божиим, тогда как беспорядок происходил от дворцовых интриг и великокняжеского рэкетирства; выводы же, какие делались из этого посыла, не столько лежали в стороне от истины, сколько являли собой нечто символически-бестелесное, из чего нельзя было разобрать, что на самом деле осуждали и к чему были устремлены их отягченные христианскими догмами и библейскими историческими сюжетами помыслы и деяния. Единственно, на что они могли всерьез уповать, так это на жесткую, провизантийскую, державную (опять же по образцу Царствия Божьего) власть, которая, проникшись христианской справедливостью, сможет и в славянской среде навести порядок. Что нужно было сделать для этого? Поднять власть над народом и укрепить в богоизбранности. Рюриковичи, мол, не сами по себе пришли на славянские земли, они были посланы Господом, чтобы упорядочить жизнь (как видим, все вращалось вокруг понятий «порядок» и «беспорядок»), словно уже сами эти понятия давали ответы на задаваемые вопросы; вместе с тем монастырские старцы искали возможность присовокупить к промыслу Божьему некое народное ожидание посредничества, и, возможно, из подобных суждений и родилась идея «призвания». Как и в случае с боярской легендой, расправа Рюрика над славянскими старшинами, якобы пригласившими его на княжение, не бралась в расчет; о ней с прошествием времени было забыто, как забыто и первое антирюриковическое восстание новгородцев под предводительством Вадима (собственное или нарицательное имя, история пока не дает ответа); Вещий Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, Святослав и его сыновья и

сыновья этих сыновей, то есть вся их жестокость по отношению к завоеванному коренному люду, сконцентрировавшаяся в князе Владимире (Владимир Красное Солнышко), была тоже словно затянута пеленой, а попросту отброшена ради торжества главной идеи — сильной власти. Обитатели монашеских келий все больше приходили к выводу, что чужеродный правитель способен, уравнив всех, привести народ к миру и согласию. Каким образом они приходили к осознанию этой истины, в неспешных ли беседах, в которых «призвание» Рюриковичей истолковывалось как событие почти столетней давности (наверное, что-то же было в этом роде, поскольку варяжские узурпаторы власти вовсю уже хозяйничали на славянской земле, по крайней мере так полагали монастырские приверженцы «призвания»), в углубленных ли раздумьях, заточась в кельях среди горящих лампад и икон, или было еще что-то, что подталкивало их к созданию совершенно определенной, четкой, впечатляющей и, конечно же, до предела облагороженной (и унижающей славянский люд) версии «призвания», теперь трудно установить; для меня, например, совершенно очевидно (хотя выдвигаю лишь предположение), что монахи, видя рэкетирские нравы великокняжеских и княжеских отпрысков, старавшихся любой ценой (любой кровью) воссесть на киевский престол, — монахи всего лишь хотели напомнить погрязшим в междоусобицах Рюриковичам, для какой цели они были «призваны» на княжение, то есть напомнить им, что они призывались навести порядок среди славянских племен и что нельзя им отступать от этой предначертанной святости. Конечно, такое объяснение не дает исчерпывающего ответа на вопрос, призывались ли Рюриковичи на княжение или не призывались, но оно как нельзя лучше характеризует монахов, взявшихся за «восстановление» судьбоносного для Руси события столетней давности. Обо всем этом мы можем судить по тому, что и как было внесено в перволетописное свидетельство — «Повесть временных лет». В «Повести...» все выглядит вроде бы достоверно: и изгнание варягов, бравших непомерную дань с новгородских славян, кривичей, чуди, мери, и вдруг (после одержанной победы) вспыхнувший внутриславянский раздор, ничем, кстати, не подтвержденный, кроме декларативных высказываний, и сговор славянских старшин (что тоже должно было работать на достоверность), сказавших друг другу: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела справедливо», — и то, что затем было предпринято этими старшинами, посольством отправившимися «к варягам, к руси» («русью» назывались варяги или скорее варяжские дружины), и что послы от славянских племен будто бы заявили своим недавним врагам-притеснителям, забыв о достоинстве, что «земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет, придите княжить и владейте нами». Я не случайно столь подробно воспроизвел текст «Повести временных лет», поскольку речь идет именно о судьбоносном значении этой изложенной (сочиненной по прошествии столетия) версии «призвания»; возможно, достоверность ее была бы неоспоримой, если были бы названы имена старшин, ходивших посольством «к варягам, к руси» (не думаю, чтобы такое событие, если оно действительно состоялось, осталось не зафиксированным хотя бы в памяти народной); но имен нет, а значит, нет и факта, то есть нет никаких торжественных знаков, какие были бы уместны в данном случае — ни со стороны призванных Рюриковичей, ни со стороны призвавшего их на свою погибель народа, что делало бы монашеский миф о «призвании» реальностью.

## XVI

Власть, как известно, понятие неделимое, ибо разделенная на части, на некие составные, она перестает быть властью; и все же на протяжении веков она не была однозначной в своей неделимости, но то окрашивалась в национальные интересы, что бывало чрезвычайно редко, недолговечно, и, если уж быть откровенными до конца, носила бутафорский характер, то рядилась в одежды жестокого человеконенавистничества, оставляя после себя ополовиненные народы и опустошенные до безлюдства просторы. Наверное, в каждом людском сообще-

стве могут рождаться и те, и другие правители, однако временной обзор минувших да и текущих столетий и тысячелетий, с какой бы стороны мы ни рассматривали их, ясно показывает, что ни на нильской земле, ни в палестинских мини-государствах, ни в Греческой империи и тем более в греческих городах-полисах не было на тронах представителей из народа, а со времен цезарских походов в этот процесс была втянута и Европа; чужеродство (чужеземство) настолько захлестнуло европейские королевские дворы, что трудно представить сегодня размах этого явления, так как все внутренние беды, терзавшие «старый свет», происходили именно от престольного чужеродства. Конечно, монахи Киево-Печерского монастыря, желавшие сильной власти, не могли предвидеть или предугадать, чем впоследствии обернется для славян сильная власть, тем более если она не просто чужеродная, но чужеродная по крови народу, которым бралась управлять. Во главе Киевской Руси стояли варяжские князья (варяжские насильники, узурпаторы власти), в церквах и монастырях или, вернее, из церквей и монастырей наставляли смердов «на путь истины» византийские (греческие, православные) священники; у Рюриковичей были свои интересы, разумеется, не ограничивавшиеся только рэкетирами набегами на древлян, кривичей, родимичей и т. д., у константинопольского Православного синода, возглавлявшегося двуединым светским и духовным правителем (отсюда, кстати, и двуглавый орел как символ двуединой власти), — свои, далеко выходящие за церковное «благочестие», и сколько бы они, эти интересы, ни рознились (на протяжении повествования мы еще увидим, как они сталкивались, сея хаос и неурядицы), но в то же время у них было и объединяющее начало — чужеродство, приведшее их в конце концов к согласию и породнению. Для служителей Бога, коими монастырские затворники считали себя, то есть для свято-мыслящих старцев, решивших найти теоретическое обоснование «призванию» варяжских князей на славянский престол, которые, по сути дела, оказались всего лишь шайкой разбойников, умевших рэкетирировать у безответных славян, но совершенно не умевших вести государственные дела (да так бы и не умели, если бы не православие и не княгиня Ольга, открывшая для себя и для всех последующих великокняжеских отпрысков, что должно лежать в основе тронной идеологии), — для свято-мыслящих старцев, молитвенно истязавших себя в монастырских кельях, главной властью был константинопольский Православный синод, от которого исходили все (для них) инструкции и наставления. Для них же, этих старцев, до предела начиненных евангельскими истинами, не имело значения, иноземцы или не иноземцы правят Киевской Русью; притеснения, творившиеся варяжскими князьями над коренным славянским людом, не затрагивали их (пока не затрагивали), ибо они были «рабами Божьими», а не светскими, то есть находились под покровительством Божьего Царства, и сознание такого превосходства делало их гордыми и непреклонными, по крайней мере в общении с великими князьями, о чем свидетельствуют их многочисленные жития. Однако гордость, выражавшаяся в репликах, сейчас же таяла, уходила в песок, когда от слов надо было переходить к делу; и хотя парадоксальность такого поведения не осталась незамеченной историками и философами, но в то же время и не исследовалась, как исследуются исторические факты или явления, а ведь часто именно за неприметным будто бы событием стоит тот ларчик, который открывается просто и освещает стержневую основу эпох. Чужеродство Рюриковичей, стремившихся утвердиться на славянской земле, было более чем сродни чужеземству религиозному, во главе которого стояла константинопольская Православная Церковь, занимавшаяся, как уже отмечалось выше, не только насаждением новой культовой обрядности; Рюрики материально, физически разоряли славян, церковники, боровшиеся вроде бы с язычеством (по сути дела, с народом), перемальвали, уничтожали, отправляли в небытие славянскую культуру, славянскую духовную самобытность, так что выходит, что и варяжские князья, и константинопольские наставники веры были более чем едины в своем стремлении на века (если не навечно) утвердиться на захваченных ими землях. Забегая вперед, скажу, что они успеш-

но справились с этой задачей, оставив на теле (и на душе) славянских простолюдинов незаживающий кровавый тысячелетний рубец бесправия, нищеты, страданий. Одни чужеземцы, варяжские, сомкнулись с другими, церковными, завершив кольцо силового и духовного давления на безответных славян, и — я опять возвращаюсь к тем монахам-затворникам, в кельях которых было рождено и облечено в правдоподобие некое возвышающее Рюриковичей и унижающее коренной люд «призвание». Конечно, трудно понять столь лукавую (возможно, даже преступную) мудрость затворников-прорицателей, но еще труднее объяснить истинную цель, какую они ставили перед собой и какая затем была полностью осуществлена их светскими и духовными последователями; ведь если бы «призвание» списывалось с природы, то есть по горячим следам событий, то и весь рассказ (слог) носил бы живой разговорный характер; но реальность эта (якобы реальность) впервые получила огласку спустя почти столетие после «призвания», и разрыв этот между действием и изложением наталкивает на весьма и весьма скептические размышления. Давайте разберемся, ибо фраза, должная вроде бы служить опорой и объяснением «призвания», что, дескать, «земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет», никак не вытекает из канунных «призванию» событий, то есть из вдруг (после победы над варягами) возникшего внутриславянского междоусобья, особенно если учесть, что это было кратковременное междоусобье, а славянские племена, имевшие один язык, одну культуру, одну систему социального и нравственного развития, не только никогда не враждовали между собой, но, напротив, жили в мире и согласии. Что же касается мелких споров, то о них и говорить нечего; в словах же «велика и обильна, да порядка в ней нет» явно просматривается не десятилетнее, а более чем столетнее обобщение, основанное на рэкетирском разгуле первых рюриковических князей, на их бесшабашных разбойных походах, вносивших хаос и неразбериху в жизнь Киевской Руси. Да, рассказ о «призвании», включенный в «Повесть временных лет», — это, возможно, изобретение более позднее, чем даже можно предположить, и, по сути дела, не имеет отношения к перволетописцам Нестору, Никону, Сильвестру, чьи творения, между прочим, таинственно исчезали после очередной их редакции, как, впрочем, и их жития, которые могли бы приоткрыть истину, а потому «Повесть временных лет» с описанием «призвания» скорее можно датировать XV веком, чем XI и XII, как это зафиксировано в нашей официальной историографии. История России «с древнейших времен», как характеризуют ее наши знаменитые ученые XVIII, XIX, XX веков, сводится в основном к внутриславянской (междоусобной) борьбе варяжских князей Рюриковичей (ольговичей, святославичей, ярославичей, ростиславичей, всеволодовичей, мономаховичей и т. д.) за великокняжеский престол; историки и философы говорят нам, что период этот, длившийся более семисот лет, следует относить к становлению государственности, то есть, иными словами (словами правды), создавался тот механизм самодержавия по византийскому образцу (верха барствуют, отгородившись от народа крепостными стенами, а народ нищенствует, задавленный царской и церковной кабалой), который настолько укрепился или, вернее, настолько укоренился у нас, что и династическая смена правителей (после Рюриковичей немцы Романовы-Юрьевы, затем узурпаторы коммунисты и узурпаторы демократы), так и не смогла освободить Россию от навязанной византийщины; да, все эти правители, сменявшие друг друга на российском троне, не смогли избавиться от имперско-православных константинопольских пут по той же причине — престольного чужеродства, — по какой Рюриковичи-первоправители находили именно в византийщине идеологическую опору своего господства, когда абсолютное единодержавие, то есть светская власть, подкрепляется духовной (церковной) риторикой, а церковная риторика — светской властью. Кроме бесконечной борьбы за киевский, а затем московский престолы Рюриковичей, Романовых, коммунистических вождей и реформаторов-демократов, так пока еще и не завершивших распределение высших кремлевских кабинетов, история наша озаменована, как говорят нам

академические светила знаний, «величайшим» историческим событием — соби- ранием русских земель. Ниже мы еще основательно вернемся к этому разгово- ру, а сейчас позволю себе только напомнить, что собиране это, начиная с ка- зни славянских старшин в год явления Рюрика с братьями и «со всей русью» и ка- рательных походов княгини Ольги на древлян, сопровождалось большой кро- вью (одна только история с Новгородом могла бы стать основой для вынесения смертного приговора Рюриковичам); да, ничего не скажешь, «земля наша вели- ка и обильна, да порядка в ней нет», — нет потому, что вот уже более тысячи лет, то есть более десяти веков, правит нами престольное чужеродство.

## XVII

Наверное, стоит сказать несколько слов об отношении к разбираемой здесь летописной фразе, ключевой не столько для нашей истории, вернее, ее понима- ния, сколько для современной жизни с ее устремленностью в некое грядущее просветление (через молитвы, смирение, послушание, покаяние, как поучают нас и светско-пропагандистские, исходящие из дворцов, и религиозно-догмати- ческие, спускаемые с церковных амвонов так называемые истины); верить в правду труднее, чем верить в исполненную лъстивых надежд ложь, я уже гово- рил об этом и теперь говорю снова, ибо правда горька, а в обещаниях благоден- ствия (вечного рая, если по-евангельски, словно из могильных ям или склепов и в самом деле есть ход в сказочное царство «вечного блаженства») ой-ой сколь- ко привлекательности, но, думаю, уместнее всего тут вспомнить о мышеловке и дармовом сыре в ней. Ученые мужи, прежде всего я имею в виду историков, фи- лософов, теологов, которым уже по их регалиям положено вещать истину о че- ловеческом бытии (в противоположность будто бы религиозным бредням), па- лец о палец не ударили, чтобы, вникнув в суть летописной (будто бы летописной, добавим для определенного уточнения) фразы о размерах и богатствах нашей земли и о беспорядках, перманентно (с появлением Рюриковичей) вот уже тыся- челетие творящихся в ней, даже не пошевелились, чтобы установить причину или источник этих беспорядков; видимо, как и монахов Киево-Печерского мо- настыря, бравшихся за написание «Повести временных лет», так и позднейших ее редакторов и исследователей, то есть тех тронно-холуйствовавших светил знаний, усилиями которых, возможно, и был оглашен или, вернее, канонизиро- ван в XV веке текст «Повести...» с известной фразой, вокруг которой и ведется сейчас речь, — да, видимо, нынешних ученых мужей, как и их предшественников из Киевской Руси, вполне устраивает обобщенное понятие о рюриковическом экспансионизме, в котором вроде бы никто не обвиняется впрямую, ни правите- ли, ни народ, но если внимательней присмотреться или, скажем, вчитаться, то все же окажется, что вина есть и она лежит на не умеющем ничего, неспособном на самостоятельность простом российском люде. Русские (славяне) — плохой народ, никчемный, «мусор человечества», как охарактеризовал его один из ве- дущих классиков марксизма, и оценка эта в сочетании с разбираемой летопис- ной фразой производит (по крайней мере на несведущих или насильственно по- груженных в историческое невежество личностей и народов мирового сообще- ства) определенное, я бы сказал, отталкивающее впечатление. Против нас ве- дется пропаганда, какая некогда была развязана цезарским Римом против кельтов, из чего, впрочем, давно бы нам пора сделать надлежащий вывод, но, к сожалению, если многие даже простые люди сегодня уже начали понимать что к чему, то мир академических светил обходит стороной эту проблему. Вопрос: почему? Если бы ученые мужи не только попугайо повторяли (вслед за своими древними монастырскими предшественниками) летописное изречение, что, дес- кать, «земля наша велика и обильна, да порядка в ней нет», а попытались про- никнуть в реальную ее значимость, то без каких-либо особых усилий смогли бы установить истинную причину ее возникновения, ее, я бы сказал, почти бес- смертную долговечность, подпитываемую дворцовым и храмово-церковным барством; они столкнулись бы с противоестественностью престольного чуже-

родства для любого народа (пожалуй, только нынешние Израиль и Китай не поддаются подобному чужеземному насилию), поняли бы всю трагическую суть правления Рюриковичей для восточных славян и раскрыли бы всю ее чудовищную античеловечность для общественного обозрения. Рюриковичи, да, именно прежде всего Рюриковичи, отняли у нас все наше национальное, самобытное, что составляло социальную и нравственную основу бытия, иначе говоря, отняли и опорочили наше естественное право на свободное развитие. Первым актом их исторического вандализма (да, я так называю это явление) была прилюдная казнь славянских старшин, которые как раз и призывали якобы Рюриковичей княжить и править ими; акт, прямо сказать, непостижимый ни для простого, ни даже для изошренного ума, но который в противоположность всей выдумке о «призвании» реально зафиксирован в истории, как зафиксировано и восстание против такого произвола, руководимое Вадимом и подавленное, точнее, кроваво подавленное «всей русью», то есть варяжской княжеской дружиной. Этот акт, мне кажется, имел не столько сиюминутное (хотя для устрашения завоеванного народа всегда нужно какое-то кровавое действие), сколько символическое или, если хотите, программное значение, определившее затем суть всего семисотлетнего правления Рюриковичей. Поведение варяжских пришельцев, как ни странно или невероятно прозвучит это, оказалось сродни действиям фараонов, в свое время явившихся к древнеегипетским племенам на нильскую землю (как и в становлении всех последующих царств и империй); обезглавив, как и фараоны, своих будущих подданных, Рюриковичи шаг за шагом принялись за разрушение всех исторических социальных и нравственных ценностей, составлявших национальные устои славянского быта; они присвоили себе (а по сути, отобрали у нас) наш язык и, упрощая его и наводя своими несуразными неологизмами на протяжении всего семисотлетнего правления (тенденция эта затем продолжалась и при Романовых, и при коммунистах и еще более приумножилась теперь, при демократах), сегодня учат нас правильно русскому языку, будто они, а не мы являлись и являемся носителями и хранителями русской речи, русской словесности; они отобрали у нас и присвоили себе наши земли, а сегодня и богатейшие недра, дающие баснословные прибыли, обратили нас в бесправных, безгласных и безграмотных крепостных, дабы было кого пороть на скотных дворах, а теперь упрекают, что мы не умеем хозяйствовать на своей земле, то есть никчемный народец, который давно уже следовало бы заменить трудолюбивыми и аккуратными немцами, французами, англичанами, американцами, которые, возможно, у себя на родине и трудятся, как положено им трудиться, но в России, получая из рук наших великодушных к Западу великих князей и царей дворянские титулы, традиционно лишь барствовали, занимая самые высокие посты при царствующих (единокровных, следует добавить) особах и вывозя от нас несметные богатства (пример тому Хаммер), словно из оккупированной ими страны. Они лишили русский народ нормального человеческого достоинства, пороча и унижая его всеми возможными средствами и приемами, шельмуя и сбрасывая с пьедесталов (с пьедесталов памяти) наших отечественных кумиров, давая понять этим, с одной стороны, что среди славян не было, нет и не может быть ни героев, ни просто умных людей, а с другой — преподнося своих, заповивших городские площади и иконостасы, весь героизм которых заключен либо в мнимом, да, мнимом или представительском аскетизме и самоедском бесплодии, либо в ратных подвигах народа, который безжалостно отправлялся ими в кровавые захватнические походы и на еще более кровавые штурмы неких вражеских крепостей,— да, они лишили нас достоинства осознавать реальность творящегося беспредела и подменили и продолжают подменять это достоинство то евангельской догмой подставлять вторую щеку, если бьют по одной, то ненавистью и мщением — хвататься за пистолеты или автоматы и стрелять, убивать, убивать без разбора, без суда, как звери в джунглях; истинное человеческое достоинство они подменяют достоинством рэкетирства и киллерства, банковским и государственным (политическим, экономическим, духовным)

мошенничеством, героизируя этот разбойный профессионализм и ссылаясь при этом на своих денежных и промышленных магнатов, которые, дескать, хотя и были в свое время известными морскими пиратами и сухопутными грабителями, и хотя капиталы их многослойно облиты простолюдинской кровью, прошлое, как говорится, из глаз вон, а в настоящем якобы лишь на их инициативе (думаю, столь же кровавой, хотя и завалированной) держится некое мировое благополучие (чем не оправдание для наших пиратских начинателей, ныне наводнивших Россию?); так что вот он, итог деяний тысячелетнего престольного чужеродства (источник наших перманентных беспорядков), и вот она, плата за наше славянское простофильство. Они отобрали у нас литературу, искусство, включая живопись и зодчество, на тысячелетие заморозив наши творческие возможности на уровне матрешек, гармошек и частушечных переделов (что, впрочем, характерно для становления почти всех царств и империй), и создали свою культуру, не имеющую или почти не имеющую никакого отношения к духовной жизни славян, но которую вот уже третье столетие показательно вывозят на Запад как некое достижение русского народа, демонстрируя его значение в созидании непреходящих общемировых духовных ценностей; фарисейство это на Западе воспринимается как истина, и происходит это потому, что в так называемой русской культуре, в русском искусстве, в котором нет ничего истинно русского, народного, что действительно могло бы принести славу нам, Запад находит полное (я бы сказал, даже попугайное) созвучие со своим и благословляет его на дальнейшее развитие. Дело осложнено еще тем, что культура, литература, искусство давно и основательно преобразовались у нас в так называемый (закольцованный в самом себе) клановый профессионализм, то есть в тот круг, в котором столь же редко встретить сегодня славянское лицо, сколь его тщетно было искать с самого первого дня правления Рюриковичей при великокняжеском дворе (а затем и при Романовых) среди «русского» боярства и дворянства; да, они отобрали у нас право на творчество, построив за счет государственной казны для себя самые роскошные (и многочисленные) императорские и неимператорские театры, клубы по интересам (английский, французский, дворянский) и гордясь созданным (созданным будто бы их трудами), как зеницу ока оберегают это созданное от возможного проникновения представителей коренного люда, что тоже является итогом или следствием тысячелетнего престольного чужеродства.

## XVIII

Они, Рюриковичи, отобрали у нас науку, заполнив ее, с одной стороны, немцами, французами, англичанами (это ведь им противостоял знаменитый побочный сын Петра Первого Ломоносов), а с другой — поставив ее целиком и полностью на службу державным целям, то есть наращиванию военного могущества, дабы расширять и укреплять влияние на сопредельные страны и народы; они отняли у нас историю, но не только тем, что отсекали нас от исконно-национальной самобытности, от наших древних и древнейших истоков жизни (по сути дела, славяне, считавшиеся одним из самых распространенных народов Европы, оказались, как говорится, без роду, без племени, без своей культуры, без своей, создававшейся на миролюбивых, идиллических началах цивилизации, щедро поставившей — и об этом нельзя забывать — своих языческих богов на греческий Олимп), — да, не только тем, что отсекали нас от древности, от Руси Первой, созданной готскими князьями в V веке на базе славянских племен антов и венедов, но превратили нашу историю в скрупулезную разборку своих внутриродовых междоусобий, своих кровавых схваток за великокняжеский престол, выключив таким образом простой российский люд из исторического процесса развития. Они, Рюриковичи, отобрали у нас нашу жизнеутверждающую религию, то есть вырвали из народа тот духовный стержень, который делает человека жизнерадостным, энергичным, свободным и по сути был и остается гарантом естественного, а не рукотворного права на жизнь, и заменили ее (неоправданно и незаслуженно опороченное язычество) своей, христианско-православной (право сла-

вить — какое, за что?), превратив нас как бы в дополнение к крепостничеству еще и в рабов Божьих. Сегодня они ищут национальную идею (между прочим, ищут ее давно, чуть ли не со дня явления Рюриковичей, но особенно усиленно в последние два-три столетия как некую всеобъясняющую и всеоправдывающую поттеру, способную будить и вдохновить народ), словно бы не понимая, что национальная идея всегда была, есть и будет бессмертна в народе, народах, но именно ее, этой идеи, стоящей на началах справедливости и основательности жизни, всегда боялись и боятся правители (что было присуще и Рюриковичам, и Романовым, и вождям коммунистического переворота и остается присущим нынешним воротилам демократии); все престолы веками втаптывали ее в грязь, наслаивая на нее свои бутафорско-преступные или преступно-бутафорские измышления, чтобы под наслоением их окончательно и безвозвратно похоронить суть, да, самую суть естественных человеческих потребностей и проявлений, суть человеческого бытия. Это они, Рюриковичи, закабалители славянского люда (восточнославянского, следовало бы добавить), создавая свою державную государственность, изначально, да, изначально, как свидетельствуют и Карамзин, и Соловьев, положили двойной стандарт в общественное устройство страны: особый статус жизни для представителей варяжской «руси», и особый для коренного славянского люда, названного ими смердами (разумеется, от слова «смердить»). Думаю, едва ли стоит вдаваться в подробности этого хорошо известного кастового, иначе не скажешь, расслоения на высших, то есть носителей власти, господ, если по Аристотелю, и обладателей плоти, то есть рабов, если опять же по Аристотелю, но, полагаю, Рюриковичи действовали в данном случае не по Аристотелю, а по той глубочайше порочной традиции богоизбранности (власти) и простоты (народных масс), которая восходит к Древнему Царству или, вернее, исходит от него; пройдя через тысячелетия, традиция эта, как видим, вместе с Рюриковичами явилась у нас во всей своей первозданной девственности и силе. Десять веков мы живем на меже, по одну сторону которой роскошь и барство, а по другую — хижинные сиротство и нищета, и если бы разделение это было только имущественным — это одно, но оно перешло ту черту, за которой цари, князья, бояре, дворяне оказались благороднорожденными, а мы, смерды, то есть народ, — подлорожденными, и это было и остается основой предубеждения и унижительного отношения властей (престольного чужеродства, уточним) к народу; проунижавшись тысячу лет в условиях беспробудного крепостничества и церковных наставлений, мы и сегодня во многом продолжаем (во всяком случае, готовы продолжать, как мне кажется) унижаться перед потомками варяжских узурпаторов власти, не осознавая (по историческому невежеству, в каком держали и продолжают удерживать нас) того, что делаем. Первопривилегии варяжских князей Рюриковичей перешли затем к Романовым, большевистским вождям, а теперь к реформаторам-демократам, а если, вернувшись в прошлое, пройтись по стезе хижинной, то можно прийти к однозначному выводу, что оно, то есть наше хижинное бытие, не претерпело или почти не претерпело никаких изменений. При первых, а затем и последующих Рюриковичах, как и при Романовых, при большевиках, а ныне при демократах мы остаемся безземельными, а потому бесправными (земля — это власть); при первых Рюриковичах смерды не только не имели права на землю, но и на свое имущество, которое по смерти его владельца отписывалось либо в государеву казну, либо в пользу дворянина-помещика, во все времена жившего и живущего идеей обогащения. Историк Ключевский договорился даже до того, что крестьяне сами на себя надели ярмо крепостничества, что дворяне-помещики не желали этого и разве что выполнили волю крестьян. Такой подавалась и подается ныне наша история, и если бы это был только сочиненный учеными мужами вариант, можно было бы еще усомниться в нем, но, к сожалению, все сказанное о деяниях Рюриковичей, Романовых, вождей большевистской революции и демократического переворота является той реальной действительностью, которая, исходя от престольного чужеродства, сопровождает нас вот уже одиннадцатое столетие, и пока нет даже намеков, чтобы процесс сей, процесс притеснения и ис-

требления славян, когда-либо прекратился; более того, конец двадцатого столетия ознаменовался некой будто бы новой потребностью монархической (все из тех же чужеродных особ) власти; средства массовой информации, особенно телевидение, оказавшееся в руках новоявленных российских промышленных и финансовых магнатов, разными способами, утонченными и неутонченными, то есть прямым зомбированием, распространяют и насаждают среди обездоленных масс идею доброго царя-батюшки (под предлогом конституционной монархии), приглашают в Санкт-Петербург, в Москву и на экраны телевидения потомков Романовых, готовых не только претендовать, но и воссесть снова на российский престол. В довершение ко всему Церковь канонизировала последнего русского императора Николая Второго, прозванного (и заслуженно прозванного) в народе кровавым; именно Николай Второй своим отречением от престола открыл путь сначала буржуазным (проамериканским) реформаторам, а затем пролетарским (немецким) главарям революционного разбоя, погрузив Россию в кровавый хаос гражданской войны, предначертав тем самым истребление крестьянства как опоры державы и уничтожение инакомыслящей интеллигенции. Монархизм — это возврат к пройденному, но кому-то, а по сути все тем же потомкам Рюриковичей, хамелеонно преобразившимся сначала в красных, теперь в демократический триколор, вновь захотелось во дворянство, чтобы русские мужики одевали, обували, кормили и защищали их, русские девки омывали им ноги и ублажали их телеса, как в старину, а потому и идет восхваление той старины, описанной здесь, в которой все безраздельно было отдано во власть престольного чужеродства, должного вроде бы обеспечить (для чего и «призывались» на княжение), но так и не удосужившегося обеспечить в стране «великой и обильной» надлежащего порядка. Но кто же виноват, что в стране как не было (со времен появления Рюриковичей), так до сих пор нет порядка, хотя держава наша по-прежнему «велика и обильна»? Похоже, кому положено разобраться в этом вопросе, либо не хотят (по своей холуйской прислужливости престольным властям), либо не могут, строго надзираемые все той же державной властью, так что монахов, вписавших в «Повесть временных лет» будто бы реально происходившее «призвание» (разумеется, если это было сделано ими, в чем исторические факты заставляют усомниться), — монахов можно понять, ибо они точно знали, что и для чего делали, и чужеземство на великокняжеском престоле их не смущало так же, как и свое, церковное, византийское, православное. Удивляет и настораживает другое, что во всех последующих столетиях иерархи от исторических, философских, теологических знаний лишь популяно повторяли (в очередной раз повторно и я) роковую для восточного славянства фразу: «Страна наша велика и обильна, да порядка в ней нет»; вольно или невольно ученые мужи при этом кивают на народ, вторя известному, устоявшемуся в общественном сознании и дворцовых элит, и хижинной бедноты, мнению, что да, народец все-таки с ленцой у нас и что пока он сам не осознает необходимость порядка, его и не будет, как если бы в бесправии, то есть отсеченный от созидания своей жизни, народ и в самом деле способен что-то предпринять; законы идут сверху, от престолов и престольного окружения, и поскольку законы эти, составляемые и выдаваемые чужеродными властителями, никогда и ни в чем не служили народу, но сочинялись лишь в пользу тронов (почти божественная роскошь дворцов не сама же собой создавалась и создается), то о чем можно еще здесь сказать? Однако в данном случае я говорю не о правителях, вернее, не о плохих и хороших царях (которых не бывает), не о плохих президентах или премьерах (которых тоже не бывает, ибо все они одним миром мазаны), но об ученых мужах, о наших отечественных историках, философах, теологах, которые не могли и не могут не видеть, что не от народа, а от правителей исходят хаос и беспорядки, да и не просто от правителей, а от чужеродных, тысячелетие назад воссевших на российский престол и отнюдь не собирающихся никому уступать его; да, я говорю об ученых мужах, которые, хотя бы уподобившись монахам (те хоть знали цель и шли к ней), встали бы наконец на путь искренности и реализма.

## XIX

Наверное, следует сказать несколько слов о безразличии интеллигенции и народа к разбираемому здесь изречению из «Повести временных лет»; для интеллигенции такое отношение вполне естественно, ибо она всегда жила и живет той придворно-прихлебательской жизнью, какая, если следовать историческим, даже исторически-эпохальным фактам, устраивала и удовлетворяла ее, тогда как для народа такое пренебрежительное молчание — прямой путь к самоисчезновению. Но что такое интеллигенция и что такое народ? Нам представляется, что понятия эти не требуют разъяснений, дескать, интеллигенция — это интеллигенция (интеллект, ум, деятельность), а народ, он и есть народ; однако в этом разделении на умных и простофилю заложена историческая (или, точнее, просматривается), восходящая опять же к Древнему Царству кастовость, а проще — разделение на «носителей духа» и «обладателей плоти», то есть на господ и рабов; по сути дела, закрепощенному народу раз и навсегда отказано в интеллекте, он как был, так и остается «рабочей лошадкой» для поддержания дворцового благополучия (крепостничество, оно ведь не исчезло, а продолжается лишь в новой форме), и в этом как раз и заключена страшная суть нашего трагического бытия. Интеллигенция — это новоявленное дворянство со всеми его атрибутами и поведением в жизни, тот же придворный церемониал (да и не только придворный) с приемами, награждениями, присвоением званий, фестивалями, презентациями, даже балами или, вернее, подобиями балов с дендиевской напыщенностью, щегольством нарядов, острословием, интригами и коварством; все это было уже и в великокняжеской Московии, и в державной России, и при большевиках, а теперь повторяется с новой силой и оставляет впечатление, будто вся эта высокородная элита старается восполнить что-то весьма и весьма важное, что было упущено или недобрано ею в предыдущие (начиная с «серебряного века») десятилетия и столетия. В самый расцвет крепостничества дворцовая жизнь чужеродных правителей и чужеродной элиты, а если точнее, дворцовое благополучие находилось на высшей точке своего величия; чем глуше и беспросветней российское крестьянство погружалось в нищету (и не только крестьянство), тем праздничнее веселились князья, графы, бароны, то есть все то столбовое и нестолбовое дворянство, в свое время поставленное на кормление за одно лишь высокородное (будто бы высокородное) чужеродство (помещик, помещенный), которому никогда не было, нет и не будет дела до народа, ибо интеллект, если таковой и дан господам, то, видимо, лишь для того, чтобы изыскивать способы для достижения своего достатка и ублажения; нынешнее дворянство, особенно деятели искусств, постоянно выпрашивающее у престола дотации на свое содержание (они и лауреаты, и народные артисты, и кавалеры высших государственных наград, и все, все если не звезды, то персоны выдающейся величины, удостоивающиеся покоиться на особо отведенном для них кладбище в центре Москвы), — нынешнее дворянство, именующееся интеллигенцией, элитной интеллигенцией, видя вокруг страдания народа, оставленного без средств существования, брошенного на произвол судьбы (протесты, возмущения, голодовки, физическое и духовное истощение и, как следствие этого беспредела, самый ужасающий с петровских времен мор в России), мало того что обуяно равнодушием к творящемуся в стране беспорядку (думаю, одно это уже должно говорить нам о чужеродстве новоявленного дворянства), но, стремясь узаконить вновь открывшуюся ему дорогу в придворное и поместное бытие, ведет или скорее пытается вести дело к возвращению монархии, на первых порах хотя бы и конституционной. Кремль золотят (как, впрочем, золотят и восстанавливают церкви, монастыри, храмы); в Кремле роскошествуют, барствуют, пируют, а на бескрайних просторах России народ копается в земле, отыскивая всякого рода оружие, оставшееся со времен первой и второй, для нас Отечественной, войн, или брошенные (по чистой случайности, как говорят) в артрхранилищах артиллерийские снаряды (что, однако, крайне небезопасно), чтобы снять с них медные кольца (медные направляющие), сдать добытый металл перекупщикам и прокормиться на полученные гроши; для занятий сельским хозяйством нет ни горю-

че-смазочных материалов, ни техники, но, вместо того чтобы помочь деревне, нарождающемуся фермерству, субсидии отдаются театрам на возрождение, что, разумеется, по-своему важно и нужно, но не первостепенно в разоренной и разграбленной до нитки стране; земные недра — достояние народа — отданы невесте откуда явившимся магнатам, финансы, экономика поставлены под контроль олигархов, зомбирующий механизм, к которому относятся не только СМИ, но и церковь, запущен на полную мощность, так что эти самые средства массовой информации, управляемые финансовыми и промышленными воротилами, претендуют уже не на четвертую (самозваную, никем не избиравшуюся, никем не уполномоченную), а на первую власть, дабы манипулировать общественным мнением. Ситуация эта настолько очевидна, как, впрочем, очевидной она была всегда, но ее лишь не хотели замечать ни в среде академических мужей, ни среди дворянствующей интеллигенции, что, думаю, вряд ли нужны здесь дальнейшие подробности или комментарии; при территориальном величии и обилии богатств (в том числе и людскими ресурсами) в стране как не было порядка, так и нет, поскольку в установлении его, то есть в основательности народной жизни, не заинтересованы смотрящие на Запад наши чужеродные правители. Наверное, среди нынешней интеллигенции, то есть новоявленного дворянства, есть и борцы за народное возрождение, но что могут одиночки, когда, как я уже говорил, СМИ, церковь, просвещение, да-да, наше хваленое просвещение, давно и бесповоротно поставлены на службу теперь уже «демократическому», ставшему еще более чужеродным коренному славянскому люду, элитному высокородству. Возможно, кому-то покажется, что я преувеличиваю, сгущаю краски, однако, господа дворяно-интеллигенты, прозрейте, оглянитесь вокруг и попробуйте в совершенно ином, реалистическом толковании произнести известное, роковое для нас изречение из «Повести временных лет»: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Наверное, для этого нужны Радищевы, Гоголи, Грибоедовы, Толстые, но неужели век наш оскудел подобными талантами? Или великодержавность, перешедшая в тоталитаризм (тысячелетнее воспитание, то есть зомбирование, видимо, дает о себе знать), настолько сковала наше сознание, что мы уже не представляем себя в иной жизни (иной политической, экономической, духовной среде обитания, основанной на миролюбии, добронравии, как это испокон веку велось у славянских племен, а не на чужеродном нам хищническом устройстве бытия), чем эта, какою живем и в какой благодаря тронноисточающим посулам ищем, ищем и не находим даже самого минимального удовлетворения? Я имею в виду народ, простолюдинов, а не дворянокастовую интеллигенцию, живущую по законам дворцового благополучия, дворцового барства, ибо она, эта элитно-высокородная прослойка, всегда была и остается (разумеется, в массе своей) глухой к страданиям народа; она, эта мнящая себя ведущей силой жизни интеллигенция, привыкшая считать свое троннохолуйство высшей формой порядка в державе (дворцового порядка с его интригами, коварством и схватками за богатство, славу и власть), вольно или невольно (но, как говорится, из песни слова не выкинешь) смотрит на народ как на источник невежества, нищеты, разбоя, разврата и разорения; если когда и произносится ею разбираемое здесь изречение из «Повести временных лет», то с тем слащаво удовлетворенным скептицизмом, за которым лежат века элитного высокородства и низость подлорождавшихся и рождающихся смердов-славян. В начале главы я назвал наших новоявленных дворяно-интеллигентов равнодушными к сочиненной будто бы монахами в эпоху Святополка и Ярослава, а скорее научно-продуманной в XV веке учеными мужами версии о «призвании», однако факты говорят, что они, эти дворяно-интеллигенты, как и светила академических знаний, то есть историки, философы, теологи, не просто самопрограммируются в своем равнодушии, но следуют единой тронноустановленной (со дня правления Рюриковичей) позиции всеглобального обмана народа. Мы забываем, что мир, да, весь мир, построен на кастовом распределении благ и ролей; правители обрамлены нимбами богоизбранности (так повелось со времен Древнего Царства, так продолжается и теперь), духовенство, то есть церковни-

ки всех мастей, нашло свой престиж в святости (храмы, церкви, костелы буквально ломаются от этой иконостасной святости), ученые мужи определили для себя статус вещателей истины и всеми силами стараются поддерживать его, изолируясь в макетировании прошлого и будущего нашего бытия, забывая, что жизнь есть естественное проявление природы и что человек в ней по меньшей мере должен обладать естественным, а не рукотворным, не принудительным правом на самопроявление; интеллигенция в этом кастовом распределении тоже очерчена своим кругом престижа и величия, за которым лежит море народной жизни; возможно, я ошибаюсь, но, может, и не ошибаюсь, выдвигая версию о кастовости интеллигенции как о новодворянском образовании, однако давайте исходить из фактов истории, а не из деятельности отдельных личностей, которые на том или ином этапе жизни могут быть, а могут и не быть (как теперь), да и влияние их кратковременное, тогда как человечеству навязана общая (классовая) тенденция развития, и именно она, эта общая тенденция, вгоняет в свое русло и правителей, и духовенство (церковников), и мужей науки, и интеллигенцию. Интеллигенция втекает в это русло с флагом равнодушия ко всему и вся, готовая служить хоть черту, лишь бы самой оставаться в пределах дворцовых и околдворцовых благ, и оправданием или прикрытием для этой некой будто бы аполитичности взято ею равнодушие как индугирующий трафарет для всех прошлых и будущих веков.

## XX

О народе, казалось бы, сказано все, что только можно сказать о нем; но обилие исследовательских работ еще далеко и далеко не раскрывает истинного содержания народной жизни. На Западе простолюдинские массы сравнивают с травой («корни травы»), которая, сколько ни коси и ни вытаптывай ее, растет сама по себе, обновляясь через свою жизнестойкость и покрывая огромные пространства своим великолепием (удобная, да, очень удобная формулировка, а главное, приемлемая для правителей и вроде бы не оскорбительная для людских масс). Но в России не нашлось ничего лучшего, чем заклеить славян смердами, затем крепостными, колхозниками. Хотя различие между формулировками (суть, конечно же, в оценках и отношении к плебсу), возможно, и небольшое, но оно есть, и настолько существенное по политическому, социальному и духовному воздействию, что со временем (а для нас оно вылилось в тысячелетие) у людей западного мира лишь укрепилось достоинство и свободолюбие, тогда как у нас, напротив, были вытравлены (и вытравлены сильно) и достоинство, и свободолюбие, и во многом стремление к основательности жизни; мы оказались под влиянием эстафетно передававшегося от правителей, церковников, мужей науки, интеллигенции равнодушия, приведшего в конце концов народ в состояние полного смирения и покорства. Я отношу свои высказывания не к личностям, а к народу, да, именно к народу, ибо только народ всей своей неисчислимой массой мог и должен был сказать свое решительное «нет» хищническому мироустройству, насаждению фараоновской державности и вандализму — историческому вандализму, — когда у людских сообществ отбиралось и порочилось их свободное, вольное, идиллическое бытие; мог, но за все ушедшие теперь уже в небытие столетия и тысячелетия так и не осмелился выступить в защиту своих интересов, своих естественных прав на жизнь ни в Древнем Египте, ни в палестинских мини-царствах, ни в могучей по тем временам древнегреческой Империи, ни во всемогущем Риме, не говоря уже о Европе средних веков и новейших эпох; с чем это связано, трудно сказать (в конце концов диктаторы не всемогущи, и ссылка на их жесточайшие режимы, мне кажется, не так уж и убедительна, как представляется многим), но некоторый вывод из этого исторического явления все же напрашивается, и заключается он в едином для всех простолюдинов планеты психологическом (эмоциональном, стоящем более на доверчивости, чем на здравомыслии) восприятии и оценках общественного устройства. Что вынуждало древних египтян быть рабами и просителями у себе подобных, но занявших престол безжалостных и бездушных фараонов; что заставляло гречес-

ких илотов покорно сносить над собой власть афинских толстосумов, выходявших на отстрел, будто зайцев, этого бесправного и униженного деревенского люда; что принуждало к такому же покорству римлян, затем европейцев, завоеванных Цезарем, наконец, что заставляло и продолжает заставлять славян (речь идет главным образом о восточноевропейских племенах) выступать просителями (обладая силой слова и дела) у стоящей над ними кучки кремлевских чужеродных властителей? Люди привыкли жалостью к себе, своему безысходно-нищенскому состоянию добиваться хотя бы малейших уступок со стороны правителей, привыкли рассчитывать на милосердие, когда, куда ни обрати взор, кругом только себялюбие, жестокость, рвачество, и никакое выпрашивание в условиях хищнического мироустройства не приносило и не может принести ни личного (для простолюдинов), ни общественного (для простолюдинских масс) благополучия. Механизм классового расслоения, механизм кастового распределения благ, запущенный фараонами Древнего Царства (Древнего Египта), как ни покажется странным, в отличие от многих других исторических явлений жизни работает и сегодня столь же безотказно, как и в древнеегипетские времена, и давно уже воспринимается как некая составная нашего рукотворного бытия. Мы выходим на городские площади и митингуем, чтобы напомнить правителям о своем бедственном положении, словно держатели власти и впрямь забыли о своих прямых обязанностях; мы бежим за границу, чтобы оттуда воздействовать на все тех же правителей, но только понапрасну теряем время, истощаем материальные и духовные силы и вновь приходим к тому же тоталитаризму; все это повторяется с нами в десятилетиях, столетиях, мы входим в мир хищничества с надеждами исправить его и уходим из него с разбитой чашей этих надежд. Разочарование жизнью одних поколений передается другим, следующим за нами, дети наши сызмальства принимают ярмо обреченности отцов и с этим наследственно-эстафетным нищенством вяло, безынициативно отбывают отведенный им на земле срок жизни. Тот, кто захочет оспорить это далеко еще не устаревшее представление о народе, должен будет сослаться на технический прогресс; что ж, прогресс есть, но для каких целей он достигался и достигается и кому служит? Правителям, дворцовой и околodворцовой элите; народ же в массе своей как был привязан к деревням и провинциальным городишкам, то есть как был недвижим, так и остается тяжелым на подъем даже для защиты своих жизненных интересов.

*(Продолжение следует.)*



# Родословное Древо

РАССКАЗЫ\*

## ПОБОЧНАЯ ВЕТВЬ

**П**охоже, началось это где-то в конце 50-х годов. Именно тогда Ксана стала замечать какое-то неожиданное везение и удачу, будто кто помогает ей. Вроде того, к примеру, когда ее ни с того ни с сего вдруг накормили. Это известный поэт С. Ксана стояла возле Дома литераторов, а он как раз выходил оттуда. Она увидела его и говорит:

— Боря, я два дня ничего не ела...

Поэт тогда повернулся и повел ее в ресторан Дома литераторов, набрал ей полный стол всякой еды: салаты разные, котлеты, рыба какая-то под соусом, даже мороженым угостил.

Вообще-то Ксане все время приходилось попрошайничать. Увидела как-то в электричке знакомую писательницу, под села к ней. Та что-то рассказывает о себе, как ей несладко живется, а Ксана выслушала ее и говорит:

— У вас не будет трех рублей?

Писательница смутилась, говорит, денег у нее нет, а вот еды она может немало дать. Ксана и этому рада.

Или в Клубе писателей. Сидит Ксана на антресолях, в нише на диванчике, внизу ресторан, тарелки звякают. Увидит какого-нибудь поэта и за ним:

— Подождите! Послушайте, что я вам скажу! Мне ваши стихи нравятся!

Догонит и денег просит. Теперь с жильем. С жильем Ксана просто измучилась. Нет, комната у нее была, правда, за городом, в Перхушкове. Только хозяйка, у которой она снимала комнату, все время скандалила из-за ее поздних возвращений из Москвы. Поэтому Ксана чаще оставалась на ночь у друзей. Однажды собралась было ночевать у знакомых, а они вдруг возьми и выгони ее без всякой причины, надоела, может быть. Вслед выбросили тетради с ее стихами. Ксана так и ночевала во дворе под их окнами. Потом долго жила в ванной комнате у других знакомых, стихи там писала. Еще был случай — вывели ее. Ночевала она у одного литератора. Литератор хороший, добрый, племянница у него только злая. Литератор сказал:

— Ты видишь, Ксюша, спать негде, я тебе на полу постелю.

А утром приходит племянница и давай убираться, пол мести. И метет метелкой прямо на Ксану, будто не видит ее, будто ее нет вовсе. Так и вымела. А еще однажды попала Ксана к одной старухе. Оказалось — бывшая горничная князей Голицыных. Заплатила ей за жилье, все, как полагается. А старуха на эти деньги напилась и ну скандалить. Все рукописи ее изорвала, а потом и вовсе в драку полезла.

---

\* Окончание публикации своеобразного романа Григория Петрова, состоящего из самостоятельных новелл, объединенных одной темой. Предыдущие публикации см. «Октябрь», 1998, № 9, 1999, № 9 и № 4 с. г.

Ксана даже письмо в правительство писала:

«Уважаемые товарищи! Пишет вам поэт Ксения Н. До войны мои стихи печатали в журналах и газетах. У меня готова книга, написанная белым стихом. Но после войны меня перестали печатать. Говорят, белый стих непонятен массам. Дескать, форма белого стиха больше относится к декадентской западной манере, а не к нашей простой действительности. А белым стихом еще в Киевской Руси «Слово о Полку Игореве» написано. И былины рассказывались. И странники акафисты пели тоже белым стихом. Зарифмованные же стихи создавали скорморохи, люди характера желчного и с недобрый глазом. Сейчас у меня груды стихов и больше ничего нет: ни площади, ни средств к существованию. За городом жить больше не могу — нет денег платить за комнату. Сплю у друзей под роялем, на полу. Физически я работать не могу и письменную работу делать тоже не могу: дрожат руки, и быстро устаю, слабость. Врачи говорят — травматический энцефалит. Да и мысли направлены в сторону стихов, а уж на остальное сил не остается. Свои-то стихи я хотя и медленно, и с трудом, но все-таки записываю. Прошу вас, прочитайте их, пожалуйста. И если они заслуживают внимания, то, может, государство даст мне пенсию. Желаю вам здоровья и сил».

Ответа на ее письмо никакого не было. И вот вдруг — случай. Сидит она как-то на скамейке в садике возле Литературного института. Ксана туда часто ходила сидеть. Перед ней человек какой-то в синем халате, не старый еще, метет дорожку. Пыль во все стороны. Метет и приговаривает:

— Кайся, кайся, окаянный грешник!

Потом вдруг видит Ксана — метла у него из рук падает, а сам он на скамейку опускается и глаза закрывает, вроде как плохо ему. Ксана тогда подходит.

— Вы дворник? — спрашивает.

— Нет, я писатель, — отвечает незнакомец. — Мефодий Антонов. Слышали такого? Теперь уже и не услышите. Книгу мою из плана выбросили.

— Ну это не беда, — говорит Ксана. — Меня вон сколько лет не печатают — и ничего.

Потрогала она его голову.

— Да у вас жар, — говорит. — Вам лечь надо.

Комната Мефодия была здесь же, в здании института, только вход с другой стороны. Отвела Ксана Мефодия в его каморку, уложила в постель. Кровать у Мефодия чудная: в ногах разные металлические предметы подвешены — крышки, кастрюльки, кружки. Тронешь ногой — звенят, как на колокольне. Стала Ксана чаем его поить, Мефодий с боку на бок ворочается, бормочет:

— Ты думаешь, я простой человек, безродный? Ничего подобного!

Вроде как бредит в жару. И опять:

— Ты думаешь, я простой человек? Нет, голубушка! Сам-то я орловский, у меня мать в Орле. Но предки мои важные были!

И достает из-под подушки портрет какого-то господина, выданный из старой книги, — мундир, бакенбарды.

— Кто это? — спрашивает Ксана.

— Действительный статский советник Андрей Иванович Антонов, — отвечает Мефодий. — Чин четвертого класса. По Табелю о рангах Российской Империи соответствует чину генерал-майора! Вот так вот! Это и есть мой предок! Служил в экспедиции заготовления бумаг для государственных ассигнований.

— Очень интересно, — говорит Ксана. — Когда же это было?

— Восемнадцатый век, голубушка, императрица Елизавета Петровна. Вот о нем, об Андрее Антонове, я книгу и написал. Он ведь круглый сирота. Приемная мать — Прасковья Антонова, унтер-офицерская вдова. А крестной матерью-то его, крестной матерью, знаешь, кто был? Блаженная одна, юродивая, Ксения Петербургская.

Ксана не знала, бредит Мефодий или нет. На всякий случай спрашивает:

— Как же это так?

— А вот так, очень просто. Прибегает блаженная к Прасковье Антоновой. «Вот ты сидишь, Прасковьюшка, чулки штопаешь, а не знаешь, что Бог сына

тебе послал! Спешу скорее на Смоленское кладбище, не мешкай!» Кинулась Прасковья из дома, возле Смоленского кладбища — толпа народу. В чем дело? Какой-то извозчик сбил женщину, а она беременная. Тут же на улице и разрешилась от бремени. А сама скончалась. Прасковья жалко новорожденного, взяла к себе. Кто отец, кто мать — так и не узнали даже в полиции. А сирота вырос, вот он — Андрей Иванович Антонов.

И Мефодий толкнул ногой спинку кровати, зазвенели подвески.

— Стало быть, и выходит — блаженная Ксения вроде как крестная ему. Она и потом всю жизнь опекала его. Даже после своей смерти. У меня в книге глава есть, так и называется: «Чудесная помощь».

Ксане очень хотелось спать, но она все-таки просит Мефодия рассказать.

— Ну что ж, слушай, — сказал Мефодий. — Андрей Иванович женился, жена — красавица, дочь у них. Вот полковник один сватается, назначили день свадьбы. Перед этим отец с дочерью поехали на могилу блаженной Ксении, отслужили панихиду, долго молились. И что же вышло? Накануне свадьбы жених отправился в Главное казначейство получить какие-то деньги. Там часовой вдруг усталился на него и тихо так говорит казначею: «Разрешите, ваше благородие, сказать этому человеку несколько слов». Подходит к полковнику и спрашивает: «А ты, братец, как сюда попал?» Полковник так и сел. Оказалось, никакой он не полковник, а беглый каторжник. Часовой этот несколько лет назад сопровождал его как конвойный в Сибирь на каторгу. Тот бежал, зарезал по дороге какого-то полковника, взял его одежду, документы, деньги и явился в Петербург. Так моя прапрабабушка была спасена. Она потом вышла замуж за достойного человека. Оттуда и идет наш род.

Потом Мефодий опять вроде как бредит:

— Ты думаешь, я простой, безродный? Орловский я, но не безродный! Порода у нас!

В этот день Ксана так и осталась в каморке Мефодия, на раскладушке легла. И потом она стала все время жить у Мефодия, не надо было ходить, искать ночлег, кланяться. Такое вот ей везение вышло.

И, наконец, самая главная ее удача. В одном журнале давно уже лежали ее стихи, все никак не могли напечатать. Сколько раз заходила она в редакцию, ей говорят: еще не решили. Однажды как-то приходит она, видит — двое стоят, разговаривают. Один длинный, тощий, другой пониже, с трубкой, усики небольшие. У длинного в руках Ксюшина тетрадка со стихами, Ксана ее сразу узнала. Стала она в сторонке, слушает.

— Чудесно! — говорит длинный и тетрадь ее листает. — Что за стихи! Чудо, да и только! Даже непонятно, откуда что берется.

Усатый трубку раскуривает:

— Вообще-то ведь это совсем разное: стихи и их автор, — картавит он. — Все-таки она, извините, идиотка. Поймите меня правильно. Я в самом высоком значении. Как у Достоевского. Согласитесь, это не то же, что в кухонной ссоре.

— Что поделать? — вздыхает длинный. — Обыкновенная юродивая, как все настоящие поэты.

Ксана тут подошла к ним и говорит:

— Спасибо вам! Спасибо, что так хорошо говорили о моих стихах!

Но это все было раньше. А тут на днях заходит она в редакцию, а ей говорят — будем печатать в ближайшем номере. Ксана даже не поверила сразу. Вышла она из редакции и пошла в Александровский скверик. Там горка у Кремлевской стены, дети катаются, кто на санках, кто на лыжах. Ксана попросила у одной девочки санки и до самого вечера каталась. К Мефодию в этот день она уже не пошла. Заявилась к тому самому поэту С., который накормил ее в Доме литераторов.

— Я сегодня ночью у вас, — сказала она.

У поэта квартира большая, они вдвоем с женой живут. Ну накормили ее, устроили спать на диване. А как улеглись, Ксана и говорит:

— Мои стихи будут в ближайшем номере.

— Поздравляю, давно пора, — отзывается С.

— А до сих пор меня потому не печатали, что я дочь белого офицера.

— Этого еще не хватало! Как же это так? — говорит супруга С.

— Кто мои родители — я раньше не знала, — стала рассказывать Ксана. — Воспитали меня пожилые люди — муж и жена. Помню только, что иногда ко мне приезжала красивая дама, хорошо одетая, и привозила дорогие подарки. Кто эта дама — мне не говорили. Еще помню — привезли меня в какой-то лесной скит. Народу много. Священник поднял меня на руки и перекрестил мной всех собравшихся. А однажды ночью является ко мне офицер в белогвардейской форме и говорит: я твой отец. Меня, говорит, на юге убили, под Кореневкой, там и похоронен. Я, говорит, думал, что ты умерла, а ты, оказывается, жива-здорова. Фамилия его Петров. А у меня-то фамилия совсем другая. Как же теперь быть?

— Ты что же, разговаривала с ним? — удивляются хозяева.

— Он ко мне часто приходит, — отвечает Ксана. — рассказывает о себе. Их три брата было Петровых. Старший, Григорий, — священник, за границу уехал после революции. Младший, Петр, здесь остался. А отец мой — средний, Иван Спиридонович, в Добровольческую армию ушел.

На другой день хозяева уезжали за город, в Дом творчества, Ксану оставили дома смотреть за квартирой. Устроилась она в кабинете С., думала поработать над своими стихами, а в кабинете полным-полно книг. Стала она в книгах рыться, одна интересней другой. И вот под конец наткнулась на старую, совсем ветхую книгу, в руках рассыпается. Ни начала, ни конца в книге нет, названия тоже. И язык какой-то странный. Вроде буквы русские, а ни одного слова разобрать нельзя. Но в книге главное — картинки. Стала Ксана их рассматривать, открывает одну страницу, другую — да так и оторопела. Потом подошла с книгой к зеркалу и долго себя разглядывала.

— Нет, этого не может быть! — сказала она.

Снова смотрит то в зеркало, то в книгу.

— Это же ведь я!

И точно — если приглядеться, на картинке в книге полный ее портрет. Не-высокая, плотная, лицо круглое, скуластое, глаза широко расставлены.

— Прямо чудеса! — пожимает Ксана плечами. — Как я сюда попала?

Стала она смотреть дальше, еще больше удивляется. Вот вроде ее отец, офицер Добровольческой армии, фуражка, шинель, очень похож. Вот мальчик в белой панамке. Пригляделась Ксана — это же ее сын Кирюша, в детском доме он сейчас под Москвой. Вспомнила она, как выписали ее с Кирюшей из роддома, а идти ей некуда. Спасибо людям, нашли место в Доме матери и ребенка в Рязани. Через год вернулась она в Москву с Кирюшей на руках. Завернула Кирюшу в одеяльце, пошла на Тверской бульвар. Села на скамейку, сидит. Тут ее увидел один известный художник. Его студия напротив бульвара была. Привел к себе, с женой познакомил. Жила Ксана у них какое-то время. Художник все рисовал ее портрет. А потом жена его позвонила в Союз писателей, Кирюшу устроили в Дом ребенка под Москвой. Ксана каждую неделю к нему ездит.

Смотрит Ксана картинки в книге, сама думает: «Господи, как во сне!» Вот она в Киргизии. Это когда война началась. Там она ходила по дорогам, собирала милостыню. Местные называли ее дервишем, потому как она всегда бормотала себе под нос стихи. Они делились с ней лепешками и вяленой бараниной. Вот Ксана в горном кишлаке, вот в Ташкенте. Там известные поэты из Москвы приютили ее, вымыли, накормили. А как кончилась война, отправили в Москву.

Были в книге и другие картинки. Какая-то женщина в кофте, босая. Вроде как нищая бибурушка. Ксана долго смотрела книгу и все никак не могла прийти в себя. А ночью к ней снова явился отец.

— У меня книжка есть, где ты нарисован, — сказала Ксана.

Показала она отцу картинку, тот говорит:

— Это как раз под Кореневкой и было. Там Сорокин со своими отрядами вышел к нам в тыл. Едва не перерезал Добровольческую армию пополам. Вот

смотри — конница Сорокина несется на наш третий взвод. Я этот момент хорошо помню. Поручик Вербицкий, командир взвода, командует: «По кавалерии пальба взводом!» Потом неожиданно: «Отставить! Поручик Петров, два наряда вне очереди!» Оказывается, я поспешил, испортил стройность ружейного приема. А конница совсем рядом, пыль, топот. Вербицкий снова как ни в чем не бывало, спокойно так: «По кавалерии пальба взводом!»

— Ну и что? — спрашивает Ксана. — Получил свои два наряда?

— Не успел. Меня же убили там, под Кореневкой, — отвечает отец.

Потом смотрит другую картинку — бой идет.

— Знаменитая атака дроздовцев — без выстрела, во весь рост. А у нас в строю — гимназисты, реалисты, кадеты. Дети Добровольческой армии. Мальчики, по пятнадцать лет. Мы их звали «баклажками». Одного, помню, убили, на груди нашли крестик серебряный и тетрадь со стихами.

Через неделю, когда хозяева вернулись, Ксана спрашивает:

— Что это за книга у вас?

— А кто его знает? — отвечает С. — По наследству досталась. Дед у меня чернокнижник был. Все кудесничал и ворожил. Все говорили — с дьяволом знался. Вот от него и книга.

Когда через день Ксана уходила от них, она взяла книгу с собой. «Зачем она им? — думала она. — Она им не нужна». Пришла к Мефодию и показывает книгу.

— Я тоже человек не простой, — говорит. — Про меня вон в книге нарисовано.

Мефодий посмотрел картинки:

— Все ясно. Гадательная книга прошлого века. По ней предсказывали будущее.

Он полистал страницы, увидел рисунок босой женщины.

— А я знаю, кто это! Это Ксения Петербургская и есть, блаженная. Крестная моего предка.

— Не может быть! — говорит Ксана.

— Да точно она! Вот тут дальше рисунки. Это же Петербургская сторона. Где блаженная жила. Вот пожалуйста — Тучков мост, Крестовский перевоз, Каменноостровский проспект. А это вот улица Андрей-Петрова.

— Как это — «Андрей-Петрова»? — удивляется Ксана.

— Вот смотри — на рисунке свадьба. Молодая дворянка, красавица с русской косой, двадцать три года, Ксения Григорьевна. И придворный певчий в чине полковника, Петров Андрей Федорович. Поет в церковном хоре при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Поженились они и жили на этой самой улице. Дом у них свой был. А любили уж они друг друга так, что и передать невозможно. Только жили они в своем счастье совсем недолго. На четвертый год Андрей Федорович заболел «жаром» и сгорел. Вот на рисунке похороны. Ксения идет за гробом в мужнином платье. Камзол, кафтан, картуз — все мужнино. И всем говорит: «Нет, Андрей Федорович не умер. Умерла Ксения Григорьевна. А Андрей Федорович здесь, перед вами, и будет жить вечно». «Молитесь за упокой души рабы Божией Ксении, — говорила она на кладбище. — Бедный Андрей Федорович! Осиротел, один остался на свете!» С тех самых пор она не откликалась на свое имя, только — Андрей Федорович. Народ, конечно, сходил посмотреть на нового Андрея Петрова. Вот и прозвали улицу — Андрей-Петровой... А здесь Ксения раздает свое имущество бедным, — перелистывает книгу Мефодий. — Нижнюю комнату в их доме снимала та самая унтер-офицерская вдова Прасковья Антонова, приемная мать моего предка. Так Ксения выкинула штуку — весь дом оставила вдове. Вот она уходит. Живет подаяннем, но больше копейки никогда не брала.

— Надо же такое! — удивляется Ксана.

— Что поделаешь? Чудит баба. Знакомые даже к начальству покойного Андрея Федоровича обращались — мол, образуйте ее. А начальство ничего сделать не может. Дескать, Ксения Петрова в здравом уме, имеет полное пра-

во... Вот она сама раздает милостыню нищим. Себе оставляла только на баню. Дает копейку какому-то оборванцу. А на копейке «царь на коне». «Далеко на этом коне ускачешь», — говорит она оборванцу. Тот стал торговцем, первым богачом в Петербургской стороне. А это вот Сытный рынок.

— Какое смешное название, откуда? — спрашивает Ксана.

— А это из-за Ксении. Лавочники уже знали — стóит блаженной утром зайти в лавку, взять что-нибудь, торговля пойдет бойко, большой барыш ждет. А если мимо пройдет, не заглянет, то впору вовсе лавку закрывать, удачи не будет. «Нет, братец, не зайду к тебе, ты покупателей обвешиваешь, бедных обижает». И вот лавочники стали друг перед другом стараться — кто больше бедным поможет. Ну и стал рынок прозываться Сытным...

А на этом рисунке знакомая блаженной Ксении. Девица хоть куда, все при ней. Только и мечтает о муже. Приходит к ней Ксения: «Эх, красавица! Ты тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте! Беги скорей туда!» Ну девица, понятно, бежит. Видит — похоронная процессия. Молодой вдовец рыдает. А как могилу засыпать стали, упал без чувств, прямо на руки этой девице. Познакомились они, через год поженились...

Вот блаженная на улице. Как раз Сочельник Рождества Христова. Ходит она, плачет и приговаривает: «Пеките блины! Пеките блины! Скоро вся Россия будет блины печь!» Никто понять ее не может. «Что ты плачешь, Андрей Федорович?» — спрашивают. А двадцать пятого декабря известие: скончалась императрица Елизавета Петровна...

Вот на этой картинке — Смоленское кладбище, церковь строят. Блаженная Ксения по ночам тайком кирпичи носит. Все беспокоилась, чтобы фундамент хорошо укладывали. А потом уже, перед самым восстанием декабристов, наводнение было сильное. Кладбище все разрушено. Памятники повалены, надгробные плиты сдвинуты, деревья вырваны с корнем. Кресты с могил унесены аж на Выборгскую сторону. Этими крестами в морском госпитале всю зиму печи топили. А Смоленская церковь устояла, одна только и уцелела. Вспомнили тогда, как блаженная говорила: «Много придется вынести, но устоит, ничего...»

А это часовенка над могилой блаженной Ксении. Надпись там: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души. Аминь».

Допоздна Ксана с Мефодием смотрели книгу. Ксана осталась снова жить в каморке у Мефодия. Днем она ходила по городу, а вечерами они с Мефодием пили чай. Приходит она как-то домой, радостная такая.

— А я на Палашевском рынке была, — говорит.

Мефодий смотрит — у нее с собой ничего нет, никакой сумки.

— Что же ты купила?

— Там всего столько — глаза разбегаются. Все, что там было, — теперь мое.

Ксана села и тут же стала выводить какие-то каракули на бумаге. Но это были не рисунки, а буквы, слова — новое стихотворение. Долго она писала, с трудом, потом прочитала вслух. Мефодий только и сказал:

— Захотели от собаки кулебяки...

Однажды Ксана никуда не пошла, сидит дома. На улице жара, дышать нечем, все окна нараспашку. Вдруг звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» — думает она. Открыла, в дверях женщина незнакомая — валенки, шуба, на голове платок пуховый.

— Скажи, голубка, где здесь Пирогов живет, я ишу его...

— Сторож, что ли? — спрашивает Ксана. — Это соседняя дверь, за углом.

— А ты что же, голубка, так и живешь в чужом углу? Своего нет? Ну ты не печалься! Будет тебе шилье!

А как женщина ушла, тут только Ксана спохватилась: как же так? На улице жара, а на ней зимний наряд? Пошла она тогда в соседнюю дверь к Пирогову, спрашивает: заходила ли к нему женщина в валенках и шубе? Тот смотрит на нее как на помешанную.

— Нет, — говорит. — Никакой женщины не было...

А через неделю зашла Ксана в Союз писателей — денег у кого-нибудь занять под будущий гонорар, а ее все поздравляют: комнату ей дают в коммунальной квартире. Ксана только и сказала: «Я так и думала». Она теперь уже знала, кто ей помогает все последнее время. Вечером она говорит Мефодию:

— Это все блаженная Ксения Петербургская. Это она комнату мне сделала.

Мефодий сбегал на улицу, принес вина, сели они за стол.

— Ну с новосельем! — говорит он.

Потом снова книгу с картинками берет.

— Блаженной Ксении тоже вот дом предлагали. Жалели ее все. Как же так? Без своего угла, без домашнего уюта. А она от дома отказывалась. «Зачем мне без нужды страдать? Я и так счастлива как только можно. И всем довольна».

Ксана взяла у Мефодия книгу, долистала до последней страницы.

— Какая жалость, что нет конца! Знать бы, что будет дальше...

Она еле дождалась утра, помчалась по своему новому адресу. Комната ее просторная, светлая. С соседями познакомилась — немолодая уже пара, муж с женой.

— Это мне Ксения Петербургская комнату сделала,— сказала она им.— Была такая блаженная.

— Как же, как же! — подхватил сосед Лука Матвеевич.— Мы же ленинградские, блокадники. Хорошо ее знаем.

Позвали они Ксану к себе чай пить, за столом Лука Матвеевич рассказывает:

— В блокаду Ксения спасла нас. Является вдруг женщина к нам в белом платке, в руках посох. Говорит: «В следующую ночь не ночуйте дома». И пропала. Вечером мы с супругой ушли к ее сестре, в другой район. А дом наш в ту ночь разбомбил взрыв, прямое попадание. Даже убежище, где люди сидели, накрылось. Я потом все время ездил на Смоленское кладбище, благодарил блаженную. А она только платочком белым в окошко часовни махнет.

Супруга Луки Матвеевича поддакивает:

— Блаженная Ксения всем помогает. Дочка у нас болела, это еще до войны. Пришла я к часовенке, прошу батюшку — отслужи ты мне, Христа ради, панихидку по рабе Божией Ксении да помолись за болящего младенца. Батюшка мне: «А ты сама хорошенько молись. По вере и помощь получишь». Я глупая, неученая, молиться не умею. «Господи, спаси, Ксеньюшка, помоги!» — больше ничего и не придумала. Взяла песочек с могилки, маслица из лампадки. Песочек под подушку девочке, маслицем ее смазала — гляжу, доченька и поправилась. Батюшка мне сказал: «Дивен Бог во святых Своих!»

Все эти дни Ксана ходила по знакомым и говорила:

— Вы знаете, мне комнату дали. Я теперь Кирюшу своего из детского дома заберу. Надо ему в комнате детский уголок сделать. Игрушек закупить. Вы уж дайте денег сколько можете.

Из знакомых кто денег ей давал, кто старые игрушки. Поэт С. отдал ей елочные украшения и большого Деда Мороза, правда, сильно потрепанного и с оторванной рукой. Литератор, у которого она жила в ванной комнате, отдал детскую кроватку и стульчик. Другой литератор, у которого племянница с метлой, дал одежду детскую. Вот детский уголок и готов. Ксана украсила его зелеными ветками.

В эти же дни ездила Ксана в лечебницу для душевнобольных, где муж ее жил, Афанасий Андреевич. Он сразу после войны туда угодил, как Кирюша родился. Привезла она ему пакет молока и немного сахарного песка, грамм двести. Афанасий Андреевич как раз сидел обедал. Молоко он тут же выпил, смеется и говорит:

— А молочко-то, мама, святое... Молочко-то святое...

На столе перед ним тарелка с водой, в которой плавают капустные листья. Вместо хлеба — несколько картофелин. Берет он пакет с сахаром и высыпает в тарелку, угощает Ксану:

— Ешь, мама. Капустный компот...

— Я комнату получила,— говорит Ксана.

Афанасий Андреевич смотрит на нее ясными глазами:

— Ищите родственности между предметами. Привыкайте решать задачи.

Ксана опять ему:

— Комнату я получила. Кирюшу из детского дома заберу.

А Афанасий Андреевич будто не слышит, все так же в глаза ей глядит:

— Падежи надо знать. Падежи бывают спьяну, сдуру и смолоду.

Под конец, как Ксане уходить, она спрашивает:

— Ты в чем-нибудь нуждаешься? Что тебе принести?

Афанасий Андреевич сразу вскочил, встал, как солдат навтыяжку, руки по швам:

— Ни в чем нужды не имею!

Смотрит на него Ксана: стройный, плечистый, борода черная окладистая — красавец да и только. На шее будильник на веревке болтается.

В тот же день Ксана написала письмо в Ленинград настоятелю Смоленского храма с просьбой отслужить панихиду по рабе Божией Ксении. Отправила письмо, а через день ночью женщина какая-то к ней является — платок белый на голове, в руках палка. Коса из-под платка сбоку свисает. Взяла она в руку ветку зеленую и говорит:

— Вот зелена ветка, а скоро завянет...

Ксана гостью сразу признала по картинкам в книге и спрашивает:

— Вы — Ксения Петербургская?

А женщина отвечает:

— Оставьте, не трогайте покойницу! Зачем вы ее тревожите? Что она вам сделала, прости Господи? Перед вами — Андрей Федорович!

Тогда Ксана стала показывать гостье картинки в книге. Та увидела портрет императрицы Елизаветы Петровны, оживилась:

— Простая была, ох, простая! Соберет своих фрейлин и девушек на лужайке и давай хороводы водить с песнями. Потом расстелят ей ковер в тенёчке, она спать ляжет, а фрейлина мух веером отгоняет. Зимой — игры святочные со своими девушками. На масленицу съела по две дюжины блинов. А то еще на годовом обеде лейб-кампанцев явилась в капитанском мундире и выпила перед всеми рюмку водки.

На другой картинке — красавец в пышном костюме.

— Разумовский это, Алексей Григорьевич. Тоже певчий императорской капеллы. Не гордый был, простой. Вино только очень любил. А как выпьет — палкой дерется.

Потом наткнулись они на картинку, где блаженная Ксения в лохмотьях, в рваных башмаках. Ксана тогда поглядела на гостью и говорит:

— У меня платье есть. Мне его подарили, а я не ношу. Возьмите себе.

— Подари тому, кто без него несчастен,— отвечает гостья.— Кому оно радость принесет.

— А вам какую радость принести? — спрашивает Ксана.— Я бы очень хотела.

— Люби ближних своих. Когда я вижу доброго человека, я радуюсь больше всего. Коли ты вправду жалеешь меня — не делай никому зла. Только злоба людская мучит меня.

Гостья еще немного посидела, а потом ушла. Ночью Ксане все время снился ее сын Кирюша, каким она его видела последний раз — в белой панамке, в маечке. А под утро слышит она — будто плачет кто в комнате. Пригляделась — так и есть: отец.

— Что же ты плачешь? — спрашивает Ксана.

— Вас всех жалко, женщин,— отвечает отец.— Сколько у нас в полку женщин было! Все погибли! Княжна Черкасская, фельдфебель,— под Великокня-

жеской. Баронесса Бодэ, прапорщица,— под Тихорецкой. Рядом со мной ездила конная разведчица Ада, кубанская казачка-гимназистка. Тоже убили. Никого не осталось...

И отец вдруг запел каким-то слабым, надтреснутым голоском:

— Не плачь о нас, Святая Русь,  
Не надо слез, не надо,  
Молись о павших и живых,  
Молитва — нам награда.

А утром Ксана не проснулась. Ночью у нее сделался паралич сердца. Когда соседи вызвали «скорую», врачи констатировали смерть. Хоронили Ксану какие-то посторонние люди от Союза писателей, был на кладбище Мефодий. Когда опускали гроб в землю, он видел какую-то женщину в белом платке с палкой в руках, но она близко к могиле не подходила, стороной прошла.

Кирюша так и остался в детском доме. Он окончил школу, собирался поступать в университет. А тут как-то вдруг получает он открытку — приглашают в Дом литераторов. Ксане как раз исполнилось бы шестьдесят лет, был вечер ее памяти. Народу собралось много. На сцене стоял тот самый портрет Ксаны, который рисовал художник с Тверского бульвара, когда Ксана у него жила с Кирюшей. Один за другим выходили на сцену разные люди. Поэт С. сказал:

— Ксюша была лучшим поэтом. Ей не нужны были дача, автомобиль и другие блага. Она жила только поэзией.

Литератор, у которого Ксана ночевала на полу, а племянница вымела ее веником, тоже выступал:

— Мы не оценили Ксюшу по-настоящему,— сказал он.— Любили ее, жалели, но цену ей не знали. Все мы жили скудно. Но у каждого все-таки были дом, обед, постель. А у нее что? И только теперь я понял, что она не могла бы жить по-другому. Ибо она — истинный поэт. Благополучная и устроенная жизнь не для нее.

В конце вечера на сцену вызвали Кирюшу, все ему хлопали. Поэт С. подарил ему только что вышедший сборник стихов матери.

Все эти дни у Кирюши бывал Мефодий. Все искал какую-то книгу с картинками, но не мог найти — книга пропала, как в воду канула. Осенью Кирюша сдавал экзамены в университет, но не прошел по конкурсу. Мефодий, когда пришел к нему, даже испугался.

— Лица на тебе нет, смотреть страшно. Ну подумаешь — не поступил! Велика беда!

Кирюша только головой качал:

— Теперь мне на будущий год в армию. Могут забрать в любой момент.

— Ну и что? Вернешься из армии и поступишь.

Мефодий глядел на Кирюшу, глядел и забрал его с собой, повез в Орел, к своей матери. Дорбóгой он все время рассказывал Кирюше о каком-то своем предке — Андрее Ивановиче Антонове.

— Я про него книгу написал. Все никак издать не могу. Вот это настоящая беда! А тут подумаешь — не поступил!

Домик в Орле у его матери маленький, на самой окраине. Василиса Власьевна обрадовалась гостям, сразу за стол усадила.

— А у нас в городе старец блаженный объявился, юродивый,— рассказывает она.— Из Москвы приехал. Его, говорят, органы безопасности в психушке сколько лет держали, боялись, что к нему люди ходят. А теперь выпустили. Он к нам и приехал, говорит: Орел дан ему в удел. Зовут — Афанасий Андреевич. Кто он такой, есть ли у него родные, семья — неизвестно. Не говорит. У Алины Фирсовны живет. Она рассказывает: не ест ничего. Купит батон и клюквы. Клюкву потолчет, зальет водой и ест батон с этим морсом. Народ к нему валом валит. Пророк он святой. Что скажет, то и сбудется. Всё знает.

— Будто уж и пророк! — хмыкает Мефодий.— Верно, шарлатан какой-нибудь. Людей только морочит.

— Господь с тобой! — машет на него рукой Василиса Власьевна.— Такие слова говорит! Вот в прошлом году перед Пасхой была я у племянницы своей,

у Тамары. Мы с ней к большим праздникам берем из храма стирать пелены, тюлевые занавески. Тут старец входит. Тамара как раз тюль гладит. Старец подходит к Тамаре, покрывает ей голову пеленой, как невесту фатой, берет за руку и ведет вокруг стола, сам поет: «Исайя, ликуй!» И все на одну ногу прихрамывает. И что вы думаете? Тамара в том году замуж вышла, и муж у нее хромает, на войне ногу повредил.

На другой день утром Кирюша с Митрофаном вышли на улицу, а перед домом, на другой стороне, старец ходит. Голова под картузом полотенцем обвязана, на шее половик-дорожка намотан.

— Что ему здесь надо? — спрашивает Кирюша.

А старец взад-вперед ходит и что-то с земли все время подбирает — склянки какие-то, коробки спичечные, обрывки газет, спички обгоревшие. Все карманы его набиты этим мусором. Тут какие-то две женщины к нему бегут:

— Афанасий Андреевич! Афанасий Андреевич! Подождите!

Старец выпрямился, смотрит на них.

— Ну что вы кричите: «Афанасий! Афанасий!»? Афанас — свиней пас, Катерина — бычка!

Женщины подбежали к нему, одна из них, вся в веснушках, говорит:

— Я вас спросить хочу, Афанасий Андреевич. Сегодня ко мне должны приехать, забрать вещи. Я не знаю: отдавать мне их или нет?

Старец смотрит в сторону, бормочет:

— Когда метешь хату, мусор по углам не оставляй.

Женщины переглянулись между собой.

— Не пойму я что-то, Афанасий Андреевич, — говорит конопатая.

— Да где уж понять? Ваш язык турецкий: каля-баля, а мой — польский: дзень добжий. Отдавай, отдавай, все это — навоз.

— А у меня бабушка, — говорит вторая. — Не знаю, что с ней делать. Ничего не помнит, лежит только да бранится. Врачи говорят: рак.

Старец голову кверху поднял:

— Рак — не дурак, в Царствие Небесное ведет не за так. Поправится она, здоровой будет...

Тут Кирюша с Мефодием подошли, Мефодий и спрашивает:

— Для чего это вы спички обгорелые собираете?

Старец повернулся к нему:

— Ишь ты какой! Глаза, как тормоза, нос, как паровоз, губы, как трубы!

Потом вынул из кармана горсть обгорелых спичек, отобрал десять штук, обвязал их ниткой и Кирюше протягивает:

— Храни. Здесь десять заповедей. Сколько сохранишь, столько и получишь...

Говорит и так пристально смотрит на Кирюшу. А конопатая как вскрикнет: — Ой, таракан! У вас на воротнике таракан, Афанасий Андреевич!

И руку к воротнику тянет.

— Не убивай, не убивай! — отскакивает от нее старец. — Пусти в траву, пусть пасется...

Тут ребята какие-то из-за угла выскочили и давай в старца грязью кидать.

— Что вы делаете? — кричат обе женщины.

А старец подхватился и бросился прочь, ребята за ним, свистят, улюлюкают.

— И точно, шарлатан какой-то, — говорит Кирюша. — И грязный, будто с помойки.

А на другой день, только позавтракали, со стола убрали, глядь — на пороге старец. Василиса Власьевна растерялась:

— Никогда к нам не заходил... Что это с ним?

А старец вынимает из кармана морковку и Кирюше протягивает:

— Не забывай меня... Помни...

Василиса Власьевна засуетилась, стала на стол снова собирать. Так и бега-ет из комнаты в кухню и обратно. Старец сел возле стола, на нее смотрит:

— Что вы так часто в дверь ходите? Дверями не шутят. Сюда вход свободный, а отсюда нет. На той стороне знак: ижица...

Василиса Власьева выставила на стол все, что было: яйца, картошка отварная. Старец тарелку с яйцами от себя отодвигает:

— Покойников не ем. Яйца надо под курочку класть.

Потом отщипнул кусочек картошки и стал растирать между пальцами. Достает из кармана клочок бумаги и приклеивает его картошкой к двери. И опять к Кирюше:

— Меня скоро не будет. Не забывай меня, помни.

— Что это вы, Афанасий Андреевич! — всполошилась Василиса Власьева. — Вы еще людям нужны...

— Нет, мама, — отвечает старец. — Это вы еще поживете. А я, мама, уже со своей смерточкой наговорился. Один раз она мне отложила, я сказал, что не готов еще. А теперь она мне уже не отложит.

Сказал и вновь к Кирюше обращается:

— Ты не переживай. Не быть тебе в армии. Примут тебя, куда поступить хочешь...

Кирюша так и обмер: «Откуда он знает?» А старец поднимается со стула, ходит по комнате и газеты старые собирает. Потом поджег их и в печку сует:

— Телеграмма Господу! Телеграмма Господу!

И опять к Кирюше:

— Поступишь ты, поступишь...

И ведь что самое удивительное? Когда Кирюша вернулся в Москву, в тот же день встречается он на Моховой возле университета преподавателя, который у него вступительные экзамены принимал.

— А ты почему не на занятиях? — спрашивает преподаватель.

— Так меня же не зачислили, балла не добрал.

Преподаватель как-то странно посмотрел на него и сказал:

— Приходи завтра в деканат.

На другой день в деканате Кирюше объяснили, что вышло досадное недоразумение. В приемной комиссии оказалось несколько нечестных преподавателей, которые получали от поступающих деньги и ставили им завышенные баллы. Преподавателей этих разоблачили, была даже статья в газете. Теперь списки зачисленных в университет пересмотрены и Кирюша зачислен.

Вышел Кирюша в коридор как во сне. И тут показалось ему, будто в самом конце в дверях стоит какая-то странная женщина — платок белый на голове, в руках палка суковатая. Из-под платка коса русая свисает. А как подошел он ближе — никого нет.

Дома в этот день соседка зашла поздравить его с поступлением. И дает ему небольшую бумажную иконку.

— Это блаженная Ксения Петербургская.

Посмотрел Кирюша — вроде бы лицо знакомое. «Уж не эта ли Ксения виделась только что в коридоре? — думает он. — Очень похожа». А соседка рассказывает:

— Супруг мой, Лука Матвеевич, совсем было с пути сбился. Пить стал, деньги все пропивает. Извелась я вконец. И вот ночью слышу голос: «Езжай к иконе!» «К какой иконе? Никуда я не поеду. Денег нет». «К иконе с косицей, там и мощи». Ну, поняла я, что икона Ксении Петербургской. Да разве добраться мне из Москвы в Ленинград? А через день звонок телефонный: «Приезжайте за деньгами. Ваша сестра из Швеции переслала вам немного денег». А у меня и правда сестра в Швеции. Деньги она редко присылает, сама полубезработная. Назавтра снова звонок, тот же голос незнакомый: «Есть одно место в автобусе на паломническую поездку в Псков через Ленинград». Всю ночь мучилась в автобусе. Как приехала в Ленинград, сразу в храм Смоленской иконы Божией Матери, отстояла службу. Потом к часовне блаженной Ксении. Дождь, сырость. Промокла вся, озлябла. Кто-то эту бумажную иконку мне сует: «Обойди три раза вокруг часовни, читай молитву на обороте». Припала я к часовенке со слеза-

ми. А как вернулась, Лука Матвеевич в тот день ни капли в рот. Запретила ему, значит, блаженная... Вот, возьми иконку,— закончила соседка.— В память о твоей матери. Блаженная Ксения очень ей помогала, комнату вот эту сделала. Может, и тебе будет помогать.

А на будущий год весной получает Кирюша письмо. Смотрит обратный адрес — город Орел. Василиса Власьева пишет, что старец Афанасий Андреевич скончался на Пасхальной неделе, в пятницу, в день иконы Божией Матери «Живоносный источник». Алина Фирсовна рассказывала: утром принес воды, нагрел ее, вымылся, надел чистое белье и лег в постель. Алина Фирсовна говорит ему: «Как вам не стыдно в такую погоду дома лежать? На дворе тепло, черемуха цветет, а вы лежите...» А старец ей: «Ваше до вас дойдет, а мое — до меня дошло». Потом снял с себя крестик и просит переслать его в Москву, тому гостю, который приезжал. Так и сказал — Кирюше.

«Алина Фирсовна принесла мне этот крестик,— заканчивает Василиса Власьева.— Посылаю его тебе, Кирюша».

В конверте действительно лежал крестик. Кирюша взял его, так с тех пор и носит на себе под рубашкой. И каждый раз, как снимает рубашку, вспоминает старца Афанасия Андреевича. «Чудной был старик, Господь с ним...»

### БЛАЖЕН МУЖ

Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых.

*Псалом I*

Всякий раз, как Мефодий Антонов приходил к Кирюше, он только удивлялся.

— Ты как блаженный, честное слово! — говорил он.— Чисто юродивый. Все люди как люди! Набивают кошельки кто как может. Один ты дурачок! Сидишь день-деньской в своей конуре, носа не высунешь. Ты погляди, что вокруг творится. Время-то сейчас какое! Деньги из воздуха можно делать.

Кирюша в ответ только занавески на окнах задергивал.

— Как же выйти? В городе — чума. Разве можно?

Соседи Кирюши, Сильвия Карповна и Лука Матвеевич, поддакивали Мефодию.

— И что хорошего? — ворчит в коридоре Сильвия Карповна.— Как сыч сидит. Одно развлечение — ученики. Да и то — что они платят? Гроши! Если уж давать уроки, надо богатых искать — банкиров, коммерсантов. Объявление напечатать — «Уроки английского для богатых».

Выйдет Кирюша на кухню чайник на плиту поставить, там — Лука Матвеевич.

— Матушка твоя покойная, Ксения, все бывало про отца своего рассказывала, про деда твоего. Он в Добровольческой армии сражался, белый офицер: Петров Иван Спиридонович. А вообще-то родительница твоя говорила: род Петровых от Петра Великого идет. Знатный род. А ты — хуже нищего, побираться впору. Никому не нужно твое высшее образование! Дела делать надо!

— Так ведь чума же,— бормотал Кирюша.— По всей России зараза!

Однажды Мефодий приходит, у Кирюши девочка какая-то, школьница.

— Это Инга, моя ученица,— говорит Кирюша.

Занятия у них уже кончились, Инга как раз домой собиралась. Надела плащ, берет со стула зонтик.

— Какой красивый зонтик! — говорит Мефодий.— Это кто же тебе подарил?

— Сама купила,— отвечает Инга.

— Будто бы? — сомневается Мефодий.— Откуда же у тебя деньги?

— Заработала. У нас в школе все бизнесом занимаются. Мальчики, к примеру, что придумали? Заваливают строительным мусором и всяким хламом про-

езды во дворе. Новые жильцы на машинах прикатывают, а к дому подъехать не могут. Ну ребята тут как тут. Плати деньги — расчистят дорогу. А Вовка Курилин у нас в классе и того лучше. Сколотил компанию, и ходят они по квартирам, где старушки одинокие. Принесут пакет молока и говорят, что в школе теперь решили помогать одиноким. Девочки будут убирать квартиру, а мальчики приносить продукты. Записывают заказ, получают деньги и исчезают.

— Это же жульничество! — возмущается Мефодий.

— Не жульничество, а бизнес, — отвечает Инга. — Теперь другие понятия. А Сенька Харитошкин тут как-то влип. Пришел на рынок, сел у входа, сидит. Сам в рубище, на груди табличка: «Помогите инвалиду детства». Какая-то женщина нагнулась над ним: «Чем же ты болен?» «Парализован я, ноги не ходят». — Она ему деньги протянула, он голову поднял, а это его мать. Сенька, конечно, бежать.

— Ну а ты как заработала? — спрашивает Мефодий.

— На спичках. Весь месяц трудилась. Каждый день покупала в магазине спички, раскладывала по пустым коробкам, чтобы в два раза больше было. Потом продавала в школе, в старших классах. Там все курят.

— А что же, родители тебе не дают денег?

— Господи, какие еще родители? Жалкие научные работники, нищие!

Ушла Инга, Кирюша дверь за ней закрывает, сам бормочет:

— Чума в столице, чума! Гибнет Россия!

Другой раз Мефодий застал у Кирюши еще одного ученика. По виду — студент, одет скромно, куртка какая-то потрепанная.

— Жду вас завтра, Миша, — говорит Кирюша.

— Завтра не могу, Кирилл Афанасьевич, — отвечает Миша. — Завтра я в ларьке.

— Вы что же, в ларьке торгуете? — интересуется Мефодий. — Для чего же вам английский?

— В ларьке — это временно. Я в большой бизнес хочу. А там без языка трудно.

— И чем же вы хотите заниматься?

— Господи, да чем угодно! Я уже все перепробовал! Одно время с приятелем водку делали. Он на спиртзаводе работал, доставал спирт. А я — этикетки, пробки и прочее. Потом вступили в какой-то инвестиционный фонд. Собрали приличные деньги. И придумали: взяли и «обанкротились». Продали все подчистую — и деру. И так несколько раз. Денег было навалом. Я квартиру купил, аппаратуру. Теперь вот в ларьке сижу. Правда, не столько продаю, сколько покупаю. Самая работа ночью. Ночью чего только не приносят за бутылку! Кассеты, магнитофоны, шапки, даже золото. А сейчас меня приглашают в один концерт. Денег у них навалом. Они под видом лома гонят за кордон натуральный сталяпрокат.

— И вы не боитесь? — спрашивает Мефодий.

— Если честно, то боюсь, — отвечает Миша. — Бизнес, я вам скажу, дело опасное. Вот у меня случай был. Юбилей мой отмечали в ресторане. Возвращаюсь ночью домой, поднимаюсь на свой этаж. Подхожу к двери, смотрю — коробка какая-то подозрительная на полу. Прислушался — тикает. Я, конечно, скорее вниз, вызвал милицию, саперов. Коробку вскрыли, а там — часы дорогие с дарственной надписью. Оказалось, подарок от моих друзей. А уж страху я натерпелся!

Посмеялись они тогда над Мишей, а через неделю — событие уже нешуточное. Звонит Мефодий в Кирюшину квартиру, открывает соседка, Сильвия Карповна, вся заплаканная, опухшая.

— Беда у нас, — говорит. — С супругом моим, с Лукой Матвеевичем.

И рассказывает такую историю. Три дня назад выходит Лука Матвеевич на улицу рано утром — очередь на почте занять за пенсией. А у них там во дворе Дом культуры бывший, после ремонта — как новенький, на фасаде со стороны улицы надпись из лампочек: «Ночной игорный клуб». Смотрит Лука Матвеевич —

у заднего подъезда машина стоит, а к ручке дверцы пакет полиэтиленовый привязан. Ну он, конечно, пакет потрогал: что в нем, интересно? Только ничего разобрать не успел — сразу взрыв. Очнулся уже в больнице. Одного глаза нет, второй — едва видит, лицо и руки в ожогах. До сих пор из тела дробинки вытаскивают. Пакет-то этот, оказывается, владельцу машины был назначен.

Мефодий утешил Сильвию Карповну, как мог, сам к Кирюше. У Кирюши в этот день новый ученик — коротышка, сам лысый и усы пышные.

— Знакомьтесь, Феона, — говорит Кирюша.

Феона протягивает руку, сам смеется:

— Женатый холостяк...

— Как это? — удивляется Мефодий.

— Да все очень просто! — еще пуще веселится Феона. — Год назад остался я без работы. Мы с женой совсем пали духом, прямо хоть в петлю. Долго думали, потом, наконец, решились. Дает моя Рита объявление в брачной газете за доллары. Пошли к ней письмо. Мы выбирали, выбирали, выбрали какого-то Александра из Германии. Владеет недвижимостью в разных городах. Три месяца Рита с ним переписывалась. Потом продала мамины сережки, цепочку, кольцо обручальное — и в Германию. Так и пошло. Она теперь «фрау», раза три-четыре в год приезжает сюда. Привозит кучу вещей, одежду всякую, посуду. Муж ее только удивляется: сколько же у нее родственников в России, что она столько возит.

— Станный у вас бизнес, — качает головой Мефодий.

— Это что! — опять смеется Феона. — Вы не знаете, какие бывают дельцы! Чем только люди не зарабатывают! Один, я знаю его, у себя на дачном участке кладбище устроил. Убили вы, положим, человека, а труп девать некуда. А дачник тут как тут. Платишь ему, он забирает труп и закапывает его у себя, без всяких следов. Ни креста, ни могилки...

— А что? — говорит Мефодий. — Деньги не пахнут...

— Другой мой приятель ядами торгует. Химик-технолог. Мы с ним вместе учились, токсикологию три года изучали, биохимию теплокровных. Официально его яды против насекомых: тараканов, клопов. Но он-то знает, для чего у него берут. Конкурента, к примеру, убрать надо. Яды у него на спиртовой основе. Никакое вскрытие не обнаружит. Все списывается на недоброкачественные напитки. Вы же знаете, сколько у нас сейчас поддельной водки, сколько отравлений!

Кирюша стоит рядом, слушает, только вздыхает. Посмотрит на Мефодия будто с укором: «А что я говорил?»

Был другой случай. Забегает Мефодий по дороге к Кирюше, Сильвия Карповна дверь открывает:

— У Кирюши женщина...

Мефодий заглядывает в комнату, там и правда — блондинка какая-то, крашенная вся.

— Вы знаете, Кирилл Афанасьевич, — говорит она, — у меня сейчас денег с собой нет, заплатить нечем. Но я могу помочь вам — снять порчу, сглаз, отвести тоску.

Мефодий входит тогда в комнату и спрашивает:

— Вы что же, колдунья?

— Я — ясновидящая, — отвечает блондинка. — У меня магический салон. Услуги на выбор. Помогаю, к примеру, беременным женщинам. Снимаю порчу, чтобы ребенок не родился уродом. Или можете про родственников своих и близких заказать. Чтобы я их во сне увидела. А потом вам все передам, что от них узнаю. Интересно же знать, как там, в другой жизни. Недавно вот один коммерсант просил про свою умершую жену. Я вызвала ее ночью, разговаривала с ней. А как стала ему рассказывать, с ним плохо. «Все точно, — говорит. — Это она!»

— Нет, — говорит Кирюша. — Нам пока ничего не надо...

Проводил он блондинку, занавески на окнах, как всегда, задергивает.

— Ты что же, Мефодий, и теперь не веришь, что в России чума? Не боишься заразы? Вот она, гибель!

— Да какая зараза? — отмахивается от него Мефодий. — Какая гибель? Пользоваться надо, ловить момент! Шел бы ты к нам в фирму! Деньги будешь лопатой грести!

Дело в том, что этим летом к Мефодию неожиданно пришла удача. Сколько лет маялся он без постоянной работы, измучился вконец; кому сейчас нужны литераторы? А тут вдруг два его приятеля, с которыми он в школе учился, Ахромейко и Волдырев, зовут его в фирму. Им-то как раз писатели и нужны. Раньше они работали в историко-архивном управлении при Министерстве обороны. Занимались обработкой всяких военных документов, писем участников войны. А потом взяли и открыли собственное дело — издательскую фирму. Стали принимать заказы на составление личных биографий. Всем новым богачам теперь хочется иметь свое художественное жизнеописание. Фирма процветает, деньги текут рекой.

Ну а в самом конце лета пошли и другие удивительные события. В августе получает Мефодий письмо из Орла, от двоюродной сестры Тамары: приезжай на свадьбу Сени. Раньше в Орле жила мама Мефодия, он там часто бывал. Теперь мамы в живых нет, одна сестра двоюродная с сыном Сеней. Ну делать, конечно, нечего — надо ехать.

А на вокзале, когда Мефодий ждал поезда, он увидел знакомое лицо — девочка Инга, ученица Кирюши. Сидит на скамейке, рядом старушка какая-то, наверное, бабушка. Старушка все сует Инге маленькую книжицу с крестом на обложке. Инга отталкивает бабушкину руку, даже ударила ее. Бабушка заплакала, глаза платком вытирает. Какая-то женщина рядом не выдержала, стала утешать старушку. А потом вдруг спрашивает:

— А вы не хотели бы жить со мной на даче? У меня хозяйство, одной трудно.

Старушка уставилась на нее, понять не может, а Инга сразу встрепенулась: — Ой, да заберите ее! Таскается всюду за мной! Куда деть — не знаю!

— Правда? — обрадовалась женщина. — Вы не думайте, я не просто так. Я вам за нее деньги дам...

Вынимает она тут из сумки пачку денег, и начинают они с Ингой торговаться. Старушка сидит между ними, то на одну посмотрит, то на другую. Тут подошел поезд, и Мефодий не видел, что было дальше.

И вот только он приехал в Орел, не успел еще толком у сестры устроиться — все и началось. Письмо из Москвы приходит — от Кирюши. Мефодий даже испугался: не случилось ли чего? Кирюша писал, что последнее время стал замечать за собой какие-то отклонения. Будто затмение ума. Прошлое мешается с настоящим, все переплетается, ничего не разобрать. Какая-то болезненная игра воображения. Кирюша даже ходил к психиатру. Врач долго разговаривал с ним, потом сказал: «Все ясно. Обычная психастения. Навязчивые представления, расстройство памяти. Это скорее всего наследственное». В конце письма Кирюша приписал: «Между прочим, Петр Яковлевич тоже страдает нервным расстройством».

«Господи, какой еще Петр Яковлевич?» — недоумевал Мефодий. Он убрал письмо Кирюши и почти забыл про него — своих забот хватало. Сестра Тамара не давала ему покоя со своим Сеней. Извелась она с ним, прямо беда. Не может его пристроить куда-нибудь. Одно время он вроде был при деле. Знакомый Тамары открыл частное предприятие — ювелирную мастерскую. Тамара упростила его взять Сеню ночным сторожем. Мастерская преуспевала, от заказов отбоя не было. Все новые дельцы. Кто заказывает каминные подсвечники, кто картину из камня в рамке из мореного дуба. Один банкир заказал четки из слоновой кости. И тут словно черт подтолкнул Сеню. Там возле мастерской базар небольшой был. Вот Сеня и предложил торговцам не увозить товар на ночь, а складывать до утра в мастерской. Почти три месяца получал хорошие деньги. А потом будто кто сглазил. Одного из торговцев забрали в милицию за пьяную драку. Весь товар его остался у Сени. Утром является хозяин, а в мастерской коробки какие-то с консервами, макаронами, черт знает с чем. Сеню, конечно, выгнали.

Чем он с тех пор не занимался! Одно время нищим был. Наденет тряпье и стоит возле коммерческой палатки, милостыню клянчит громко так, противно. Покупатели, конечно, к этой палатке не спешат. Продавец гонит его, а Сеня возвращается. И, только когда заплатят ему, уходит совсем, к другой палатке.

Потом новое дело. Каждый день стал приходиться на рынок со своей табуреткой. Вешал табличку: «Посидеть одну минуту — 10 рублей». Желающих было много, особенно женщины с сумками. Платили любые деньги, чтобы посидеть несколько минут. Потом, правда, какие-то здоровые парни выгнали Сеню с рынка. Тогда он другое придумал. Стал вытаскивать из почтовых ящиков в подъездах газеты и журналы и продавать их возле магазина совсем дешево. А на кладбище собирал на могилах надгробные украшения — вазочки, венки — и продавал их тут же, у входа. Тамара сначала ничего не знала, а как узнала, заставила его всё бросить.

И вот теперь этот Сеня надумал еще и жениться. Тамара видела его несколько раз с какой-то девицей. Лохматая, грязная, как побирушка. Потом уже стороной узнала — беженка она из Душанбе. У них в Орле, на окраине города, поселок временного проживания для переселенцев. Сенина невеста, как Тамаре сказали, оттуда, из поселка. Рассказывает Тамара, сама плачет. Мефодий утешает ее, как может.

И вот посреди всех этих забот вдруг одно за другим стали приходиться письма от Кирюши. Чуть ли не через день. У Мефодия уже целая папка накопилась. Ему даже пришла в голову мысль — издать эти письма отдельной книгой в своей фирме. Он уже и название придумал: «Письма к Мефодию». Ему так эта мысль понравилась, что он снова стал перечитывать Кирюшины письма.

### *Письмо первое*

Спешу сообщить тебе, любезный друг Мефодий, что меня, наконец, представили московской знаменитости — Чаадаеву Петру Яковлевичу. («Вот откуда Петр Яковлевич», — вспомнил Мефодий предыдущее письмо.) Живет он на Басманной решительным затворником. Никого не принимает, ото всех бегаёт. Если случится выйти из дома, надвигает на лоб шляпу, чтобы не узнали. Увидит знакомого и бежит прочь. Тоже, верно, боится чумой заразиться. Он мне сказал при первой встрече: «Москва — это Некрополь, город мертвых».

Смотрел я на Петра Яковлевича и только поражался: какая же это знаменитость? Рассказывали — раньше это был блестящий офицер, первый танцор на балах. Его так и звали — «Красавчик Чаадаев». Государь прочил его к себе в адъютанты. А тут передо мной старик лысый, лицо бритое, кожа какая-то желтая. Нигде не служит, всем недоволен. Чин скромный — гвардии ротмистр. Денежные дела запущены, весь в долгах. Флигель, где он живет, в полной ветхости. Опекунский совет по третьей закладной пустил с торгов его имение. Если бы не помощь брата — неизвестно, на что бы ему жить. Докторам надоел своими капризами. Жалуется на запоры и геморрой. Говорит: ревматизм в голове. Профессор Альфонский везде рассказывает, что басманный философ просто несносен — что называется «ни в короб, ни из короба».

Я спросил Петра Яковлевича: откуда у него такая хандра, апатия? А он мне: это, говорит, роковое действие русской атмосферы. Влияние темных сил, которые властвуют у нас надо всеми, от высших чинов до последнего бродяги.

Несколько лет назад Петр Яковлевич опубликовал в «Телескопе» некое «Философическое письмо». У России нет ничего в будущем, писал он. В прошлом — лихоимство и грабительство. В настоящем — казнокрадство и взяточничество. Истинно русский патриотизм сейчас — в неприятии России, какая она теперь есть, с ее язвами и пороками. Шум тогда вышел изрядный. В Москве только и было разговоров, что о «чаадаевской истории». Все на него ополчи-

лись! Клеветник! Враг России! Требовали выслать его, арестовать! Зовут не иначе, как «Лысый пророк». Между нами говоря, его до сих пор многие считают помешанным. Так и говорят: место ему в желтом доме. Одна знакомая дама на днях говорит: «Этот дурак Чаадаев совсем спятил. Будто бы заказал свой портрет и велел, чтобы непременно в наручниках». Пригласили его тогда же к московскому обер-полицейстеру, где объявили указ императора Николая Павловича о признании его умалишенным. Повелевался медицинский надзор, ежедневные посещения полицейского лекаря.

А он так с тех пор и не успокоился, знай твердит свое. Ежедневный быт наш так хаотичен, что мы похожи больше на дикую орду, нежели на культурное общество. Взгляните вокруг, говорит. Какое безобразное зрелище! Нет ничего налаженного, прочного. Все разрознено и нелепо. (Как верно все, как правильно.) И дальше: Россия — отрицательное поучение человечеству. Грустное историческое недоразумение. Какое будущее ожидает народ, высшие классы которого проникнуты глубоким растлением, утратили национальное чувство и религиозное сознание? Наше будущее подобно пустыне. Оно мертво. Впереди — полное исчезновение русской культуры. Духовный паралич. Материальный интерес вытеснит все. Земное благополучие, богатство заменят религию. Большая ошибка считать безграничную свободу непременным условием развития. Надо искать не свободу, а Царство Божие. Я спрашиваю Петра Яковлевича: что же это такое, Царство Божие? «Это не общее благоденствие,— отвечает он.— Это внутреннее состояние человека. Слияние его с Божеством».

Говорят, что в последние дни геморроидальные припадки Петра Яковлевича начинают проходить.

### *Письмо второе*

А знаешь, дорогой Мефодий, кто свел меня с Петром Яковлевичем? Ни за что не догадаешься! Некто Петров Осип Афанасьевич. Да, да, представь себе — мой предок по материнской линии, что-то вроде прапрадеда. Он вообще-то живет в Петербурге, в Москве бывает наездами. Здесь он всех знает, все знают его: писатели, поэты, артисты. Хотя основное его занятие — оперные арии, но он талант на все руки. Он и стихи пописывает, и рисует. А уж на язык остер — не приведи Господи! Ему приписывают стихи, посвященные князю Щербатову, московскому генерал-губернатору:

Какой же учредить ты думаешь закон?  
 Какие новые установить порядки?  
 Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,  
 Воров перевести и посягнуть на взятки?  
 За это не берись; остынет грозный пыл  
 И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;  
 Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил,  
 Ведь это с молоком мы матери всосали.

Сам о себе он рассказывает забавные истории. Будто бы, к примеру, император Николай Павлович заказывает ему свой портрет. Остался очень доволен работой и приказывает выдать художнику золотые часы с бриллиантами. Когда же Осипу Афанасьевичу часы вручили — бриллиантов на них уже не было. Узнал об этом государь и говорит: «Вот видишь, как у нас крадут! Но если бы я стал по закону наказывать всех воров моей империи, не хватило бы Сибири! А Россия превратилась бы в пустыню, стала бы Сибирью!»

Другой анекдот от моего предка. Николаю Павловичу что ни день докладывают о хищениях. Повсюду, по всей империи, одно и то же — все новые и новые хищения. И вот как-то после концерта Осипа Афанасьевича во дворце государь, будучи растроган музыкой и пением, говорит певцу: «Мне кажется, во всей России только двое не воруют — ты да я». Каково?

### *Письмо третье*

Забыл тебе сказать, что еще раньше Осип Афанасьевич познакомил меня с другой любопытной личностью: Печерин Владимир Сергеевич. Дворянин, сын полковника. Только что из Берлина, живет на Тверском бульваре, в трактире «Германия». Жизнь ведет аскетическую, питается исключительно хлебом и оливками. Когда мы с ним сошлись, его первые слова были: «Я расстался с гнилым Западом, таким чистым и удобным, чтобы вернуться в эту грязь милой родины». Твердил он только одно: скорей назад, в Европу! Я спрашиваю: отчего так? Что его гонит? А он говорит, будто все время слышит голос: «Прочь из России! Что ты тут делаешь? Здесь нет будущего!» Я, говорит, хочу бежать из России, чтобы сохранить человеческое достоинство. В России живут лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные. На челе русских напрасно искать отпечатка их Создателя.

В Москве повсюду повторяют афоризмы Владимира Сергеевича. Тютчев Федор Иванович передавал мне его слова: мол, русская история до Петра Великого — сплошная панихида, а после — одно уголовное дело. И ведь верно — вокруг только и слышно, что о злоупотреблениях. Председателя департамента управы благочиния Косинского награждают чином действительного статского советника. Министр внутренних дел Перовский хлопочет о нем перед государем: Косинский — бриллиант среди чиновников. Когда же открылось, что Косинский украл в управе 156 тысяч рублей серебром, государь сказал: «Поистине знаток в бриллиантах».

Или министр финансов Канкрин Егор Францевич. Его так и называют: фокусник, русский Боско. Дунет в одну руку — ассигнации, плюнет в другую — облигации.

Осип Афанасьевич тут же рассказал анекдот про некоего полицмейстера в городе Вятка, где он был проездом. Полицмейстер этот накрыл шайку воров. Забрал себе награбленные деньги, а воров приказал сечь. Секут их, а он все спрашивает: где деньги? Те ничего понять не могут. Наконец, один не выдержал, кричит: «Виноваты, прогуляли деньги!» «Ну то-то,— говорит полицмейстер.— Давно бы так. Меня не надуешь». «Ну уж точно, ваше благородие,— говорит вор.— Где нам! Нам у вас надобно учиться!» Мы все много смеялись, а Владимир Сергеевич сказал, что никакие реформы России не помогут. Всякие реформы в России — это то же, что стараться высечь огонь из куска мыла.

Владимир Сергеевич в свое время блестяще окончил университет в Петербурге, филологический факультет. Один из выпуска со степенью кандидата. Место ему хорошее предлагают еще и теперь — библиотекарь при университете. Я опять его спрашиваю, еще раз: отчего бы ему не остаться здесь навсегда? Говорит: «Я бегу из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать — чума никого не щадит». Это его подлинные слова! Каково? И этот о чуме! Выходит, не так уж я не прав! Может быть, теперь ты мне поверишь, Мефодий?

На днях Владимир Сергеевич отбывает, навсегда ли, вернется ли — не знаю...

### *Письмо четвертое*

Я тут все думаю: отчего же так? Два умнейших человека судят одинаково — не видят будущего за Россией? И Чаадаев, и Печерин... И вот случай: еще одна московская примечательность — Иван Яковлевич. Содержится он в Преображенской лечебнице. Привезли его из Смоленска лет двадцать тому назад. Сначала держали в подвале на цепи вместе с буйными. Потом перевели в отдельную палату. И повалил к нему народ. Человек до ста каждый день. Дошло до того, что стали пускать к нему по билетам за двадцать копеек.

Если верить рассказам, Иван Яковлевич и впрямь как помешанный. В палате своей никогда не садится на стул. Либо лежит на полу возле печки, либо стоит. В руках всегда булыжник. Наберет на улице всякого мусора: камешки, кости, осколки бутылочные, — и давай толочь. Перемешает с песком и отдает слугителям. Ест без ложки, прямо руками. Сольет всё в одну кастрюлю, будто помои, перемешает и ест. Принесут ему фрукты — он ими стены натирает. Угостят табачком — посыпает им голову.

Но тут интересно другое. Что бы он ни предсказывал — все в точности так и сбывается по его словам. Чистый пророк! Лапоногов, известный богатч, задумал дом строить. Никак только не мог участок земельный выбрать. Приходит к Ивану Яковлевичу, спрашивает: «Сколько мне земли купить?» А Иван Яковлевич отвечает: «Три аршина». И точно — через день Лапоногов скончался от удара.

Осип Афанасьевич рассказывал мне про своего приятеля Кирасирова. Была у Кирасирова невеста Мария. Вот он и посылает к Ивану Яковлевичу записочку: «Благословите на брак с рабою Марией». Вечером приносят ему ответ на той же бумажке: «Не с Марией, а с Анной». Дома у Кирасирова все только смеялись: свадьба с Марией давно уже решена и назначена. Но только прошел месяц и как-то так само собой вышло, что свадьба все-таки расстроилась. А через год Кирасиров женился на другой, которую звали Анной.

Вот к этому человеку и привел меня Осип Афанасьевич, к Ивану Яковлевичу. Народу в комнате много, везде мусор, натоптано. В углу низко молится странница с растрепанными волосами, рядом с ней девушка молоденькая. В другом углу под образами большой высеребрянный подсвечник со свечами. Иван Яковлевич лежит на полу, белье грязное. Сам лысый, глаза раскосые, как у калмыка. Хотел я к нему подойти, вопрос свой задать, а он от меня отворачивается, яблоко моченое сосет. Осип Афанасьевич говорит мне: «Ты ему записку напиши». Взял я у него листок и написал: «Что ждет Россию в будущем?» Через какое-то время послушник Ивана Яковлевича возвращает мне мою бумагу. Стал я читать, ничего понять не могу — сначала какие-то пустые слова: «Без працы не бенды колацы». И дальше: «Ничего не спасет... Лавочки и торговцы... Это — Россия... Москвы не будет... Торжище будет, одно большое торжище... От нетленного света бранный свет питается... Нет света нетленного... Будут одни торговые ряды... Один Китай-город... Шайка грабителей станет держать в руках всю Россию... Для других — голод и нищета... Еще — холера и чума... Идет холера на брнную землю... Ждите холеры...»

Дальше я уже ничего не мог разобрать — сплошные каракули.

### *Письмо пятое*

В Москве еще одна новость — француз, маркиз де Кюстин. Прикатил из Петербурга вслед за Осипом Афанасьевичем. А уж Москву честит, только держись! Что она ему сделала? Говорит: издали Москва кажется созданием сильфов и эльфов. Вблизи же, в подробностях, один громадный торговый балаган, беспорядочный, плохо устроенный. Осип Афанасьевич тут же подхватил: «Издали лепота, а вблизи — слепота». Снаружи все богато, продолжает маркиз. Пышно, великолепно. А под этим — самое дикое варварство. Ведь какой первый признак всякой цивилизации? — спрашивает. Облегчение материальных условий жизни. Так вот в Москве они чрезвычайно тяжелы. Осип Афанасьевич только хохочет. «Россия сейчас — как товары наших фабрикантов, — говорит. — Вещь красивая, отлакированная, отполированная, а при употреблении рассыпается».

Маркиз этот де Кюстин — странная личность. Разъезжает по России, все высматривает. Титулованный отпрыск древнего рода, аристократ. Отца казнили на гильотине по приказу Робеспьера. А он всё какую-то истину ищет. Стремление к правде, говорит, неизвестно в России. В России всё — один обман. Драв-

ственная анархия, свобода беззакония. Правосудия нет и в помине. Справедливость в России — не более чем исключение из правил. Всё пристает ко мне: «А где ваш средний класс? Покажите мне его! Нет у нас среднего класса! А ведь он основная сила общества! Без среднего класса народ — стадо, охраняемое собаками. Толпа, именуемая народом».

Мы сошлись с ним на Девичьем поле, у монастыря. Был праздник Воздвижения, народное гуляние. Шатры и палатки с вином прямо возле кладбища. Пахнет пивом, кислой капустой, сапогами смазными. Маркиз только морщится — не принялся еще. Может, потому он так и честит русских, прямо на все корки, что не принялся еще. Воровство, говорит, укоренилось в нравах русских. Воры живут с совершенно чистой совестью. На лицах их безмятежный покой, способный обмануть даже ангелов. Осип Афанасьевич и тут со своим словом: «А знаете, как в народе говорят? И Христос бы крал, кабы руки ему не прибили». Маркиз хохочет до упаду, потом продолжает: никаких дел с русскими иметь нельзя. Вероломство дельцов ужасающее. Плут на плуте, никто никому не верит. Компаньоны не уверены в добросовестности своих сообщников. В других странах разбойники держат данное слово, соблюдают свои законы. Даже в воровских делах нужна потребность своего рода честность. Русские же дельцы не имеют ничего святого.

Постоянные изменения денежного курса, отсюда множество обманов. Ни от кого вы не услышите точного слова, ясного и четкого обещания. И эта неопределенность всегда на пользу кошелькам толстосумов. Везде путаница, лживость.

Правительство маркиз тоже кроет почем зря. Правительство, говорит, ничего не стыдится, потому как делает вид, будто ни о чем не ведает. Вот и ломает комедию. Сколько уловок, обманов, хитростей, чтобы скрыть явное грабительство! Среди чиновников честность так же смешна, как глупость. Такая страна рано или поздно должна погибнуть.

Надо сказать, что Осип Афанасьевич совершенно сошелся с маркизом. Мой певец только и подпекает французам: «У наших правителей никаких правил. Не сегодня-завтра тебя законно ограбят и пустят по миру! Можно принять меры против моровой язвы, но против распоряжений правительства никаких мер нет!»

Когда маркиза укоряют: для чего такие обличения, мол, нельзя выносить сор из избы, — Осип Афанасьевич всегда на его защите: «Хороша же будет изба, если сор не выносить...»

В Москве в эти дни большие приготовления — ждут государя Николая Павловича на Бородинские торжества. Повсюду иллюминация, цветы, украшения. В Бородине ожидается закладка памятника Багратиону, после чего грандиозное зрелище — Бородинское сражение, как на театре. Осип Афанасьевич мне сказал по секрету, будто сам Николай Павлович будет командовать «французским» корпусом, который атакует наш редут, но под огнем русских пушек отступает и уже не может идти дальше на Москву. Со всей России свозят ветеранов войны, стариков. Маркиз говорит: «До чего же в России любят пышные и пустые зрелища! И это когда на каждом шагу бесправие и произвол. Поистине — пир во время чумы!» Маркиз, однако, не захотел ждать императора в Москве, спешил выехать восвояси. Я взялся проводить его. А тут перед самым отъездом Осип Афанасьевич сообщает мне, что к Москве идет холера. И показывает письмо, где ему пишут, что холера уже перебралась из Астраханской губернии в Саратовскую. Мы с маркизом тем не менее выехали. По дороге везде видели, как оцепляют деревни, учреждают карантин. Народ ропщет, понять ничего не может, то здесь, то там мятежи. Я все же решил дальше не ехать, распрощался с маркизом и повернул обратно. Проехал несколько верст, ямщик останавливается: застава! Нескольо мужиков с дубинками охраняют переправу через речку. Я стал было расспрашивать их, но никто толком не знает, для чего они тут. Говорят — не велено никого пускать. Я дал им серебряный рубль, они перевезли меня и пожелали многие лета.

Самое же неприятное, что теперь, когда я уже вернулся домой и пишу это письмо, чувствую сильное недомогание. Желудок расстроен, жар, лихорадка. Посмотрел в зеркало — язык обложен белым налетом. Уж не заразился ли я?

Мефодий читал письма и только удивлялся: что за фантазия у Кирюши, какое воображение! Ему не терпелось скорее в Москву, а тут Сенина свадьба все откладывалась и откладывалась. Денег-то ни копейки. Наконец молодые все же расписались, а вечером дома — скромное угощение, какое Бог послал. Невеста за столом все рассказывала про свои мытарства. Как война между таджиками началась, как в соседнем доме всю семью русскую вырезали, как все русские кинулись прочь из города. А попробуй оформить проездные документы, выправить нужные бумаги через посольство или консульство! Месяцами люди давятся в очередях. А тут какой-то кооператив переселенческий предлагает свои услуги. Платишь им деньги — они вывозят в Россию. Предупреждают только: в дороге будут грабить. Тогда беженцы замуrowали себя в вагонах и до самой российской границы не подавали признаков жизни. Привезли их сюда, в Орел, разместили в вагончиках дощатых на окраине. Обещали построить жилые дома, магазины, мастерские по производству стройматериалов. А есть нечего. Заливали кипятком полстакана муки, размешивали, чтоб комков не было, — вот и обед. Одежду какую-то из Голландии привезли — фуфайки, пальто. Все поношенное, истрепанное. А потом кооператив куда-то пропал, нет его больше. Беженцы остались сами по себе. Статуса вынужденных переселенцев им не дают. Ни пособия, ни ссуд, ни льгот — ничего. Как хочешь — так и живи. Спасибо, вот Сеня взял ее к себе, а другим там хоть помирай.

— Ты теперь не будешь мучиться, — говорит ей Сеня.

Тут все стали кричать «Горько!» А потом взял слово какой-то дядя Миша. Кем он приходился Тамаре — никто не знал, но он поднялся и сказал:

— Сейчас всё пишут про репрессии, лагеря. Я сам — бывший узник. В шестьдесят третьем осужден по сто второй статье. Пятнадцать лет лагерей, Свердловская область. Так вот могу сказать, что в тех лагерях жили лучше, чем сейчас при демократии и свободе. Нас хорошо кормили, в бараках было тепло и уютно. Через десять дней водили в баню. А главное — нам вовремя платили за работу. Я на лесозаготовках зарабатывал двести рублей в месяц. Как освободился, привез домой сбережения. А сейчас что? Вот и вымирают люди...

— Ох, не говори, дядя Миша! — подхватила Тамара. — Мрут, как мухи. Дом-то мой, сами видите, на краю дороги. Я как выгляну в окно, только и вижу все одно и то же — несут кого-то на кладбище. За этот месяц покойников десять пронесли. Брызгалова помнишь? — обращается она к Мефодию. — Замерз в своем доме. А Долгорожев? Этот от голода помер. Потом еще Капустина, старушка. Отравилась каким-то продуктом. Ну а Оглоблева просто-напросто убили. Склад он сторожил...

Все опять стали кричать: «Горько!» А как свадьба отошла, Мефодий скорее в Москву. Приехал — и сразу к Кирюше. Дверь ему открыл какой-то человек — лицо все изрытое, будто после оспы, через глаз повязка черная. Мефодий его сразу не признал, потом взгляделся — Лука Матвеевич, сосед.

— А Кирюша в больнице, — говорит Лука Матвеевич. — Скоро месяц, как увезли.

Тут и Сильвия Карповна в коридор выходит.

— Заболел Кирюша, заболел. У нас в квартире после него дезинфекцию делали. Мы все перепугались: не иначе, думаем, холера. Видели бы вы его — краше в гроб кладут. Глаза запали, щеки ввалились, нос торчит острый. Сам бледный и весь в поту. Я его за руку взяла, а у него все пальцы в складках, как у прачки.

Вернулся Мефодий к себе, весь вечер письма Кирюшины перечитывал, спать лег поздно. А ночью явился к нему сам Кирюша, да странный такой. Ви-

дом, как Лука Матвеевич,— повязка черная через глаз, все лицо в пятнах. Мефодий ему говорит:

— Ты знаешь, я хочу твои письма издать отдельной книгой. У нас в фирме напечатаем.

А Кирюша отвечает ему как-то странно:

— Как в Писании сказано? Не сиди в собрании нечестивых... Будь, как дерево при потоках вод... Принесешь тогда плод, и лист твой не завянет... А нечестивые, как прах... Возметутся ветром с лица земли... Не устоят нечестивые на суде... И путь нечестивых погибнет.

А наутро, только Мефодий встал — телефонный звонок: Кирюша из больницы вернулся. Говорит: врачи не нашли никакой холеры. Мефодий, конечно, сразу к нему, даже завтрак не стал, так — чаю попил. Приезжает — Кирюша на кухне. Сильвия Карповна бульоном его кормит. Лука Матвеевич вина принес — отметить Кирюшино возвращение. За столом Кирюша рассказывал:

— Со мной в палате один чудак лежал, тракторист. Им несколько месяцев зарплату не платили. Он тогда что придумал? Является в контору с каким-то ящиком под мышкой, на голове сетка. Открывает ящик, вытряхивает его, а там — пчелы. Конторщики все опухли от укусов. Подали на него иск за хулиганство. А он возьми и заболей. По всему телу какие-то фурункулы кровяные, гноятся. Пчелы, что ли, какие были заразные? И вот вечером он мне это рассказывает, утром же я его окликаю, а он неживой. Перевезли его в подвал, в морг. А в морге его ограбили. Ночью какой-то воришка (думают, что из санитаров) залез через форточку и украл костюм дорогой, в котором жена тракториста собиралась его хоронить. Милиция потом все ходила на ближайший рынок, искала одежду, пахнущую формалином.

— Это ничего,— говорит Лука Матвеевич. — Главное, что ты выбрался.

Мефодий теперь навещал Кирюшу чуть ли не каждый день. Кирюше становилось все лучше и лучше, румянец снова появился. А к зиме он и вовсе поправился, снова стал уроки английского давать. Ученикам своим он говорил:

— Вы знаете? Я чуть холерой не заразился. Представляете? Вот было бы смеху...

### «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

«Взыщи нас погибающих, Пресвятая Дева...»

*Тропарь, глас 4*

С этими семейными портретами, что и говорить, прямо чудеса в решете. Еще когда дедушка был жив, Даня не раз слышал от своей матери, Ульяны Алексеевны:

— А уж картин у деда видимо-невидимо. Вся комната заставлена. Семейные портреты, весь род Петровых.

А уж потом, когда дедушку похоронили, Ульяна Алексеевна всякий раз, как собирает Даню в Москву, говорила ему:

— Ты бы навестил бабушку. Ей уже за восемьдесят. Портреты семейные посмотришь...

Даня в Москву ездил часто, возил игрушки отцовские в художественный салон продавать. Отец его, Лукьян Тимофеевич, занимался дереворезным ремеслом — топорщиной, как он говорил. Он один теперь остался из старых мастеров. Раньше артель была ложкарно-игрушечная. Городок так и назывался — Малое Безделье. Зёмли здесь плохие, на урожае очень не разживешься. Бывало, мерли люди от голода. Вот и стали резать ложки и чашки.

Только у отца игрушки какие-то странные. Все больше нечисть всякая — черти, домовые, русалки. Всякие скрюченные уродцы с рогами и копытами. Сделает, к примеру, кота рыжего или собаку черную, а сбоку где-то непременно рожки спрятаны.

Ему не раз говорили:

— Ты бы лучше ложки резал или чашки. У тебя же руки золотые. Куда больше заработал бы! А то черти какие-то! Зачем они тебе?

Отец уклончиво так отвечал:

— Нравится мне — и все тут...

Домна Евсеевна, соседка, напротив как раз живет, по секрету передавала:

— Нечисто у них, ох, нечисто! Вы поглядите на него самого, на хромого черта! Как есть леший! А я знаю — домовый к нему ходит, сама видела. Вот Лукьян его заказы и исполняет...

А однажды отец все-таки не выдержал. Выпил он как-то вина со своим приятелем Телушкиным, который носил ему картины свои показывать, и признался:

— У меня к этим чертям свой интерес, особый... С войны еще...

И рассказал такую историю. Был у них в части солдат, рядовой Иван Жмыхов. И вот однажды в бою сразило его насмерть осколком гранаты. Все видели, как он упал замертво. Подобрать тела убитых тогда сразу нельзя было. Ну командир части послал семье Жмыховых похоронку. Проходит, наверное, недели две, вдруг получает командир сообщение, что в деревне пойман дезертир из их части. Фамилия — Жмыхов Иван. Командир так и опешил: «Да ведь он погиб! У всех на глазах! Убило его!» И вот привозят солдата в часть, смотрят — точно, он самый, Иван Жмыхов. Только седой весь. В двадцать-то лет. И рассказывает он какие-то чудеса. Будто после боя, когда ему в голову ударило, очнулся он. Вокруг ни души, тишина. Лес незнакомый, совсем не то место, где бой был. Поднялся он и пошел. И вот будто бы набрел на какой-то домик, не то сторожка, не то сарайчик лесной. Женщина на пороге в темном платье. Вроде как немая, знаками изъясняется. Накормила она Ивана, спать уложила. Потом все время за ним ухаживала. Иван немного поправился, на ноги поднялся, вышел пройтись. А как стал обратно возвращаться — не может домик найти, заблудился. Недельку, наверное, плутал по лесу, обессилел совсем, упал где-то под кустом. Там и нашли его ребята из деревни, которые за грибами ходили.

Рассказывает Иван, а все вокруг только переглядываются и плечами пожимают. Потом посадили его в машину и повезли в тот самый лес, про который он говорил. Все насквозь объездили — никакой избушки, никакой лесной женщины. И в деревне никто про нее не слышал. Бабка только одна какая-то сказала:

— Русалка это была — точно. Раньше здесь много русалок было. И лешие были, и черти. А теперь их редко кого встретишь...

Ну а в штабе рассудили по-своему:

— Все ясно — дезертир! Баба какая-нибудь из местных прятала его.

И через день Ивана Жмыхова расстреляли, здесь же, за домами. Родным, конечно, ничего сообщать не стали — погиб и погиб. Однополчане похоронили Ивана.

Как рассказал эту историю Лукьян Тимофеевич, Телушкин налил рюмку помянуть убиенного и говорит:

— Палачи, они и есть палачи... Я тут картину одну задумал. Вот были такие люди — декабристы. Их наказывали: ссылали, давали работы. Для некоторых виселицы, то есть веревки на шею. Вот я и хочу такую картину написать. Чтобы была она кошмаром-ужасом. Страшно на это глядеть. А для палача это обычная работа, его любезное дело и радость. Этим они живут, кормят жен, детей воспитывают. Эта работа-красота и счастье их существования. Вот и живи рядом с ними в одной природе жизни!

— Все-таки надеяться надо, — говорит Ульяна Алексеевна. — Может, спасся как-нибудь... Если уж осколком не убило... Может, и здесь помощь какая...

— Нет, как хотите, — сказал отец, — а я Ивану верю. Русалка это была, не иначе. Вот я и хочу, чтоб все люди эту нечистую силу видели. Есть она, есть! Ведьмы, русалки, домовые — все есть!

— А вот мой сосед Мухолапов скипидар пьет против чертей, — говорит Телушкин. — Утверждает, что черти не выносят запах скипидара. Стало быть, не заберутся к нему в рот.

Лукьян Тимофеевич и Даню пристроил к своему ремеслу. Даня в свое время окончил художественное училище, теперь помогал отцу игрушки расписывать. Потом ездил по разным городам, возил их в музеи, художественные салоны. Вот и на этот раз отец собрал ему полную сумку — в Москву везти.

— Ладно,— сказал Даня.— Заодно к бабушке зайду картины посмотреть.

Ульяна Алексеевна заняла у соседей денег на билет, и Даня отправился. В Москве оставил сумку в художественном салоне, а сам к бабушке. Та обрадовалась, не знала, куда посадить. Но сколько Даня ни оглядывался — никаких картин в доме не было.

— А где же портреты семейные? — спрашивает он.

Бабушка принялась всхлипывать, платок к глазам прикладывает.

— С картинами этими чудеса. У Алеши моего, ведь и правда, вся комната была портретами заставлена. А я тогда за городом жила, в Болшево. Сын наш Славик, дядя твой, в лечебнице там лежал, вот я санитаркой и устроилась. А после похорон дедушки возвращаюсь в эту квартиру, гляжу — батюшки святы! Вещи все целы, на местах, ничего не пропало, а картин нет. Я туда-сюда, всех соседей обегала — никто ничего не знает. Портреты как в воду канули. Так до сих пор ничего и не могу понять...

— Очень жаль,— говорит Даня.— Наверное, украли...

Усадила бабушка Даню чай пить. Коробку конфет старую достала, там три конфеты еще оставались. Пьет Даня чай, а бабушка его развлекает, чтобы не скучал,— тетрадь какую-то толстую достает.

— Здесь у меня выписки из разных писем... Я ведь в войну цензором была. Меня спрашивали: где ты работаешь? А я отвечала: на почте. А мы, и правда, на почте работали. Приходили рано, часов в семь утра. В подвале холодище! Сразу печку железную растапливать. Девчонки все, я самая старшая, мне под тридцать было. У каждой на столе свое место дощечками выгоржено. Норма брешая — больше сотни писем за смену. Вскрываешь треугольник, пробежишь глазами, нет ли государственной тайны, и в уголке штампик свой ставишь. Мой номер был восемьдесят три, как сейчас помню.

Бабушка открыла тетрадь, нашла страницу.

— Вот один солдат пишет знакомой девушке в Москву. Все о любви, о любви. «Крепко обнимаю, а если цензор отвернется, то и целую». Я написала красным карандашом на письме: «Целуйтесь, я не смущаюсь. Ваш цензор». А перед самым концом войны он перестал писать. Вот его последнее письмо: «Меня сильно ранило. Не знаю, удастся ли сохранить ногу. Зачем тебе хромой? У тебя своя жизнь, у меня — своя». Я сильно переживала за них. После войны разыскала этого солдата, мы познакомились. Я сказала ему, что он поступил плохо, что он не знает женщин. Я тогда в положении была. А потом у нас с Алешей дочь родилась, Ульяша, твоя мама. Солдат этот все время с ней возился, нянчил, на руках таскал. А как ей исполнилось восемнадцать, они и поженились. Ульяша сказала: я привыкла к нему, он же хромой. Он увез ее к родителям на Волгу. Отец это твой, Лукьян...

Попил Даня чаю с конфетами, стал тетрадь бабушкину листать от нечего делать. И вдруг видит фамилию под одним письмом: Иван Жмыхов. Он сразу отца вспомнил, его рассказ. «Верно, однофамилец», — подумал Даня.

— А это что за письмо? — спрашивает он.

Бабушка нагнулась поглядеть и отвечает:

— Это наш Ванечка. Мы его все любили. Его письма всегда вслух читали. Он матери писал. Какие письма! Даже стихи посылал ей ко дню рождения. Там я выписала.

Даня перевернул страницу и прочитал:

Не только от того, что здесь весна,  
Госкующей душе моей теплее,  
А потому, что в этот день она  
Становится пригожей и милее...

— А потом мы узнали, что он погиб,— продолжает бабушка.— У нас в подвале все плакали... Ему и двадцати еще не было.

Когда Даня вернулся домой, Лукьян Тимофеевич спрашивает:

— Ну как мои игрушки? Взяли?

— Нет,— отвечает Даня.— Не взяли. Говорят — старые еще лежат.

Ульяна Алексеевна очень расстроилась — денег дома ни копейки, а у нее на руках двое приемышей.

Лукьян Тимофеевич только ворчал:

— Самим есть нечего, а тут еще нахлебники...

— Да как же? — отвечает Ульяна Алексеевна.— Ребятки-то какие хорошие, жалко их. Сережечка вот, к примеру. Семь лет всего. Он же из Чернобыльской зоны.

Даня очень любил своего приемного братика. Сережечка два месяца в Италии жил. Его туда через гуманитарный фонд отправили на выздоровление. Семья одна бездетная взяла, муж с женой. Вернулся Сережечка оттуда как из сказки. Сколько подарков привез! Только отец его с матерью все пропили в неделю. А через какое-то время приезжают те самые итальянцы проведать мальчика. Нашли деревню, входят в дом и видят — на полу отец с матерью пьяные, возле них Сережечка. Увидел гостей и просит: «Денег дайте». Ну с итальянцем плохо — сердечный приступ. Его сразу в область, в больницу, оттуда самолетом в Италию. Районные власти, конечно, перепугались — международный скандал. Отца и мать Сережиных сразу родительских прав лишили. А мальчику куда деваться? Итальянцы его бы усыновили, да нельзя. Вот если бы он был инвалидом. Нашлась его бабушка, она здесь же, в городке. Привезли его к ней, а она сама еле ходит. Ну Ульяна Алексеевна тогда взяла Сережечку к себе.

— А как, Даня, семейные портреты? — вспомнила Ульяна Алексеевна.— Видел своих предков?

— Нет никаких портретов,— отвечает Даня.— Пропали они. Сразу как дедушку похоронили.

— Не может быть! — ахает Ульяна Алексеевна.— Ну ничего — найдутся. Непременно найдутся. Не могут они погибнуть.

Потом она говорит:

— Еще у моего покойного брата Ярослава должен быть гипсовый бюст. Он говорил: наш предок, декабрист. Когда будешь в Москве, зайди к тете Варе поглядеть.

А тут через какое-то время приходит письмо из Москвы, от этой самой тети Вари: «Объявился родственник наш, из Парижа. Ищет наследников. Приезжайте». Ульяна Алексеевна говорит Дане:

— Вот тебе и случай ехать. Отец-то со своей искалеченной ногой не доберется, а мне как детей оставить? Да и денег на всех мы не наскребем.

Лукьян Тимофеевич, как узнал про письмо, игрушку выносит — рыжего кота.

— Вот отвези в подарок...

Даня не успел в себя прийти — снова в Москву. Первое, что он увидел в квартире дяди,— гипсовый бюст на тумбочке возле пианино. А тетя Варя представляет ему какого-то старика с бородой:

— Это Мисаил Григорьевич. Сын священника Петрова. Того самого, который после революции за границу уехал. Двоюродный брат дедушки Алеши...

Мисаил Григорьевич кладет на стол толстый портфель.

— Тут архив моего отца...

Он достал из портфеля ворох старинных фотографий.

— Вот это отец мой, Григорий Спиридонович. Видите — в рясе, вокруг купчихи молодые, веселые. Это брат отца — Петр Спиридонович.

— Твой прадедушка, Даниил,— говорит тетя Варя.

— Это вот третий брат — Иван Спиридонович,— продолжает Мисаил Григорьевич.— Он в Добровольческой армии был, белый офицер...

— Я их всех знаю,— говорит тетя Варя.— Будто сама видела. Мой муж Ярослав про них рассказывал. Он все время только и занимался, что предков своих разыскивал.

Она поглядела на скульптурный портрет возле пианино.

— А тут такая история вышла... Однажды сижу я на кухне одна. Как раз день рождения моего Славика. Вдруг звонок в дверь. Открываю, на пороге компания какая-то веселая, три человека. Люди немолодые, в руках цветы, шампанское. Лицо одного вроде знакомое, а вспомнить никак не могу. Мы, говорят, друзья Славика. Пришли на его день рождения. Ну пригласила я их, посадила за стол на кухне, только угощать нечем. А они мне: «Вы не беспокойтесь, у нас все с собой: шпроты, яйца. Славик очень любил яичницу на шпротном масле». «Точно, ведь любил», — думаю я. Поставили Славика бокал, стали пить за него. Потом, когда выпили, один поднимается и говорит: «Славик, я знаю, ты слышишь нас. Ты часто играл нам на пианино. Сырай и сегодня, в этот день». И вдруг, вы не поверите, представьте себе — из соседней комнаты звук пианино. Будто кто пальцем на клавиши нажимает. Мы все так и обмерли. Потом кинулись в комнату и видим — крышка пианино открыта, а на клавишах сидит рыжий кот и лапой их нажимает. Увидел нас, спину выгнул и прыгает вот на этот самый бюст, прямо на голову декабриста. Стала я потом кота выгонять, сама думаю: откуда же он взялся? У нас ведь сроду котов не было. И тогда я поняла, что это дух Славика моего приходил и велел продолжать его дело — искать предков. Хочу вот портреты семейные у свекрови попросить. Славик много о них говорил.

— Нету никаких портретов, — говорит Даня. — Пропали они. Я был у бабушки.

— Ну вот, так я и знала, — качает головой тетя Варя. — Куда же они могли деться? Может, бабушка отдала их кому, да забыла...

Даня тут достает отцовский подарок — рыжего кота.

— Это вот отец просил вам передать... Игрушку свою...

Тетя Варя так и ахнула:

— Надо же! Ведь точно такой же кот, как на пианино был... Будто с натурой!

Поставила она кота рядом с гипсовым бюстом, сама давая гостей чаем угощать с вареньем. Мисаил Григорьевич за столом рассказывал:

— Отца я почти не помню. Он умер, я совсем маленьким был. Врачи сказали — рак. После него остались небольшие деньги. Он завещал — построить в России приют для безнадежно больных. Я, как вырос, хотел сразу сюда ехать, а тут война. Немцы в Париже. Если бы не отцовские деньги, не знаю, как бы с матерью выжили. У него царские золотые монеты оставались, мы их продавали. Только мама все равно не дожила до освобождения, умерла в сорок четвертом. Как раз дивизия генерала Леклерка в Париж входила. На улицах праздник, цветы, музыка, а у нас — траур. Ну а после войны сразу приехать было трудно. Многих эмигрантов просто-напросто выслали в Россию, а так, чтобы на время, — не вырваться. Только теперь вот и смог.

— Ну и как? — спрашивает Даня. — Открыли приют?

— Ох, уж намучился я с ним! Столько начальников обегал, во все двери стучался. Пока здание нашли, больница там старая была. Потом главного врача. Гвоздиков Андрей Васильевич. Двадцать лет работал психотерапевтом в Институте онкологии. Прекрасный человек. Ну, открыть хоспис мы открыли: двенадцать палат, двадцать пять больных да пятьдесят персонала. А где брать деньги на его содержание? И тут вдруг откуда ни возьмись новые деловые люди. «Ладно, — говорят. — Так и быть. Покупаем ваш приют. Будем его содержать». Там один банкир, другой — директор страховой компании, третий — газовая компания. Не успел я глазом моргнуть — новое здание возвели на месте нашей старой больницы. На днях открытие. Вы уж обязательно приходите. Я хотел было этому хоспису имя отца присвоить, но новые хозяева возражают. А деньги, которые у меня остались, я решил между наследниками нашего рода поделить.

Мисаил Григорьевич достает из кармана пакет и протягивает Дане.

— Это ваша часть...

Даня взял пакет и думает: «Вот мама обрадуется!» Домой Даня сразу не поехал, остался еще у тети Вари — дожидаться открытия хосписа. Через день или

два Мисаил Григорьевич за ним заехал, и они отправились куда-то на самую окраину Москвы. Особняк и в самом деле отгрохали на славу: настоящий дворец. Рядом, среди березок, — часовенка. Внутри и вовсе глаза разбегаются — ковры, лепнина, картины. На первом этаже — просторная гостиная, куда можно въезжать прямо на инвалидной кровати с колесиками. Не успели войти, бежит им навстречу Андрей Васильевич, главный врач.

— Помните у Льва Толстого? — обратился он к Дане. — «Смерть Ивана Ильича». Там же типичный онкологический случай. Человек умирает. Все невосмое — доброта, всепрощение — выходит на первое место. Все материальное — квартира, обстановка — уходит в тень. Стыд и вина перед близкими. Ссоры и вражда кажутся пустяками. Это же совсем другой мир, не то, что у нас. Этим людям нужны особые условия.

Тут же священник приютской часовенки, отец Арсений:

— Мы должны помочь покидающему этот грешный мир осознать величие последнего часа...

Гостей между тем собиралось все больше и больше. Вся площадка перед подъездом была забита автомашинами. Андрей Васильевич не успевал водить всех по этажам. Палаты чистенькие, небольшие, на два-три человека, все удобства. Можно иметь домашние вещи — фотографии, вазочки там какие-нибудь, даже любимую кошку.

— Хоспис — не дом смерти, — говорит Андрей Васильевич. — Это полноценная жизнь до конца. Мы работаем с живыми людьми. Только они умирают раньше. Здесь не платят за лечение, не берут взятки.

Мисаил Григорьевич одобрительно кивает:

— В Европе это первая заповедь всех хосписов: «За смерть нельзя платить».

Какой-то бизнесмен в пестром пиджаке похлопывает его по спине.

— Не стоит к этим принципам относиться как к догмам. Пусть кто-то платит, а кто-то нет.

Отец Арсений позади всех только хмурится. Даня слышит его бормотание: — Это значит, платить будут богатые, а бедный сюда и вовсе не попадет...

Вечером в гостиной банкет. Оркестр, цветы, накрытые столы, подарки. Пациентов на банкет не пускали. У дверей стоял охранник и следил, чтобы не попали посторонние. Все поздравляли бизнесменов, благодарили их. Было много шампанского. Потом выступали сами благодотворители. Какой-то коммерсант даже слезу пустил:

— Святой дело! Святой дело! Глядишь на все это, и что же? Это переворачивает. Только тут понимаешь, как жизнь быстротечна и как суетно мы живем. Надо ценить каждую минуту, радоваться любому проявлению жизни...

Даня опять слышит бормотание отца Арсения:

— А иных и вовсе пускать сюда не следует. У кого совесть нечистая. Ведь они сюда отмывать ее идут. А здесь должны быть свет и добро...

Посреди застолья главный врач представил собравшимся какую-то женщину:

— Это наш доброволец. Их здесь пятьдесят человек. Приходят в свободное от работы время. Кто на рояле играет, кто комнаты украшает. Даже спектакли больным показывают. И никакого вознаграждения, разумеется.

Какой-то бизнесмен тут же поднимается от стола с бокалом в руке и говорит:

— Я дарю этой женщине ключи от автомашины!

Все стали хлопать, пожимать руку, поздравлять бизнесмена. Потом играла музыка, а все за столами пели.

Когда Даня вернулся домой с деньгами, Ульяна Алексеевна не хотела этому верить.

— Вот радость-то! Деньги теперь уж как нужны!

Лукиян Тимофеевич только хмыкал:

— Да тебе никаких денег не хватит... Мало ей двоих приемышей! Убогих еще со всей округи приводит! Не дом, а проходной двор. Прямо богадельня ка-

кая-то! Вот баба Гапа в чуланчике у нас живет. А ведь у нее свой дом! Есть где жить...

— Да какой там дом? — машет рукой Ульяна Алексеевна. — Ты видел его? Крыша дырявая, окна тряпьем забиты, дверей и вовсе нет. В комнате черно от мух. Вся обстановка — печь да стол дощатый. Когда дождь, баба Гапа под стол забирается, там и сидит, пережидает. Сестра у нее есть, да она где-то в больнице, что ли, уже который год. А так баба Гапа одна, разве что коза у нее в сенцах. А тут прихожу проведать ее, — обращается Ульяна Алексеевна к Дане. — Гляжу — лежит она у крыльца. Ну все, думаю, померла бабка. А она вроде дышит. Потом уже, как в себя пришла, рассказала. Вышла она накануне на крыльцо, видит — сосед Макаркин козу ее за бороду схватил и к себе тащит. Она ему: «Вор ты, Макаркин! Не ты козу растил, отдай!» А Макаркин тогда палку с земли поднял и в бабу Гапу запустил, прямо в голову. Она сутки во дворе и лежала. Как же ее не взять?

— А дед Софрон у нас живет? — говорит Лукьян Тимофеевич. — Тоже ведь дом свой имеет.

Даня всегда жалел деда Софрона Карповича. Жена у него год назад померла. Дома всего один стул, все сын Борис пропивает. А как напьется, отца из дома гонит. Ну а Софрону Карповичу куда деваться? Только к Ульяше. Последний раз он жил у Ульяны Алексеевны целую неделю. Потом не выдержал:

— Что-то сердце у меня ноет, Ульяша. Может, с Борькой моим что. Пойдем вместе посмотрим...

Ульяна Алексеевна потом рассказывала:

— Пришли мы к его дому. Открыла я дверь, Борис лежит на кровати. «Пьяный, небось», — говорю я. А Софрон Карпович как кинется к сыну, давай обнимать его, трясти, сам плачет: «Борька, проснись! Вставай!» Я уже было перепугалась даже, а Борис тут открывает глаза: «Ну что устались? Не пил я, не пил. Всю неделю не пил. Вот отсыпаюсь...»

Сколько времени после того прошло, а только недавно Софрон Карпович рассказал, как все было. Заскочил он в гости к Ульяне Алексеевне, а там застолье. Телушкин у Лукьяна Тимофеевича сидел, новую картину его обмывали — «Казнь декабристов». Налили Софрону Карповичу рюмку, он и признался:

— Ведь тогда что вышло? Совсем я до отчаяния дошел. Хоть голову в петлю. Почему же, думаю, Господь Борьку не накажет! Дай, думаю, сам Борьку отравлю, если уж Бог отказывается. У Борьки там на окне бутылка самогона стояла. Он этот самогон на батарееках настаивает, чтобы крепче был. Наберет в мусорных бачках старых батареек, которые выкидывают. Протыкает их гвоздем — и в бутылку на сутки. Так я туда таблеток накидал. Нам в больнице таблетки от болезни сильные дают. Сам видел, как собака сожрала несколько штук и тут же сдохла. Неделю у Ульяши жил, потом чувствую — сердце ноет. Пришли мы с ней домой, а у меня холод под коленками, ноги дрожат. Увидел — лежит Борька как в детстве, когда маленький был: на правом боку, коленки под живот поджал. Я сразу к окну — бутылка как стояла, так и стоит. Я тут же в раковину ее. А сам думаю: как же это он не выпил ее? Спас, значит, кто-то.

— Сейчас-то Борька как? — спрашивает Лукьян Тимофеевич.

— Да пьет, как и пил. Только я теперь как посмотрю на него — меня сразу волной какой-то обдает. Будто это я его от смерти спас. Вот ведь как, представляете? А вроде отравить задумал...

Когда Софрон Карпович ушел, к Борьке своему спешил, Телушкин и говорит:

— Нет, Ульяша, таким путем-дорогой мы к всеобщему счастью не придем. Ну еще одного убогого накормишь, еще одного бездомного приютишь. А общего счастья для всех людей как достичь? Много добра люди делают, а радости у них мало. Ворье растет везде и всюду ежедневно, как грибы в лесу в предосеннюю пору. Вот и бегают счастье от честных людей.

Только Ульяна Алексеевна все эти слова мимо ушей пропускает, будто не слышит. Чуланчик ее никогда не пустовал. Не успела баба Гапа к себе вернуть-

ся, дома — новый гость. Монашка какая-то за столом сидит, закусывает, благо теперь деньги завелись. Пьет она чай и все время приговаривает:

— Нет краше Господа, нет Его добрее...

Выпила четыре чашки, потом рассказывает:

— Из Липецка я. Мы там монастырь восстанавливаем, Свято-Тихоновский, что в Задонске, пять лет трудились. А потом вдруг в один прекрасный день являются в нашу святую обитель какие-то парни здоровые, с оружием. Говорят: служба охраны епархии. С ними несколько священников. Нас всех затолкали в автобусы и развезли во все концы области, на разные вокзалы. Чтобы мы, значит, убирались отсюда. А нам что делать? Квартиры свои, имущество мы все продали. Деньги — на восстановление монастыря. Ехать нам некуда. Собрались в Липецке на вокзале, стали там жить. Люди милостыню подают. Повара из вокзального ресторана булочки нам пекут. Писали мы митрополиту Мефодию, а люди нам говорят: лучше не суйтесь, не связывайтесь. Все монастырские строения куплены новыми хозяевами.

Так и осталась монашка в доме. Только Ульяне Алексеевне не до нее. Забот у нее выше головы. Сначала со вторым приемным Петей. Петю и еще одну девочку в свое время забрала из детского дома одна супружеская пара, Мордюковы. У Мордюковых маленькая однокомнатная квартирка. Им по закону детей и вовсе давать нельзя было. А они нарочно взяли мальчика и девочку, чтобы получить новую квартиру — трехкомнатную. А как получили, от детей отказались. У девочки, к счастью, родители нашлись, а Петя оказался на улице. В детский дом он не вернулся, бродягой стал. Ночевал в подвалах. Ульяна Алексеевна его и подобрала. Два года Петя уже в доме жил, а тут вдруг как-то является и приносит деньги. Ульяна Алексеевна, конечно, перепугалась: откуда деньги?

— Сам заработал, — отвечает Петя. — Бизнес.

У них своя компания, рассказал он. Занимаются они тем, что выкапывают из земли телефонный кабель. Есть коммерсанты, которые платят хорошие деньги за лом цветных металлов. За килограмм биметаллического кабеля, к примеру, два доллара. Ребята выкопали в окрестностях городка уже два километра этого кабеля, что-то около полутонны весом. Ульяна Алексеевна строго-настрого запретила Пете заниматься таким бизнесом. Не успела она прийти в себя, новое дело — Сережечка теперь является, тоже несет деньги.

— А это откуда? — ахает Ульяна Алексеевна.

— По местам боевых сражений ходим, — отвечает Сережечка. — Воинские захоронения раскапываем. Ты не думай, мы наших не трогаем, только немцев. Есть покупатели, берут все — оружие, значки, мундиры, фуражки. Особенно в цене ордена. Крест «За военные заслуги», офицерская «Восточная звезда», солдатская медаль «За штурм Львова». От тридцати до шестидесяти долларов. Даже фотографии берут — семейные там или какие, особенно снимки казней.

Ульяна Алексеевна не знала, что с Петей и Сережечкой делать. Не дети, а землекопы какие-то. Но все устроилось как-то само собой. Ребята угомонились, и все пошло своим чередом. Вообще как монашка у них в чуланчике поселилась, с тех самых пор жизнь в доме стала налаживаться. А осенью пошли уже и вовсе невероятные события. Началось все с того, что перед этим вышел Дане удивительный сон.

Снилось ему, будто ходит он по городку и у всех спрашивает:

— Вы не видели наших семейных портретов?

Вот заходит он к бабе Гапе, та сидит под столом, от дождя укрывается. Только на улице-то никакого дождика нет. Спрашивает Даня у нее про портреты, а она говорит:

— Что мне делать — не знаю. Сестра у меня умершая в сарае. Два года как умерла. Я ее нарочно в сарай перетащила, чтобы пенсию ее получать. А теперь пенсию домой не носят... Мне бы справку о ее смерти получить... Похоронить надо... Высохла она вся, чистые мощи... Спросил бы у матери, Даня... Может, она подействует...

Ушел от нее Даня, идет к деду Софрону Карповичу. Дома один Борька, сын его. Лежит на кровати весь забинтованный, рука и нога в гипсе.

— Какие еще портреты? — говорит он. — Не видишь — лежу я! Это Господь меня наказал. За отца моего...

— Как же это вышло? — спрашивает Даня.

— Да включил тут как-то радио, слышу — штормовое предупреждение. Ураган идет, буря. Я, конечно, перепугался. В прошлом году сколько бед ураган наделал! Вот мы с Лешкой Ситниковым полезли на крышу — шифер закрепить. Работа что-то не ладилась. Спустились вниз, махнули по рюмочке. А потом, как снова стали забираться, я и поскользнулся. Крыша-то покатая. Разбился весь. Нет, это точно Бог меня наказывает... Я теперь зарок дал — не пить. Так и передай Ульяне Алексеевне: не пьет, мол, Борис больше...

— А что же ураган? — спрашивает Даня.

— А ураган стороной прошел, мимо нас...

Вышел Даня на улицу, тут братья его приемные бегут, Петя с Сережечкой.

— Тебе к Телушкину надо! К Телушкину!

Даня тогда сворачивает к автобусной станции. Там в сквере всегда Телушкин сидит, картины свои продает. Вокруг него, как обычно, полно людей. Ходят, картины его разглядывают.

— Не видно что-то счастья в народе, — выступает перед ними Телушкин. — Веками изнуда тянется. Грызет людей, как гнида или вошь. Надо всех воров и аферистов отделить от честных людей навечно... Людям нужна радостная жизнь!

Даня постоял немного, послушал, а потом спрашивает:

— Вы не видели наших портретов?

Телушкин тогда оборачивается к своим картинам и берет в руки какой-то женский портрет.

— Вот она, ваша картина. Называется — «Взыскание погибших».

— Икона, что ли? — спрашивает Даня.

— Икона — это в церкви, — отвечает Телушкин. — Там Царица Небесная, а у меня — земная. Вот такая она и есть, такой я ее вижу. Милосердная мать-утешительница. Радость и праздник. Я когда смотрю на нее, сердце у меня волнуется. В грудь умиление стучится. Я не плачу, а слезы текут...

Вглядывается Даня в картину и только удивляется — вылитый портрет его матери Ульяны Алексеевны. Хотел он спросить Телушкина, при чем здесь Ульяна Алексеевна, но не успел — проснулся.

А днем все и случилось, то самое невероятное событие. Лукьяна Тимофеевича дома не было, с утра ушел вместе с Телушкиным на автовокзал — игрушки свои проезжающим продавать. Даня с матерью на стол к обеду собирают, вдруг Петя с Сережечкой бегут:

— Мама Ульяша! Мама Ульяша! Там картины в сарае! Выставка!

Кинулись в сарай, распахивают двери, да так и остолбенели. Посреди сарая прямо на земле сидят баба Гапа, Софрон Карпович и монашка Дарьюшка. А у стены картины стоят. Ульяна Алексеевна их сразу признала — те самые, семейные портреты, которые были у деда Алексея Петровича.

— Надо же! — шепчет она. — Вернулись... Не пропали, значит...

Тут она видит, что возле картин солдат какой-то стоит в гимнастерке, молоденький, совсем мальчишка. Указывает рукой на портреты и объясняет зрителям:

— Это вот родоначальник фамилии, сын Петра Великого. Это вот вельможа — Петров Василий Петрович, библиотекарь при дворе Екатерины Великой. Дальше — его сын Николай Васильевич. Гвардейский офицер, с декабристами связан.

— Откуда он все это знает? — шепчет Ульяна Алексеевна Дане.

— Ты кто? — спрашивает она солдата.

— Рядовой Иван Жмыхов, — отвечает солдат.

— Так ведь тебя же расстреляли...

— А я вот живой.

Ульяна Алексеевна не знала, что и думать. Пригласила она солдата в дом, за стол усадила. Тот о себе рассказывает:

— Я как школу окончил, сразу война началась. Мы вдвоем с мамой жили. Работы никакой, все учреждения эвакуировались. Мы с мамой веревочные сумки плели — «авоськи». Одна рабочая карточка на двоих. Потом мама говорит: «Наш комендант предлагает тебе быть истопником в доме». Ну я, конечно, пошел. В кочегарке горы бумаги. Учреждения эвакуируются, старую бумагу сваливают. Бумагой топил. Весь черный от угольной пыли.

Ульяна Алексеевна тарелки солдату подставляет, а он на них не глядит, даже чай не пьет.

— Через год меня призвали, направили в пулеметно-минометное училище, в Ярославль. Год был курсантом, заработал фурункулез. Все руки и ноги в гнояниках и нарывах. Потом — на Западный фронт в составе офицерского пополнения. Помню первый день в части. Иду мимо столовой, вижу — повар за полевой кухней прячется, белым халатом накрылся. Я подошел, в руках у него зеркала и щипцы, какими сахар колят. Я спрашиваю: что ты делаешь? А он мне: зубы золотые вырываю. Если попаду в плен, немцы все равно повыдергивают. Так лучше уж я сам.

— Ты ешь, ешь, Ванечка,— говорит Ульяна Алексеевна, а тот будто ее не слышит.

— А через день немцев впервые увидел. Мы возле села стояли, ждали, что немцы на нас пойдут. А вечером мы с приятелем вышли пройтись. Халаты на нас белые, автоматы. Недалеко от околицы видим — люди какие-то из окопа вылезают и идут в сторону. Потом еще другие вылезают и тоже уходят. Мы спрашиваем одного: какого полка? Молчит. Другой тоже молчит. Спрашиваем: чего не отвечаете? Приятель даже одного за каску дернул: мол, проснись. И тут глядим — мать честная — немцы. Они бежать. Мне бы надо — очередь из автомата, а я не могу. Приятель, тот не растерялся, убил одного. А наутро атака немецкая. Меня в том бою и подбило. Маме похоронка пришла.

— А отец-то твой где? — спрашивает Ульяна Алексеевна.

— Отца я не помню. Мне три года было, когда он от нас ушел. У него своя семья — жена, ребенок. А еще через год его арестовали. Мама потом говорила: на Беломорском канале он. Там и погиб.

Солдат достает из нагрудного кармана гимнастерки бумажник и показывает фотографию.

— Вот тут их три брата — Григорий, Иван и Петр. Который с краю — мой отец Петр.

Даня как поглядел на снимок, так глаза и вытаращил. Точно такую фотографию видел он у тети Вари, Мисаил Григорьевич из Парижа привез.

— Это же мой прадедушка! — кричит он.— Петр Спиридонович!

— Мать говорила: это мой отец,— отвечает солдат.

Все смотрят на него, не знают, что говорить.

— Так, выходит, ты тоже Петров? — выдавливая наконец Ульяна Алексеевна.— Сводный брат моего отца? То есть мой дядя, что ли?

— Выходит, что так,— пожимает солдат плечами.— Жмыхов-то — фамилия матери.

— Очень хорошо,— сказала Ульяна Алексеевна.— Теперь ты будешь у нас жить. Места хватит.

— Нет, мне идти надо,— отвечает солдат.— Маму свою искать... Она же ведь не знает, что я живой...

Сколько его ни уговаривали, он ни в какую: надо — и все тут. Даже есть ничего не стал, говорит: сытый. Оглянуться не успели — его уже нет. Пропал, будто сквозь землю провалился. Когда Лукьян Тимофеевич вернулся, стали ему про Ивана Жмыхова рассказывать, он только пальцем у виска крутит.

— Совсем спятили? Время-то сколько прошло? Он же мой ровесник. Вот и считайте: годков ему сколько?

А Даня с Ульяной Алексеевной теперь уже и сами толком не знали, был ли Иван Жмыхов на самом деле или это только так — видение.

— А как же тогда картины? — спрашивает Даня.

Лукьян Тимофеевич картинам даже ничуть не удивился.

— Ну здесь все ясно, — спокойно так говорит он. — Это и есть домовый. Его рук дело. Я же говорю: есть нечистая сила, есть! А люди не верят!

Про эти картины, что они вернулись, скоро узнал весь городок. Всякий день шли в сарай люди посмотреть чудесные портреты. Расспрашивали про предков, кто на портретах нарисован, качали головами. Домна Евсеевна на другой стороне улицы только руками потирала и хихикала:

— Уж точно, не обошлось без чертей. Я же говорю: леший к ним ходит...

А как Иван Жмыхов ушел, монашка Дарьюшка тоже стала в дорогу собираться. Ульяна Алексеевна вышла ее провожать, а Дарьюшка ей говорит:

— Вижу я, Ульяша, какая ты утешница убогих... Праведница... Такими, как ты, Россия и спасется...

Ульяна Алексеевна только отмахивается:

— Будет тебе, Дарьюшка! Нашла тоже праведницу! Не до этого мне. Несчастных-то вон сколько...

— Россию все время хоронят, — говорит Дарьюшка. — И при царе хоронили, и сейчас. Мол, у России нет будущего. Пропавшая страна, погибшие люди. Я ведь и сама почему в монастырь пошла? Не могла видеть, что вокруг творится. Разбой среди бела дня! Думала молитвами спасти Россию. А теперь вижу — любовь нужна. Невидимая любовь выше благочестия, которое на виду. Скрытая от глаз человеческих любовь — самая большая сила...

Дарьюшка ушла странствовать дальше, а в чуланчике Ульяны Алексеевны новый гость — старик Перетягин. Его на центральной площади чуть не задавили. Праздник как раз был — День пожилых людей. Завод мукомольный решил этот день отметить — бесплатно раздавать свою продукцию старикам — муку, печенье, торты. Объявления по всему городу развесили. Старики в этот день начали собираться на площади с пяти утра. А как в полдень машины с завода прибыли, что тут началось! Давка, крики, потасовки. Ну раздачу, конечно, прекратили, машины отправили обратно. А вот Перетягин своими силами подняться уже не мог. Забрала его к себе Ульяна Алексеевна, чтобы выходить. Через неделю поднялся Перетягин на ноги.

Это уже перед самым Рождеством, когда Дани дома не было. Укатил он в Париж, Мисаил Григорьевич пригласил, денег на дорогу выслал. Ульяна Алексеевна осталась ждать сына. А после праздников приходит от Дани письмо.

«Не успел я сюда приехать, — пишет Даня, — как случилось несчастье — умер Мисаил Григорьевич. Утром зашли к нему в комнату, а он неживой. Отпевали его в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, это в 15-м округе. Народу было много, все засыпано цветами. Похоронили в Сен-Женевьев-де-Буа, рядом с могилой отца. Погода была скверная, дождь, в могиле полно воды. Стали гроб в яму опускать, а он всплыл. Пришлось шестом его поддерживать, пока землей засыпали. Когда Мисаил Григорьевич дома лежал, он мне говорил: не хочу, чтобы меня хоронили в слякоть. Не люблю распутицы. Я еще пошутил: не все ли равно? Вот и не сбылось его пожелание. На кладбище меня представили какому-то человеку, он русский, интересуется родом Петровых. Фамилия его Грааль-Аральский. Книгу он написал, целое исследование. Он уже не отпускал меня от себя. Привел в церковно-приходскую общину, где была какая-то научно-богословская конференция. Был доклад об отце Мисаила Григорьевича, священнике Григории Спиридоновиче. После повез меня в редакцию какого-то исторического журнала, где печатают всякие родословные изыскания. Взяли с меня обещание написать о своих родителях, о дедушке и бабушке, о тебе, мама. У меня прямо голова идет кругом. Все будто с ума посходили. Все время куда-то приглашают, просят выступать, давать интервью. По телевизору даже показывали. Грааль-Аральский говорит: Петровы были при всех российских императорах, начиная с Петра Великого и вплоть до последнего русского царя. А я вдруг

возьми и скажи, что у нас в сарае есть портреты наших предков. Грааль-Аральский прямо подпрыгнул. Говорит: непременно к вам приеду. Так что жди, мама, гостей из Парижа».

Ульяна Алексеевна Данино письмо всем знакомым показывала. Потом села писать ответ.

«У нас все по-старому,— писала она.— От твоих иностранных денег ничего не осталось, но мы перебиваемся, ты не волнуйся. Так получилось, видишь ли, что на самое почти Рождество у соседей наших Голопёровых, Валерика с Тосей, отец умер. Гроб с телом привезли из морга, в дом заносить сразу не стали, под крыльцом оставили. Поминки были долгие, несколько дней. Валерик с Тосей как раз пособие получили из собеса на похороны. А как поминки отошли, смотрят — крыльцо снегом занесло, в дом покойника не затащить. Зима в том году была у нас снежная. Ну а как пособие кончилось, Валерик с Тосей решили: пусть гроб во дворе остаётся. Пока морозы, думали, ничего с отцом не случится. Собаки только соседские по ночам сильно выли. Знакомые не забывали Голопёровых, что ни день — навещали. Зайдут во двор, просят крышку с гроба откинуть, посмотрят — и в дом, помянуть покойника. Так и был Голопёров во дворе больше месяца, пока милиция не явилась. Хотели гроб обратно в морг везти. А детям что делать? Денег на похороны нет. Ну наскребла я последнее, что из твоих оставалось, похоронили. На сороковой день после смерти».

В конце письма Ульяна Алексеевна приписала: «А портреты наши семейные в Москву укатили. Жена брата за ними приезжала, Варя. Я и сама подумала: пусть уж лучше в городе будут, чем у нас в сарае. Так что скажи там в Париже, чтобы к нам сюда не ездили. Пусть сразу в Москву. А у нас здесь смотреть нечего».



Эвелина РАКИТСКАЯ

---

## Н О В Ы Е   С Т И Х И

### *Священная история*

*Памяти Александра Меня*

И были у них и рабы, и ослы.  
И были они не добры и не злы  
— не ведали римского права.  
Что сына убить за тринадцать ослов,  
что брата убить за двенадцать козлов  
— какая им разница, право?  
Их время текло и в дыму, и в золе,  
и год они ехать могли на осле,  
и лет тридцать пять на верблюде...  
И было всё это в грязи и в пыли,  
на малом-премалом кусочке земли,  
как будто у Бога на блюде.

И он приходил к ним — израильский Бог.  
Зачем? Вероятно, был сам одинок,  
как злая ненужная совесть...  
И всё предлагал им какой-то завет,  
зачем? Объяснения этому нет.  
Всё длится печальная повесть.

Как только представишь  
тьму длинных веков,  
рабов и наложниц, козлов и ослов  
и жен, что похуже скотины,  
так страшно и больно сожмется в груди...  
А также — представишь века впереди.  
И где-то себя — в середине.  
И всё не запомнить: какого козла  
какая ослица кому родила  
и сколько верблюдов украли...  
К чему этот длинный и нудный разврат?  
Зачем города и поныне горят?  
Какие тут «бездны морали»?

...И вспомнишь: тяжелый полуденный зной,  
большое светило над дикой страной  
(оно там стоит и поныне) ...  
И кто я — рабыня? Ослица? Жена?  
Куда и зачем я влачиться должна  
по этой смертельной пустыне?

...А тот, кто от Бога всё ждал новостей,  
не видел больных и голодных детей,  
его занимали скрижали...  
Наш Бог только избранных лиц посещал,  
и много верблюдов он им обещал  
за то, чтоб его уважали.

А мы-то молчали. Мычали в пыли  
и шли по пустыне, рыдали и шли —  
рабыни, ослицы и дети...  
Потом наступил предназначенный срок,  
пришел молодой и насмешливый бог,  
но что изменил он на свете?

...Такой молодой и насмешливый бог  
явился зачем-то не к месту, не в срок,  
в нелепой еврейской отчизне —  
как танец души среди вьючных дорог  
и как декабристы (которых урок  
был в том, что не ведали жизни...)

Нелепый, как счастье,  
как солнце — слепой,  
он так и предстал перед пыльной толпой:  
смеялся, а руки дрожали...  
Руками махал, и, как Чацкий, вещал,  
и новую эру он всем обещал —  
за то, чтобы не обижали...

А мы-то молчали. Мычали в пыли.  
И новая эра, коснувшись земли,  
продлилась не более мига.

И кто-то придумал про Новый завет.  
Зачем? Оправдания этому нет —  
такая печальная книга...

...Но я всё мечтаю  
про дальний полет —  
кто знает — тот знает.  
Кто хочет — поймет.  
А кто не поймет — и не надо.  
Чужая планета и римский конвой...  
Что Темза, что Теза\*,  
что Сена с Невой,  
что щит на вратах Цареграда...—  
какое мне дело?! —  
не выскажешь слов,  
не выплачешь слез,  
не развяжешь узлов,  
не взвидишь подлунного света...  
Непрошенный бог не вернется сюда.  
Погасла его золотая звезда  
меж Ветхим и Новым заветом...

---

\* Теза — река в г. Шуе.

\* \* \*

Нас победили в холодной войне  
Те, кто живет на другой стороне.

Больше они не боятся войны —  
Нам улыбаются с той стороны.

Больше они не страшатся ракет —  
Нас победили, нас более — нет...

...Во поле чистом оставленный дом.  
Вольная воля гуляет с ножом.

Дверь нараспашку — входи и бери.  
Стыдно — снаружи и тошно — внутри...

### *Аленький цветочек*

СКАЗКА

...И лес подступает стеною,  
И меркнет полуночный свет.  
Проснулося Чудо Лесное  
И видит — Аленушки нет.

Проснулся он, зверь безобразный,  
В своей непролазной тайге,  
И взор помутившийся красный  
Аленушку ищет в тоске.

Наверное, ей не вернуться  
Из дому обратно сюда...  
Там люди, как люди, смеются,  
И в спину не дышит беда.  
Там нету надежды на чудо,  
Но каждый как хочет живет.  
Нет, ей не вернуться оттуда...  
И вот, безнадежно и люто,  
Чудовище в голос ревет.

...А умные сестры тем часом  
Алене внушают совет:  
На свете есть воля и разум,  
А долга, родимая, нет...  
Его заколдованный терем  
Тебя уже сводит с ума.  
Он был и останется зверем,  
А ты, в эти бредни поверя,  
Чудовищем станешь сама.

...Бушует опять непогода.  
За окнами хлещет гроза.  
Алена глядит на урода —  
В его золотые глаза.  
Под этою страшною рожей,

Под этою накипью лжи  
Есть кто-то другой,  
Непохожий...  
Она умоляет: о Боже,  
Хоть каплю его покажи!

Но сколько бы ей ни молиться,  
А страшную маску не снять.  
И ей ничего не добиться,  
И ей ничего не понять,  
И ей никогда не пробиться  
Сквозь липкий безудержный  
страх...  
И кажется, что-то случится,  
И гадкая черная птица  
Ехидно смеется в кустах...

...Так дни или годы проходят.  
Алена живет как жила.  
К реке и к ручью не подходит,  
Не смотрит в свои зеркала.  
Вот космы ее, заплетаясь,  
Уже закрывают лицо...  
И, в грязную руку впиваясь,  
Ржавеет на пальце кольцо.  
Сидит она с чудищем рядом,  
Глаза ее, как пятаки...  
Но там, под бессмысленным  
взглядом,  
Под кожей, пропитанной ядом,  
Ни горечи нет, ни тоски...

Аленушка больше не плачет,  
И сердце ее не болит.  
Они одинаковы — значит,  
Не важно,  
Какие на вид...

...Госка подступает стеною.  
Смеркается. Сил уже нет  
Лить слезы, бороться с запоем  
И слушать бессмысленный бред.  
Ты требуешь водки и водки  
И что-то рычишь без конца.  
Одна лишь бездонная глотка  
И страшная маска лица...

Чем дальше к безумным пределам  
Душа уплывает сама,  
Тем всё безобразнее тело,  
Тем всё непрогляднее тьма.

Я вижу ужасную рожу,  
Звериный, бессмысленный рык...  
Но там, за оставленной кожей,  
Есть кто-то другой, непохожий,  
Кто слышит небесный язык.

И сколько бы мне ни молиться,  
А страшную маску не снять.  
И мне ничего не добиться,  
С тобою туда не попасть.  
И мне никогда не пробиться  
Сквозь липкий, безудержный страх.  
И кажется — что-то случится,  
И кажется — кто-то стучится,  
За окнами шарит в кустах...

...Вот я выхожу к магазину,  
К ночному, в четвертом часу.  
Хозяину лавки, грузину,  
Я прибыль в кармане несу.

Меня он улыбкой встречает,  
Наверно, уже узнает.  
Но лишь головою качает  
И молча бутылку дает.

...А рядом — опухшие рожи.  
Я мимо скорее пройду,

Как будто боюсь стать похожей  
И к ним перейти, за черту.  
Как будто боюсь я подслушать,  
Как что-то звенит и поет,  
Когда их забытые души  
Уходят в бесцельный полет.

Уходят, от боли синея,  
Добру неподвластны и злу,  
Но, кажется, нет мне роднее  
Любого бомжа на углу

И этой заплаканной тетки,  
Заклеившей пластырем бровь...—  
У всех у нас общая водка,  
А стало быть — общая кровь.

...Так долго ли, коротко ль время,  
Но все непрогляднее дни.  
Едины горят перед всеми  
Киосков ночные огни.

Я больше тебя не ругаю,  
Напрасные слезы не лью.  
Я водки себе наливаю  
И, морщась, глоточками пью.

...И словно вся жизнь на ладони,  
Взрываясь, сгорает дотла.  
Несутся крылатые кони,  
Горят в вышине купола,

И кажется — я улетаю  
Туда, где иные пути.  
Я знаю, я знаю, я знаю:  
Теперь уже все позади.

И птица небесная плачет,  
И льется золотое вино...  
И мы одинаковы — значит,  
Какие — не все ли равно.

\* \* \*

И станет мне когда-нибудь легко.  
Тогда я буду своевольной птицей...  
Кто вспомнит — тем ночами стану сниться,  
Но буду бесконечно далеко.

Наступит ночь,  
И бледною луной  
Я проплыву над скорчившимся миром...  
Я стану сниться страждущим и сирым,  
Но до меня им не достать рукой...

Меня от них забвение спасет —  
Я в этот мир зашла почти случайно,

И лишь большая и пустая тайна  
Змеєю черной череп мой сосет...

Теперь мне будут сниться острова  
И желтые цветущие пустыни,  
И стану я на родине святыней,  
Когда молва и мягкая трава  
Взойдут на мне,  
Уже угасшей ныне,  
Как над землей восходит синева.

...Я слишком знаю,  
как стихи писать:  
подлунный мир душою озирая,  
огнем последним изнутри сгорая,  
за это получая благодать...  
Но я не знаю, как читать стихи.  
Стихи читать, увы, не так уж просто:  
Поэту надо быть большого роста,  
А женщине — большие каблуки...

...Но если вся твоя судьба как стих,  
она поет, она струится рядом,  
и ты глядишь светло и виновато  
на братьев и *со-перников* своих.  
И гулкое молчание несет  
Тебя сквозь мир,  
Куда зашла случайно...  
И лишь большая и пустая тайна  
Змеєю черной череп твой сосет.



# Еврейский Бог в Париже

ПОВЕСТЬ

**Т**о, что я осознаю себя как реальность, мешает мне жить. Быть игрой чужого воображения куда легче. Но я реальность. И надо собой как-то распорядиться.

Обо всем этом думал я, перенося чемоданы с платформы в вагон, и еще о том, что мне ничего не надо от жизни, она и так слишком щедра ко мне. А дальше все пойдет вспять, и пусть.

Вот мальчик. Он заглядывает в глаза. Ищет ответ. Мой сын.

Он не догадывается, что никакого ответа нет, я предоставлен самому себе и что выйдет, то выйдет.

Но он ищет, ему семь лет, время поиска, он и ищет, пока я лихорадочно соображаю, что ему сказать.

— Мы завтра приедем в Париж, папа? — спрашивает он.

И я отвечаю: не завтра. Через четыре дня.

Четыре дня вместе, так вместе и так плотно, как не удавалось весь последний год: она, наши дети, я.

О чем мы будем говорить, пока едем? Неужели не о самом главном? Неужели не захотим почитать Пушкина вслух? Я взял томик с собой.

Похоже, я ошибся, похоже, мы будем молчать, молчать все четыре дня, сидя напротив, стараясь не встречаться взглядами, но зато мы едем в Париж, это я здорово придумал: если расставаться навсегда или начать сначала, то в Париже. В любой другой поездке она бы мне отказала. Вероятно, даже она не могла себе представить до конца, что такое Париж.

Может быть, сгусток солнца, может быть, цветки камелий, жар которых чувствуешь на ладони, даже когда они увяли, цветки камелий, похожие на огромных мохнатых шмелей. Они дразнили возможностью возрождения.

Париж — моя надежда. Я придумал Париж и доведу их туда, чего бы мне ни стоило, сквозь ее молчание и ненависть, ненависть.

Нам предстоит две пересадки, три таможенных досмотра, на самолет не хватило денег, да и соблазн пересечь пол-Европы за четыре дня велик. Вот мы и едем.

Дочь — лицом к окну, сын — лицом ко мне, она — в угол купе, в стенку.

И дети, не желающие привыкать к тишине между нами, пытаются ее нарушить.

— Ну начинай,— говорит дочь.— Ты обещал, что будет интересно. Рассказывай.

— Что?

— Все, что в голову взбредет. Ты умеешь рассказывать, что в голову взбредет.

А в моей голове одна, как птичка, встревоженная мысль: что сделать, чтобы она, уставившаяся в стенку, улыбнулась, и тогда, возможно, сердце дрогнет во мне и все изменится.

Поезд еще не отошел, но уже шевельнулись в прощальном волнении те, кто уезжал, и те, кто с ними прощался.

А потом мне показалось, что через пути сквозь окно другого состава на параллельной платформе я увидел лицо той, чье присутствие внутренне меня не покидало, но сама она никак, совсем никак не могла прийти провожать меня, права не имела.

Но пренебречь этим правом и тайком выслеживать, никто ей, бедной, не мог помешать.

И если бы в тот момент я и в самом деле не жалел ее, выскочил бы из вагона и погнал кулаком в спину подальше от Парижа, в обратную сторону от нашей жизни.

Но соседний состав отошел раньше нашего, открыв солнце, и обнаружилась на пустой платформе скамейка, а на скамейке скомканный и брошенный человек с широким монгольским лицом, узкими презрительными глазами, вперившимися прямо в меня.

И в щелочки его жутких монгольских глаз въехал наш состав со всеми, кто был в нем.

Она выслеживала, чтобы плюнуть мне в лицо, как она часто говорила. Но застать меня врасплох с собственной семьей не могла, как бы ни захотела. Здесь все по закону. Жена, дети, я — отец и муж. Здесь все, как последние двадцать лет. Право видеть друг друга, жить вместе в гостинице, не скрываться от посторонних глаз, быть друг с другом, когда заблагорассудится, здесь она, дурочка, бессильна, носясь с платформы на платформу, или мне померещилось и всегдашнее желание обострить ситуацию до предела принесло ее образ или это солнце, солнце?

И вот мы едем, и вот дорога никуда не может деть неловкость между нами, а чем еще, как неловкостью, обозвать ее обманутую веру в меня? Ее не обманут моя суетливость и наигранное возбуждение, она-то знает, кого я искал в окне.

Мне кажется, это не я, кто-то беломраморный, с правильными соотношениями души и тела везет их сейчас в Париж, он, а не я, весь неправильный, теплый и лысый, он, совершенный, везет их в Париж, а меня нанял забавлять дорогой, слишком они прекрасны, чтобы трястись в тоске и недоумении весь этот четырехдневный путь: что, мол, он еще задумал, изменщик, как в этот раз решил обмануть судьбу?

А я ничего не решил, просто рассчитывал на Париж.

Совсем недавно побывал там и понял, что никого, кроме них, не хотел бы туда привозить, значит, я люблю только их. Само это желание подтверждало мою любовь, а осуществление просто не могло оставить никаких сомнений.

Но она молчит, а дети ползают по ее молчанию, как муравьи по стволу дерева. Хотел ли я поцеловать ее, как целовал деревья, когда этого не видел никто, оглянувшись? Нет, и не мог хотеть, потому что не получал от нее права, а деревья не требовали от меня никаких прав, и я просовывал губы в складки коры, целуясь всегда, как прощаясь.

Мир без деревьев непереносим. Небо терпимо только сквозь их ветви, так оно ближе, земля знаменита тем, что плодоносит ими, и люди тем, что, может быть, когда-нибудь ими станут или истлеют незаметно между их корней.

Так весело ехали мы в Париж, и такие песни пела моя провинившаяся душа.

Что вышивала в дороге моя двенадцатилетняя дочь, какие узоры догадок, какие планы? Не знаю. У нее плутоватый взгляд маленькой женщины, мстящей впрок, всем мужчинам сразу, за еще несовершенное.

Она прижимается к матери и что-то шепчет. Та рассеянно кивает головой.

Малыш же продолжает тереться где-то рядом со мной, придавая дороге тот самый привычный облик путешествия, когда детям тесно, и проводник, входя в купе, расплескивает чай от неожиданного толчка и уходит не извиняясь, когда мимо твоих дверей начинают идти цепочкой в туалет и вагон-ресторан люди, до которых нет никакого дела.

Посвящу-ка все, что пишу, одному свободолюбивому пони, кто меня осудит? А он не прочтет.

...Заиграло солнце, тени лыжников на снегу, тесно от теней, пройти невозможно. А сами лыжники? Куда они делись? Проскакала лошадь, неожиданная зимой, копыта, как стоптанные шлепанцы, а за ней, не поспевая, в конце аллеи пони, брыкается, ржет, отплевывается, мотая головой, неукротенный, маленькая наездница злобно усмирят его ударами пяток по крупу, а когда они наконец поравнялись со мной, слышу, как она говорит, то ли мне, то ли ему: «Да заткнись ты!»

Посвящаю пони, которому сказали: заткнись.

В Польше нас зачем-то пересадили в неудобные вагоны, наверное, чтобы мы не очень о себе воображали, и вышедшие в Варшаве русские, прощаясь, сказали, чтобы деньги и прочее, что у нас есть, мы не выпускали из рук, потому что поляки воруют.

Сколько живу на свете, все жду, когда же меня наконец обворуют поляки! Но она, кажется, поверила и прижала к себе детей.

И, как обычно, ее красота оказалась пропуском в рай. Поляки ощупали всю ее глазами, но наши чемоданы им все равно понадобились, и они долго в них рылись, поглядывая то на нее, то на меня.

Кто бы объяснил им, что нашла во мне эта великолепная пани?

— У тебя шерстка даже в носу,— говорил сын, поглаживая меня.

— Это внутри меня, лысого, живет волосатый-волосатый человек,— отшучивался я.

Ничто не предвещало Парижа, нас обыскивали как обыкновенных транзитных пассажиров, переехавших из одной криминальной страны в другую, без всякой снисходительности, как дворняжек, в нас искали вшей, в таких, как мы, за жизнь не могли не расплодиться вши, ее красота только подтверждала правило — не верить всему, что прибывает с той стороны, обобрать нас как липку, как их самих обобрали за несколько столетий.

Я таможенникам очень не нравился, и они рылись в наших чемоданах особенно долго, пока я не вручил одному из них сто рублей, а на просьбу дать еще свернул пальцы в фигу.

Она следила за моими манипуляциями недоверчиво, не верила, что из этого может выйти путное, ей не приходилось бывать здесь раньше, стоять в Майданеке посреди ангара, с потолка которого через распылители еще каких-нибудь сорок лет назад сыпался на моих соплеменников «циклон Б», и стоки по углам ангара готовы были принять их кровь и нечистоты, а я стоял и видел, что сквозь щель в ангар пробивается редкое солнце, к которому, наверное, рвалась их душа, умирая.

Так что я побывал в Майданеке одним люблинским летом, и он вспоминается мне, как музыка. Только я не могу эту музыку записать, потому что не знаю нот и нет у меня сердца, которым это все записывается.

Она не могла это знать, потому что не была в Майданеке и потому, что Майданек не Париж, в который я их вез, здесь бы мы ничего не решили, здесь все было решено за нас. И я попрощался с Польшей навсегда, как только выbralся оттуда.

Я мог бы все это рассказать своим детям, но решил их не пугать, да и она была бы раздражена рассказом, подумала, что хочу разжалобить. И теперь она продолжала тревожно молчать, не веря, что я справлюсь, и передернула плечами недовольно после того, как таможенники ушли. А когда ушли, велела нам выйти.

Мы стояли и смотрели через щель в двери, как тщательно и сурово она снова начала складывать вещи, отказываясь от всякой помощи, и складывала так долго, будто укоряла меня, что я нарочно везу их в Париж, чтобы подвергать подобным истязаниям.

А впереди еще две таможни, правда в цивилизованных странах, но обыскивают такие же смертные.

Вечер. Простота одеяла. Теплый лоскут, нетребовательный, спрятавший мою бессонницу от мира на несколько часов. Зачем я все это затеял?

Если бы мне не приснился мотивчик, я бы, пожалуй, никого не стал беспокоить, но он приснился, и его следовало записать. Как?

Он так назойливо приснился, будто его нашептали. И будто я видел того, кто, склонившись ко мне, шептал.

Но в купе, кроме нас, четверых, никого не было. На нижней полке под мной похрапывал сын, бесшумно спала она, заложив руку под голову, вверху в темноте, как в поднебесье, мы с дочкой.

Всю ночь что-то перебирали под вагонами, не могли успокоиться, или это рельсы на ходу менялись местами?

— Куда его деть? — сходил я с ума. — Куда-то же его надо деть?



Но от меня результата не дождался, умножил сам.

— Недалеко от Бонна,— сказал он.— Но и это неточно.

Шинкиле не мог родиться ни в Бонне, ни недалеко от Бонна. Несolidный он для этих мест гражданин, этот Шинкиле, сочинитель мотивчиков, я был в Бонне, там нужна шляпа с пером, сотни скрипок, постоянное вдохновение, там картинно течет Рейн меж бутафорских живописных берегов, а посреди города кладбище, на котором лежат твои предки, и ты туда когда-нибудь переберешься, чтобы быть с вечностью, не покидая Бонна, и бабушка с дедушкой станут тебя расспрашивать — много ли ты набрался знаний на земле, и ты обстоятельно доложишь им все свои знания.

— Он не из этих мест,— сказал я.

— Кто?

Объяснять не имело смысла, я поблагодарил и вернулся в купе. Присел на нижнюю полку к сыну, почувствовал, что не в состоянии справиться с Шинкиле в одиночку, наклонился и зашептал: «Шинкиле, Шинкиле или джаз...»

Я шептал тихо-тихо, не слыша самого себя, но так увлеченно и долго, что не сразу заметил, как его глаза заблестели в темноте и он взял мою ладонь в свою.

— Что такое Шинкиле? — спросил он.

— Тише,— сказал я.— Всех разбудим.

— Ты назвал меня Шинкиле,— повторил он.— Я не Шинкиле. Ты что, забыл, как меня зовут?

— Пожалуйста,— попросил я.— Попробуй запомнить песенку, что я тебе напою. Ты запомнишь, потом мы снова уснем, а утром проснемся и удивим этой песенкой наших.

— Хорошо,— ответил он.

Тут я стал напевать чаще и чаще, он вторить, кажется, и она тоже услышала, приподняла голову, ничего не сказала, отвернулась к стене. Мы пели друг другу, и допелись до того, что уснули рядом, обнявшись.

Посвятить надо тем, кто плачет от усталости. У меня есть друг, он так устал, что многие годы мечтал не проснуться, но потом он женился на больной девушке, которая устала от своей болезни больше, чем он, мой друг. Три месяца в году по весне ее посещало безумие, и она перестала помнить — кто она и зачем живет. Ее родители дали согласие на брак, потому что взглянули на моего друга и обо всем догадались.

Он стал заботиться о ней и в заботе этой перестал бояться пробуждения.

— Доброе утро,— говорил он.— Как ты спала, моя дорогая?

— Я чуть-чуть поспала, а потом проснулась и стала смотреть, как ты спишь.

— Это плохо,— немного рисуясь, объяснил он.— Надо спать. Впереди большой день. Вот послушай, что я придумал...

И они начинали шептаться.

Тем, кто плачет от усталости, посвящаю эту книгу.

И все-таки перед самым Парижем она встрепенулась. Встрепенулась, как человек, впервые увидевший иероглиф или которому только что объяснили, что иероглиф тоже имеет значение, он не просто рисунок, иероглиф, он — слово, смысл, она всегда была любознательна и перед самым Парижем встрепенулась.

Радоваться она не могла, для радости мне необходимо было исчезнуть.

«Господи,— наверное, думала она.— Объясни хоть ты этому идиоту, что мы не должны быть сейчас вместе, неужели нельзя это понять?»

Я и не думал понимать, я привез их в Париж.

— Дети,— сказала она.— Мы приехали. Не отходите никуда, пока мы не возьмем такси.

Мы — это я. Надо же было меня хоть как-то обозвать.

И вот — Париж, и вот на ее прекрасном лице что-то вроде любопытства, но везде — я, и она отворачивается, чтобы не оставлять мне надежды.

Она не хочет видеть меня счастливым. Выдержать, дотянуть до конца, продержаться ради детей — вот все, о чем она думает в то время, как я показываю им Париж.

Между тем ее здесь ждали, я это чувствовал физически, никогда Париж не был так хорош, как при этой встрече с ней. «Гранд-опера», Вандомская, «Комеди Франсэз», Лувр — все это не убежало, осталось на месте, ждало ее, но она отворачивалась от моих восклицаний, правда, куда бы она ни отворачивалась, ее поджидало великолепие.

— Мама, посмотри, мама, ты не туда смотришь! — кричали дети.

И она отвечала коротко: «Вижу! Сами смотрите».

И отворачивалась. А что было в ее глазах, я знаю, и ничего сделать с этим не могу. Я тянусь к ней Парижем, а она отворачивается, отворачивается от Парижа, запачканного моими восторгами, во всем ей чудятся уловка, хитрость моя и изворотливость, она и представить не может, до чего все это бескорыстно.

Как только увидел город, захотелось поделиться с нею, Парижа не убудет, а она станет счастливой, я не мог ошибиться, что ехать надо было именно сюда, здесь никому нет до тебя дела, никто не заглянет лишний раз в душу, не спросит сочувственно: «Плохо тебе?»

Здесь все вопиет: «Хорошо, хорошо, тебе хорошо, правда, хорошо тебе, это я только для тебя, я — Париж, и, представляешь, только для тебя, никого нет, ты да я».

И не услышать это восклицание было невозможно, и не поверить невозможно, и она слышала, но ответить ей было нечем.

Она мучилась, бедная, но Париж не умел сочувствовать, он умел радовать, но сочувствовать он не умел и не собирался учиться, ему хватало самого себя, и он бежал дальше, опережая нас.

А я все еще продолжал выкрикивать: Сен-Мишель, Люксембургский сад, Монпарнас...

Эту квартиру еще можно попытаться описать, труднее попасть в нее. Вход с улицы устроен так, что вы обязательно ошибались дверью. И не понимали, как это вам удалось.

Вот она, дверь. Желтая, блестящая. Но вы ошибались. А иногда, глядя прямо в нее, ее не видели и звонили в соседнюю. Какая-то мифическая дверь. Есть и нет.

На древнем острове Сен-Луи, с которого, собственно, и начинался Париж, наверное, еще были странные входы, но этот один из самых странных. Наверное, четыреста лет назад здесь была маленькая гостиница, лестницу которой можно было преодолеть в три прыжка, правда, согнувшись в три погибели и очень невысокому человеку. В эту щель в пространстве, ограниченную размером невидимой двери, и был втиснут весь наш трехэтажный дом.

Мы жили, как в узкой башенке, внедренной в пространство огромного города, в самой этой щели, не просто в щели, а на самом ее верху, на острие, где непонятным образом примостилась маленькая комната с альковом, прямо-таки королевским, в который вели две небольшие ступени, с зеркалом и пристроенной кухонькой, не кухонькой даже, а плитой, вделанной в стену чуть ли не соседнего такого же дома.

И все это хрупкое творение парижской голи, что на выдумку хитра, глядело в окно на набережную, на Сену, на мост Пон-Мари через Сену, чудный тяжеленький мост Пон-Мари, на котором горели всю ночь фонари, а под ними целовались парижане. Они так целовались, что это хотелось показывать детям.

Девушки сидели на парашете, а парни оставались стоять прямо на мосту между раздвинутых девичьих ног, сжимая ладонями девичьи лица.

И, зная, что все это происходит здесь же, под твоими окнами, стоит только взглянуть, начинаешь испытывать такую грусть, которую унять скоро не удается.

Решили, что она ляжет с дочкой в алькове, мы с малышом на полу, комната рассчитана на одного подгулявшего мушкетера, не на нас, четверых. Но я благодарен своему парижскому приятелю и за это.

Она скептически осмотрела комнату, хотя та ей сразу понравилась, в другое время, в состоянии счастья, она бы, попав сюда, непременно расхохоталась: настолько комичной, похожей на теплую домашнюю туфлю, была эта комната.

Но сейчас она измерила ее глазами, как измеряют тюремную камеру, в которой придется жить не месяц, как мы предполагали, а весь вынесенный срок приговора.

Дети смотрели иначе, разбросали по ковровому покрытию игрушки, залезли в альков, как в пещеру, они нашли свой Париж.

Но я знал, что все только начинается, и торопил, торопил.

— Ну и иди,— сказала она.

— Как же... Я хотел с вами.

— Каждый из нас способен решать за себя.

И обратилась к детям:

— Вы хотите сейчас куда-нибудь пойти?

— Нет, папа, нам здесь нравится, мы поиграем немного.

Свет они попросили не зажигать, комната озарялась полосами света на полке с проходящих по Сене туристских суденышек, она мрачно возилась, разбирая чемоданы, цокали по булыжникам каблучки парижанок, дети играли, и, поняв, что мне предоставлена свобода, которой я не добивался, я ушел в Париж один.

Я хочу написать книгу, легкую, как моя жизнь, и посвятить ее тем, кто не умеет жить легко. И о том написать, что мне не было грустно, когда я вышел из нашего парижского убежища, правда, не было, и о том, что мне никогда не бывает грустно, и если, пробсыпаясь ночью, чтобы удобней устроиться, шепчу: «Застрелиться бы»,— это ничего не значит, честное слово, ничего, что плохо мне или грустно, что боюсь начать новый день, нет, просто один раз вырвалось, а потом я привык повторять эту для кого-то важную фразу, может быть, чтобы на вкус понять ее значение или придать большую весомость моей легкомысленной жизни, а может быть, просто испытываю судьбу, кто знает?

И, памятуя, что легкомыслие — мой конек и спасение, что оно у меня от Бога, я даже в холодильнике морга ничего трагического не испытал, даже продвигаясь в глубь к тому самому месту, где молодой красавец-гример с медным крестом на шее под индийскую музыку готовился привести в порядок нашего умершего друга перед тем, как положить его в гроб на всеобщее рассмотрение; даже пробегая по всему длинному коридору Института кардиологии, отправляясь на помощь гримеру, чтоб не ошибся, сбрил бороду, отросшую, пока мой друг лежал в коме, оставил только щеточку усов; мимо органов тела, упакованных в прозрачный полиэтилен, пробегая, мимо чьего-то сердца, брошенного в ведро с раствором, плоское, как подсолнух, от перенесенных инфарктов, я ничего тяжелого не испытал, а если что и запомнил, то дырочку на шерстяном носке моего друга, после того как мы с гримером его обрядили, дырочку на одном из носков, переданных мне женой покойного, бесконечно присягнувшей ему в любви при жизни.

А в самом деле зачем ему Там новенькие носки? Жить надо экономно, кто ей теперь, кроме себя самой, поможет?

Не это надо вспоминать, выходя в ночной Париж, но имеет же человек право обидеться, наконец, потому что она не только отказала мне в радости показать им Париж в день приезда, но и велела там, дома, мне, именно мне, умирающему от страха перед смертью, мне, а не другим, более близким покойному, пойти в эту камеру и помочь гримеру.

Она-то знала, что я помчусь, потому что виноват и хочу зализать свою вину даже ценой собственной жизни, она-то знала, что я не хожу на похороны после смерти отца, потому что боюсь видеть моих друзей в гробу или каждый раз

прощаться с самим собой, она знала, но велела мне это сделать, и если бы просто, нет, с каким-то злорадством, с каким-то недобрым мстительным чувством, может быть, желая, чтобы я отказался и подтвердил, что не только неверный муж, но еще и трус, бросить которого немедленно надлежит.

Но я оказался догадлив и ловок и бросился в этот холодильник морга, как за снисхождением, как за смягчением приговора, представляя ее лицо, когда выйду оттуда, руки, которые меня обнимут, и губы, шепчущие: «Я знаю, чего это тебе стоило».

Я выходил и входил туда дважды, потому что сам в непривычных обстоятельствах забыл, как выглядел покойник, не мог надивиться длинной остроко-нечной, бесконечно преобразившей его бороде, и вышел, чтобы взять фотографию у его жены и снова туда вернуться.

Но сколько я не гонял туда и обратно, она оставалась непреклонной. Это я потом понял, что она и не собиралась мстить, она думала об умершем, а не обо мне. Для того, чтобы она обратила на меня внимание, мы должны были бы поменяться с ним местами.

Я вышел за дверь. Кто только не проходил мимо нее за столетие, какая счастливая дверь! И, может быть, пьяный Верлен дремал на ступени, прислонившись к ней. Я в Париже, я живу за дверью, к которой прислонялся Верлен. И, оглянувшись, чтобы все-таки не ошибиться дверью, когда вернусь, я пошел привычной дорогой по направлению к Сите, мне нравилось вспоминать Париж, вся моя жизнь была только преддверием к Парижу.

Когда я вернулся, они уже спали, след их шепота еще оставался в комнате, обрадовался, что сразу уснули на новом месте, погоревал, что уснули, не видя ночного Парижа.

Мой уход, как и возвращение, остались незамеченными, только малыш, когда я лег рядом, сонно сказал:

— Я не сплю. Ты не обиделся?

— На что?

— Что я не пошел с тобой, такая комната хорошая.

— Я не обиделся.

— А я твой мотивчик помню, ты забыл, а я помню. Утром напомни.

И уснул окончательно.

Я не хотел спать, смотрел на полосы света, розовые, зеленые, мечтал подойти к окну и взглянуть на целующихся, но боялся потревожить своих. Заметила ли она, что Париж не спит, не спит, будто боится пропустить самое главное — жизнь?

Не заметила, а ложась в постель, не преминула подумать, что я уже был в этой квартире с другой или другими, черт знает какие у меня здесь друзья, она и знакомиться с ними не хотела, мне просто приятно еще глубже окунуть ее в мерзость, в отраву измены, она думала обо мне так, будто никогда за жизнь не позволяла себе думать обо мне хорошо, не заносила в свой дневник все, что успела узнать обо мне.

Из необыкновенного я был разжалован не просто в обыкновенные — в худшие, в самые худшие, просто — в чужие. И это с чужим и детьми от чужого она приехала сейчас в Париж.

Мне было жаль ее, хотелось разбудить, обнять, объяснить, что я не изменился, что только с ними я тот, кого она любит, а все остальное я прошу не заставлять меня обдумывать или того хуже — каяться, нет ничего отвратительней кающегося грешника, у меня еще хватит времени понять правоту свою или неправоту, разобратся.

Человек не всегда живет осмысленно, жить осмысленно — все равно что постоянно ощущать, что ты горбат, или слеп, или что-то еще в этом роде. Я не могу объяснить ей, что она слишком заслонила меня от мира, я жил в какой-то резервации любви и однажды сказал ей: «Не могу тебя целовать, сплошная идиллия».

«Плохо тебе?»

«Но я же еще не в раю».

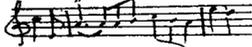
Она обиделась, потому что привыкла так меня целовать, ей показалось, что я пресытился ее любовью, и долго пришлось объяснять, что пошутил, может быть, и не совсем удачно.

Она была слишком хороша для моих шуток, до сих пор не знаю, как у нее с юмором, плакать любила, особенно выпив, на праздниках, по-бабьи, когда пьяненьким кажется, что чувствовать в этом мире умеют только они.

Говорила тогда патетично до глупости, и мне становилось стыдно. Но остальные не замечали, они не слушали, а смотрели на нее, так она была красива. Господи, как она красива, Господи, дай мне уснуть одному хоть на пару часов в Париже, под мышкой у этого родного города, дай мне уснуть здесь, потому что нигде ни в каком другом месте я не буду спать лучше, — она здесь, со мной, в Париже. А обстоятельства, ну обстоятельства, разные бывают обстоятельства.

В полной неопределенности заснул я в эту ночь.

А потом мне приснилась музыка, неужели она будет сниться теперь всегда? Совсем другая музыка, в ней я пытался убежать от тебя, здесь и жалость к себе, и к тебе нежность, и уверенность, что убежать невозможно, и что-то такое беспрерывно долбящее душу. Тат-а-тат-тат. Не было желания ее запомнить, как тот, первый, вагонный мотивчик, я не стал будить малыша, довольно с него Шинкиле, я мог позволить себе роскошь ее забыть, как это у меня получается, чем это я разговариваю с тобой, чем это я пою?

Ты слышишь меня — та-та-та-а  — это будущее наше расставание, та-та-та-а  — это я без тебя. Та-та-та.  Как стыдно, как неловко сочинять музыку, не умея этого делать.

Париж заглянул с Сены в окно, и я проснулся. Мне показалось, что хорошо было бы исчезнуть с утра пораньше, дать ей привести себя в порядок. Конечно, я видел ее разной в разное время дня и больше всего на свете любил просыпаться по утрам рядом, зная, что сейчас увижу ее лицо, я и женился, чтобы видеть ее лицо по утрам, но сейчас, когда она спала в алькове, сжавшись от раздражения и недовольства, что-то подсказало мне: «Выметайся!»

Я и вымелся вниз по лестнице, чтобы сразу за дверью столкнуться с неграми в зеленых комбинезонах, до чего неграм к лицу зеленое, они перетаскивали мешки с мусором от подъездов к деревьям в ожидании уборочных машин, здороваться с ними не имело смысла, все равно не ответят, и, подавившись бонжуром, я вымелся еще ниже, к Сене, и побежал вдоль реки, делая движения, которые должны были, вероятно, обозначать утреннюю гимнастику, или я так приветствовал утренний город, не знаю, но, к счастью, никого не обеспокоил, город жил по законам, скрытым от меня, ни одна ставня не распахнулась в ответ, ни одна собака не появилась, чтобы помчаться за мной, только бомжи, которые все видели, приоткрыли глаза, когда я пробежал мимо скамеек, размахивая руками.

«Ну началось, — подумали они. — Еще один бежит».

В отместку я мысленно обозвал их круассанами. Круассан 1, круассан 2 и 3.

Сена лежала лицом ко мне, как любимая, чуть-чуть приоткрыв припухшие от сна губы для почти молитвенного прикосновения, и движения мои из гимнастических стали ритуальными, руки вознеслись к небу, а жирок, я позволил себе раздеться, трепыхался в такт движениям. Я жалел, что круассаны не могут видеть серебряный медальон на шее, когда я бегу, медальон блестел на солнце и болтался, невозможно разглядеть профиль мрачного человека в треуголке, скрестившего на груди руки. Императора подарил мне близкий мой друг, нашла на него блажь — сорвать с себя в мой день рождения семейную реликвию, сто двадцать лет назад приобретенную здесь, в Париже, он подарил мне ее со всеми своими болячками, которые пропитали медальон, пока он висел на теле этого очень нервного, очень талантливого человека, он так упорно испытывал себя на

прочность, что теперь не выходил на улицу без шприца и инсулина и колелся в любом месте, где заставал его приступ диабетической болезни. О, он был титан саморазрушения, в этом проявлялась наша близость, в нем жили детское презрение к смерти и какая-то мрачная уверенность, что, встретив, он ей покажет кузькину мать. А пока, кроме диабета, у него болело сердце, подгнивала нога и очень портился характер.

Не знаю, что думал о моем друге император, но даже его терпеливый организм всеми этими напастями пропитался, и, восторженно приняв подарок, я вскоре почувствовал, что болезни моего друга и императора плавно перешли ко мне. И сердце пошаливало, и нога подгнивала, и потянулась рука к шприцу.

И тогда она решила прекратить безобразия и освятить медальон, так решались в нашем доме многие проблемы, она даже меня крестила, когда я вышел из больницы живым, хотела, вероятно, закрепить свой договор с Богом по поводу меня, какое-то обещание, содержание которого я не знал, но покорно крестился в попытке обуздать себя еще один раз, правда, покоя так и не обрел, по-прежнему не чувствуя ни к чему себя приписанным.

Представляете, как был недоволен император, когда его окунали в святую воду, но действительно выздоровел, а вместе с ним и я.

А пока болтался медальон на шее, давая мне право чувствовать себя в Париже своим.

Бомжи окончательно проснулись. Один из них разлегся и стал болтать ногами в воздухе, явно меня передразнивая, другой достал из-под скамьи термос, отвинтил колпачок, налил в него что-то дымящееся, отпил два глотка, передал первому, тот, забыв обо мне, уселся, с удовольствием потягивая кофе, а третий круассан вообще не стал дожидаться, а резко поднявшись, отошел к стене, и в это время ударили колокола Нотр-Дама, я замер, даже те двое, пьющих, прислушались, но в поведении третьего ничего не изменилось, он так и остался стоять у стены спиной ко мне, пока били колокола Нотр-Дама. Что он делал, этот чертов круассан, второй или третий? Что он там делал, когда забили колокола уже во всех парижских церквях, когда цветочницы выносили горшки с цветами и ставили их на землю для продажи, когда букинисты вставляли ключи в замки своих ларцов перед тем, как поднять крышку, когда служащие Лувра чистили униформу для встречи посетителей, когда подвозили лоток с мороженым к Люксембургскому саду и первый утренний парижанин-посетитель уже водрузился на стул со свежей газетой в руках, когда забили фонтаны, запели птицы, каменщик приладил кирпич к недостроенной стене на площади Республики, когда министр разволновался беспричинно, а священник семенил в исповедальню, когда девочка принесла домой первые только что купленные настоящие, еще теплые круассаны с шоколадом, когда были открыты рты, чтобы их надкусить, когда всем не равно, когда все верят, что случится, когда...

Не отходя от стены круассан вытер руку краем куртки и пошел вдоль стены вверх, в город, спокойно, будто ничего себе не позволил и ничего не нарушил. Наверное, он пошел купить бутылку молока, а потом вернуться или поглазеть на что-нибудь так просто, от нечего делать, и уже не возвращаться, не знаю, но мне захотелось подражать ему, его наглости, его парижской уверенности в себе, развинченной походке, и я пошел точно так же, как он, не оглядываясь, только в другую сторону, еще более развинченно и великолепно.

Как хотелось мне, чтобы они, проснувшись, выглянули в окно и увидели меня, ловко идущего вдоль Сены, пусть посмеются, и она тоже, я уже слышу ее смех, смех — первый шаг к примирению, а если и не посмеется, подумает — какой дурак! Какой неисправимый дурак! Кем он сейчас себя воображает?

А это значит, что пытается заглянуть в мою душу и сквозь мою душу на этот летний, легкий, очень легкий утренний свет Парижа, не свет даже, свечение, дрожь проснувшейся не до конца реки, и она пошлет детей за мной, чтобы пойти куда-нибудь позавтракать вместе, а потом спохватится, что забыла в комнате фотоаппарат, и погонит меня за ним, а сама вместе с детьми останется сидеть в кафе, пока я не вернусь, и разглядывать идущих парижан рядом с сидящи-

ми, потому что ничто не доставляет парижанам большее удовольствие, чем созерцание друг друга, этого им на целую жизнь хватит.

А потом я возвращусь с фотоаппаратом и она скажет, чтобы я сфотографировал ее вместе с детьми, потягивающей кофе, и я, на радостях позабыв открыть затвор, буду жать кнопку, недоумевая — почему я их не вижу, моих трех самых любимых?

— Ну вот, — скажет она, — объясните ему.

И дети подбегут смеясь и отберут фотоаппарат, откроют, и я, пристыженный и счастливый, все же нажму на кнопку, чтобы запечатлеть их в это первое парижское утро, и ничего не успею сделать с посетителями кафе, с теми, кто захочет сняться вместе с ней, успев просунуть сзади в кадр идиотскую рожу.

Но в наше окно никто не смотрел, никто не махал рукой. И я побежал дальше, дальше, давась свободой.

Мы шли с малышом по Шанз-Элизе. Я был вне себя от ярости.

— Так нельзя, она обещала, мы прождали целых два часа.

— Я не знаю.

— Но она же обещала!

Меня несло, я обнаружил, что ни о чем, кроме как о ней, не могу говорить, сука, сука, меня трясло от возмущения. Мне некого было грузить, остановиться я не мог и продолжал грузить эту маленькую чуткую душу.

— Ты ей скажи, что она не права, — снова начал я. — Нельзя так в Париже мучить друг друга.

Он остановился.

— Если ты взял меня с собой, чтобы говорить о маме, я уйду.

— Прости.

— Я и так все время думаю о вас. У меня голова болит. Тебе что, плохо со мной?

— Знаешь, как мне с тобой хорошо? — сказал я. — Знаешь?

— Тогда пойдём, — предложил он, как взрослый.

И мы пошли по Шанз-Элизе, двое мужчин, большой и маленький, и больше ни о чем не жалели. Я перестал нести чепуху и стал рассказывать о бароне Османе и о глупом опереточном Наполеоне III, о его непомерных амбициях, создавших эту прекрасную улицу, какой мы ее видим, о попытке карлика стать на цыпочки, чтобы сравняться с великаном, висящим у меня на шее, о войсках коалиции, входящих в Париж под Триумфальной аркой, выстроенной совсем не для этого, я рассказывал о мире как о поле, которое засевают одни, а урожай снимают другие, о мечте и действительности, весь Париж был на стыке мечты и действительности, нигде в мире они так часто не совпадали, я рассказал маленькому о Гюго, великом поэте, и об его завещании — переименовать Париж в Гюго.

— Он так любил себя?

— Он так любил Париж.

— Папа, ты не понимаешь, он так любил себя.

Завещание Гюго очень удручило малыша, я пожалел о своем рассказе.

— Он был дурак, твой Гюго.

— Он написал «Отверженных», самую трогательную книгу о человеческом сердце.

— Но больше он был дурак или сошел с ума перед смертью.

И не нужно было доказательств, мы шли по лучшей в мире улице, обе стороны которой зеркально отражались друг в друге, толпа текла, самодовольная и томная, из одного конца в другой, и мягкое ее течение очаровало нас и подхватило. Мы шли издалека и давно в этой толпе, шли туда-сюда, туда-сюда, усталости не чувствуя. Изредка я предлагал ему присесть, он отказывался, он не думал о ногах, мысли его были заняты совсем другим, я никогда не узнаю — о чем думал мой сын в тот вечер в Париже на Шанз-Элизе, тяжести или счастья прибавила ему эта первая наша мужская прогулка, я никогда не узнаю, действительно

был ли он занят тем, что происходит между его мамой и мной, и какими тенями эти невеселые рассуждения легли на его душу. Если проживу еще несколько лет и она не отберет у меня детей, обязательно спрошу.

Но сейчас мы шагали по Шанз-Элизе, безбородые юноши, стоя на роликах, жонглировали длинными светящимися сосисками шаров, играла музыка рядом, в открытых кафе мужчины старались есть не сутулясь, чтобы не сводить глаз со своих женщин, и, как всегда, я отвечал за каждый взгляд свой, каждый вздох, потому что он не просто шел со мной по тротуару Парижа рядом, он шел вслед за мной, шел мысленно, я это понял уже давно и никогда не признавался ему в своем открытии, он шел за мной изнутри меня самого, постигая мир, он постигал меня как мир, он постигал меня, даже когда я отпускал его руку, он-то ее никогда не отпускал, он доверял мне всецело, и главное было — не завести его в трясину моих размышлений.

И так по краям натягивалось небо над этой широкой улицей, что за них обоих становилось страшно.

Но острота бытия настраивала на другой лад, и, не забывая, что он здесь, я все же думал о своем, очень о своем, и отвечал ему машинально. Потом спохватывался, но было уже поздно, вновь пропустил вопрос, а ему то ли было достаточно, что я иду рядом и говорю невпопад, то ли он не мог представить, что я невнимателен к нему, он был само всепрощение, само сияние, наш с ней ребенок.

Двое ведут под локотки девушку, какая красивая девушка! Девушка с Шанз-Элизе. Куда они ее ведут, почти тащат? Высокая-высокая, по-модному широкая в плечах, ей нравится, когда ее тащат по Шанз-Элизе, а люди, и я, и малыш оглядываемся. У нее подворачиваются ноги. Она идет неверным шагом. Неужели пьяна? Это сильная, большая девушка, завидно тому, кого она любит, а ухагеры мелкие, с нездоровыми зубами, похожие на сутенеров. Они ведут ее, как лошадь, под уздцы, куда они ее ведут? Девушка не сопротивляется, ей нравится, что ее вот так волокут, сквозь толпу, все оглядываются, и какая-то компания арабов отпускает вслед недвусмысленное, я начинаю ненавидеть арабов, потому что девушка прекрасна, потому что ее уводят от меня, потому что она заметила мою нежность, и, держа малыша за руку, иду за ней. Я иду за этой полуголой спиной, этими длинными подгибающимися ногами, острым запахом сирени, будто мимо пронесли целый куст, я тащусь за ней, скрывая от малыша свой интерес, даже успеваю вертеть головой, будто разглядываю витрины, но он догадывается.

— Странная девушка, правда? — спрашивает он.

— Красивая.

— Странная. Красивая — мама, а эта — странная. И так громко смеется!

— Что же в ней странного? — За неимением другого собеседника пускаюсь в скользкие рассуждения: — Наверное, какая-нибудь танцовщица из Лидо. Видишь, на нее все смотрят?

— Странная, — задумчиво повторяет малыш.

Девушка еще раз оглядывается, желая проверить, иду ли я все еще за ней, не ошиблась ли, поворачивается как в танце, полукорпусом, вызывая картину, всем изгибом длинной и сильной шеи, приглашая меня действовать, и я уже готов, как вдруг понимаю, что малыш прав, странная девушка, весьма странная, его величество — трансвестит.

— Пойдем отсюда, — говорю я. — Ну их с этими выдумками!

И, ничего не объясняя малышу, разворачиваюсь в другую сторону, в смятении, почти бегу, как всегда при встрече с необъяснимым, с чьей-то сильной страстью, с существом, не пощадившим себя, без страха быть не узнанным теми, кто его родил, кто любил, не узнанным самим собой наконец.

Риск неудобен, сломить неудобство риска, что мои измены? Жиденская имитация, я осуществился только в воображении, запретное мне привычно на словах, я все тот же мальчик в плюшевом комбинезончике, все тот же мальчик.

Мне было страшно смотреть, страшно думать, что смотрел, что мог пойти за ней и раствориться. Мне было страшно представить последствия воплощен-

ного желания, последствия порока и в то же время захотелось перелететь в прошлое лето в Рио, где меня позвала другая, неподдельная, тоже тонкая и высокая, давно решившаяся, дразня язычком, за собой позвала, они спешили с подругой, возможно, на вызов, она звала, пробегая, а я отвернулся — почему? Неужели для того, чтобы сейчас на Шанз-Элизе в Париже рядом с маленьким сыном жалеть об этом?

Бог не повторяется, я не вернусь на улицу принцессы Изабеллы в Рио, не встречу торжествующую мулатку, дразнящую языком, как никогда не подойду и не познакомлюсь со сделавшим свой выбор трансвеститом.

И, пока я буду страдать, что оскорбил любимого человека, моя душа никогда не будет свободной. Может быть, совесть — всего лишь поплавок, что держит нас на поверхности жизни, не дает погрузиться в глубину?

Надо написать историю коротких и безответственных встреч, которые не стыдно вспоминать умирая.

Посвящаю придаточным предложениям, не позволившим ясно и точно изложить мысль.

А потом мы увидели Шинкиле.

— Шинкиле, — сказал малыш.

Так что это он, а не я первым заметил велосипедиста с флейтой. Но каким образом догадался, что это Шинкиле, да еще тот самый, не знаю. Но когда ты видел, как тот неуклюже сползал с велосипеда, чему-то своему улыбаясь, как приставлял велосипед к стене, уже предвкушая, что сейчас отстегнет притороченный к сиденью футляр, достанет флейту и прямо с улицы, у входа, перед открытой дверью, стоя пряменько-пряменько на широко расставленных крепких ножках, заиграет что-то такое трогательное, гораздо-гораздо лучше моего странного мотивчика, ты понимал, что, конечно, это он, Шинкиле, собственной персоной — только почему музыкант, откуда взялся и что делает здесь, в Париже?

Может быть, приехал специально для встречи со мной и теперь свистит флейточкой, вызывая меня из кафе, может быть, это совпадение, одно из тех немногих, что сдобривают жизнь?

— Вас зовут Шинкиле? — спрашиваю я.

— Хотите меня так называть — зовите, — улыбаясь, ответил он. — Хотя я — Наум.

— Как же?

— Неважно. Шинкиле мне тоже нравится, я приехал из Израиля, а вы?

И, пока объясняю, откуда я приехал, он доброжелательно жмет мою руку своей мягкой, чуть влажной.

— Ой, какой у вас чудесный мальчик! Это ваш сын? У меня тоже есть брат, маленький, он остался в Ашдоте с мамой, мама не хотела отпускать меня в Париж, но я сказал, что никогда не стану там у нас большим музыкантом, а здесь стану и заработаю для них кучу денег.

— И тогда они вас отпустили, — сказал я.

— И тогда они меня отпустили, или я сбежал сам, это неважно, я здесь, скоро экзамены, я поступлю в консерваторию, вы называете меня Шинкиле, еврей в Париже почти европеец, правда, сегодня хороший день, у вас чудный мальчик, я улыбаюсь вам, вы — мне, хотите, я сыграю на флейте Чайковского, «Испанское каприччио», вы любите Чайковского? Вы можете ничего мне не платить, купите только пирожное, то большое, с клубникой, я обожаю пирожные, я отведу вас в одно место, пальчики облизете, но боюсь потолокстеть, велосипед не выдержит мою задницу, у меня такая задница и такой велосипед, это не мой, это велосипед из цирка, мне дал его друг, он — клоун, только на этом он давно не работает, для эквilibра велосипед не годится, а для меня как раз, я недавно научился ездить, это очень удобно, ваш мальчик умеет ездить на велосипеде? Научить?

Чтобы он замолчал на минуточку, я заказал то самое пирожное с клубникой, и, усевшись за наш столик, он стал вилочкой важно и серьезно есть пирожное, подбирая крошки.

— Я люблю сладкое, — сокрушенно повторял Шинкиле. — Иногда мне кажется, что я люблю сладкое и музыку одинаково. Вдруг это одно и то же, а? Как вы думаете? — засмеялся он. — Я люблю сладкое, и я буду играть на флейте лучше всех в мире. Но здесь очень дорого, и, пока я играю у входа в кафе, моя музыка нравится, меня не гонят, я могу кое-как прожить до экзаменов, даже коплю брату на подарок, какой подарок ты сделал бы брату в Париже? — спросил он малыша.

— У меня — сестра.

— Ну сестре, дети все одинаковы, они обожают подарки, о которых мечтал, я мечтал о флейте, но у меня есть флейта и даже есть велосипед, правда, ненадолго, его скоро попросят назад, но моему брату ни велосипед, ни флейта не нужны, он любит шахматы, играть он не умеет, он оборачивает каждую фигурку в тряпочку и прячет под кровать, если вы наклонитесь, обязательно увидите завернутую в тряпочку фигурку, когда-нибудь мой брат станет чемпионом мира и заработает целую кучу денег, наши часто становятся чемпионами, Бог любит музыкантов и шахматистов, мы купим маме виллу в Ницце на старости лет, но наша мама никуда из Израиля не уедет, она приехала туда умирать, и будьте уверены, своего добьется, но если я ей скажу, что в Ницце — море цветов, она обожает цветы, как вы думаете, она придет, я пришлю ей деньги на билет.

Надо было, чтобы он замолчал, но, странное дело, под щebetанье Шинкиле мне становилось уютнее жить.

— А почему вы называете меня Шинкиле? Это что-то ласковое? Есть Шинкиле, есть Мотеле, но Шинкиле я никогда не слышал, откуда вы взяли это имя?

— Выдумал, — сказал я.

— Ой, сами, ой, вы — выдумщик, обожаю выдумщиков, я, например, ничего сочинять не умею, я говорю только правду, это очень противно, еврей не должен говорить голую правду, нужна фантазия, у меня ее нет, все просят — помолчи, помолчи, кто тебя за язык тянет, кому это интересно, вокруг люди, а я говорю и говорю. Бог дал человеку возможность разговаривать с другими, разве этого мало, вам нравится со мной разговаривать?

— Шинкиле, — сказал я. — Это не мы с тобой, ты один разговариваешь.

— Ой, правда? Я так много говорю, что устаю от самого себя. Потому что я нервный, сначала я уговариваю себя, что никакой не нервный, просто веселый, потом люди говорят мне: ты очень нервный, тогда я расстраиваюсь и начинаю играть на флейте.

— Ты любишь играть на флейте?

— Обожаю! Это так же легко, как говорить.

— Да, да, стоит только нажать вот на те дырочки и дуть...

— Откуда вы знаете? Вы учились играть на флейте?

— Это Гамлет.

— Ой, я знаю Гамлета! Я мог бы проситься в театр, в оркестр, но я не люблю играть плохую музыку, а в театре она почти всегда плохая, ее сочиняют неудачники, а Моцарт не был неудачником, хотя его почему-то так все называют, сейчас я сыграю вам Моцарта.

И он играет. И все за столиками улыбаются, так потешно он таращит глаза, когда играет, и еще потому, что он, действительно, лучше всех в мире играет. А потом мы втроем идем по улице, держась за его велосипед.

— А теперь, друг мой, — говорю я, — вы сделаете мне одно одолжение, а уж я буду вам обязан все время, пока нахожусь в Париже.

— Я не делаю друзьям одолжений, — отвечает Шинкиле. — Вы только точно объясните.

Мы приходим на Пон-Мари, и я посылаю малыша наверх в квартиру, чтобы мои открыли окно. Окно открывают не сразу, наверное, она спросила — зачем? Но потом все-таки открывают, и на подоконник забираются дети, она же

мелькнет только один раз — выговорить им, чтобы не разгуливались, — свалятся, и я чувствую себя виноватым, что подвергаю их жизнь опасности. Она даже не взглянула на нас, а Шинкиле играет, все на мосту аплодируют, он хорошо играет, и остается надежда, что она все же слышит его в глубине квартиры. Детей же все время теребит, они отворачиваются, чтобы ей ответить, или зовут подойти — взглянуть, как смешно подпрыгивает Шинкиле во время игры, но слушать она им не дает, окно закрывается раньше, чем Шинкиле доиграет, и дослушиваю его я и те, кто на мосту.

Денег за этот концерт Шинкиле ни с кого не берет.

Мы стоим, смотрим на закрытое окно, на Сену, смотрим, как темнеет к вечеру золото Парижа, флейтист молчит, ему трудно, я знаю.

— Это их мама? — спрашивает он. — Очень красивая мама, она совсем не похожа на еврейку.

— Она не еврейка.

— И вы не бойтесь, ой, какой вы смелый, мне ни за что, ни за что не разрешат жениться на нееврейке, хотя мне нравятся еврейки, я все равно убегу, потому что ненавижу, когда мне запрещают, и женюсь на такой же красивой, как ваша. Это приятно — быть женатым на красивой?

Я промолчал.

— Что за глупости спрашиваю, не хотите — не говорите, я всегда сначала скажу, а потом жалею, что раньше не откусил себе язык, конечно, приятно, вы идете по городу, и вам все-все завидуют, а потом приходят домой и говорят домашним, что видели самую красивую пару на свете, те не верят; просят рассказать, а как тут можно рассказать?

Мы договариваемся о встрече, Шинкиле садится на велосипед и уезжает, продолжая беседовать с самим собой. Я же вздохну поглубже, наберу побольше воздуха и поднимусь наверх.

Это я позже узнал, что она сказала.

— Подозрительный тип, — сказала она.

Каждое утро я выбегал из дома, и теперь уже Сена, едва дождавшись меня, сама бежала вперед, раздвигая передо мной город.

Если солнечное пятно ляжет левее, что изменится? Что вообще меняется в душе от расположения солнечных пятен на брусчатке дебаркадера или бликов на воде? Надо довериться солнцу, оно приведет тебя куда нужно. А еще можно довериться сумеркам, а еще дождю и ветру, если вы в Париже, даже изморози, если у «Гранд-опера», и вы достаёте из кулечка каштаны, обжигая ладони.

Да, Бог не фраер, Бог не фраер. Никогда бы она не поверила, что, готовясь к Парижу, я встретил там, у нас дома, в метро Квазимодо, он сидел с самого края, задумавшись, и ближайшая соседка боялась случайно его коснуться, он сидел с края, возвышаясь над всеми, зная, что некрасив, но не догадываясь — насколько, в байковой рубашке, застегнутой под горло, король уродов Квазимодо, кулаки большие, волосатые водружены на колени, как кружки, и все равно как-то особенно выделялся большой циферблат на запястье, наверное, эти часы что-то для него значили. В толстые ботинки ушли носки, приоткрыв полоску кожи, садясь, он слишком высоко вздернул брюки, огромная, никому не нужная голова, мясистый нос, волосы, как всегда на большой голове, унылы и неопрятны, и, пока он шел к выходу, я думал, что в жизни есть все, что химеры воображения где-то воплощены. Заблудился он, что ли?

Я рассказал бы ей про Оффенбаха, как шел он передо мной, длинный, несуразный, совсем близко к особняку на улице Пове, и проводил указательным пальцем по стене особняка только одному ему видимую черту, как мимо меня на площади Бастилии провели бульдога, а он тут же вернулся, чтобы подпрыгнуть и стукнуться об меня всем телом в порыве восторга, о почтенной даме в халате, вышедшей на Пигаль из собственного дома так просто, попросить у меня прикурить, нет, это я переборщил, о даме не стоит. Ну тогда о пьянице на кладбище Монпарнас, возникшем из-за плиты, как из могилы, — сначала взлохмаченная

голова, затем рука, долженствующая эту голову почесать, вполне приличная голова, он и проводил меня к могиле Мопассана, там недалеко был похоронен и Петлюра, но она такому соседству не поверила бы.

Третьего дня я искал Квазимодо в Нотр-Даме, но убедился, что его нет — одно огромное дупло собора с мириадами огоньков в глубине.

Я рассказал бы много историй, не вымышленных, моих собственных. Ты бы ни одной не поверила, потребовала фактов, а не слов о том, что факты, мол, давно истлели. Ответила бы серьезно: «Я люблю точные и верные знания». Будто могла быть уверена хоть в одном источнике своих знаний. Реализм сильно вредил ей, но красота ее опровергала все сомнения в необыкновенном, если они еще у кого-то были.

Я терял одну из самых красивых женщин на свете, и никто не убедит меня, что красота — это еще не все, просто другим не повезло.

Я привез ее в Париж не случайно. Она и была — Париж, вот в чем штука, я пытался показать ей себя самою. Когда она улыбалась мне... нет, никому не скажу, как она мне улыбалась, даже ей, потому что она не поверит, что умела так улыбаться.

Да, Бог не фраер, Бог не фраер. Как говорит знакомый водитель: «Не выдумывайте, кому нравятся толстые, кому — тонкие, вам — верзилы, мне — коротышки, дело не в пропорциях, никаких пропорций нет, каждому свое».

Он прав, конечно, но Париж нравится всем.

Это моя дочь. Волчонок. Любимый волчонок. Говорят, что похожа на меня. Что я ей сделал?

— Подумай,— отвечает. И делает шаг в сторону, от греха подальше.

Она и в детстве так — обидит и отскочит в сторону, дрожит от возбуждения и ждет, что я подниму на нее руку. Будто я мог поднять на нее руку.

— Мог, папочка, мог.— Она смотрит не мигая, и где она научилась так смотреть?

Я помню пелерину, в которой та ее носила, атласную, с красными и синими цветами, куда она делась, давно не могу найти, я обожал эту пелерину, в ней она была самой красивой беременной на свете, я гордился ее животом, распущенными поверх пелерины волосами, еще не знал, что мне придется везти ее в Париж, замаливать грехи, грехов не было.

— Что делать? — спрашиваю дочь.

— Ничего,— беспечно отвечает. Она всегда отвечает беспечно, когда хочет сделать больно.— Мама тебя все равно не простит.

— Она сама это сказала?

— Какая разница! Перестань меня использовать! Ты меня для этого взял? Лучше купи мороженое.

И я покупаю, и она ест мороженое, кокетничая с прохожими. Моя дочь — маленькая женщина, похожая на меня. Мы рожали ее вместе, смешно, она — на операционном столе, я — дома, на балконе с видом на больницу, она не хотела рождаться так долго, что я устал ждать, заснул, а проснулся, когда зазвонил телефон и женский голос сказал: «Дочь».

Так что мы рожали ее вместе, целых четырнадцать часов, все потому, что у нее рано отошли воды, она стояла перед родами под душем и понимала, что происходит что-то нехорошее, а потом я проводил ее.

Мне нравилась мысль, что матрешка достанет из себя матрешку, та в свое время другую, и так будет вечно, мне нравилось возникновение красивого без помех, надоело ходить по улицам, когда ее нет, и искать в других хоть отдаленное сходство с ней. Но дочь родилась похожей на меня, правда, в ореоле ее волос.

— Почему ты не пришла в больницу, когда я болел два года назад, ждала моей смерти?

— Не говори глупости. Я просто знала, что ты выкарабкаешься, ты ведь всегда выкарабкиваешься.

— Но в тот раз я, действительно, мог умереть.

— Однако не умер.

И вскинула на меня голубые, как у матери, глаза с кристалликом льда внутри.

Трудно было возразить — не умер и привез их в Париж.

Надо посвятить человеку, к которому я не сделал шаг за день до его смерти. Приятель юности, не видел его двадцать лет, мы встретились в вестибюле театра, он обрадовался мне, шагнул, я отмахнулся, а он умер на следующий день. Так вышло. Сделай шаг, скотина, к тому, кто умрет раньше тебя.

— Что ты хочешь выторговать? — спрашивает дочь.

— А ты?

— Мне твой Париж не нравится. Тебе, конечно, хотелось, чтобы всем нравился?

— Он и так...

— А мне не нравится! Если бы не мама, ни за что бы сюда не поехала!

— Всем интеллигентным людям...

— А я не интеллигентная, представляешь — твоя дочь и не интеллигентная, что ты будешь делать! Мне Соплевка больше нравится, веришь?

Но потом рассердилась на себя.

— Дай щечку, я тебя пожалею, ты ведь у нас маленький.

И прижалась ко мне липкими от мороженого губами. Я уже готов был расстрогаться, когда понял, что она нарочно это делает. Я еще не знал тогда, что на каверзные расспросы бабок-сосеенок, не верящих, что такая красивая женщина, как моя жена, могла полюбить меня и родить мне дочь, на их вопрос: «А папа твой, настоящий, к вам приходит?» — она ответит, не растерявшись: «Приходит», — и вынесет бабкам первую же попавшуюся фотографию мексиканского художника, умершего еще в двадцатых.

И бабки с тех пор будут замолкать, когда я подхожу к дому, и на мое «здоровствуйте» отвечать неохотно. Не мог я не доверять ей, потому что, несмотря на все мытарства, она все-таки родилась в любви, мы так и звали ее — плод любви, и вот сейчас этот плод идет рядом и выкобенивается.

— Не смей так обращаться со мной, папа! Всегда твоя любовь кончается грубостью, я тебя боюсь. Ты и сейчас ничего не понял, мама тебя любила, и ты ее потерял.

— Она меня любит.

— Да? — фыркнула она. — Ну и что ты имеешь в виду под любовью?

Ее, действительно, хотелось выпороть, но я сдержался.

— Она не может без меня.

— Уже может.

— Не смей так говорить со мной!

— Мама делала от тебя аборт!

Я опешил.

— Она сама тебе рассказала?

— Ты заставил ее убить моих братиков и сестричку, ты — страшный человек! Разве можно себе позволять все?

— Зачем она тебе рассказала?

— Посмотри, что ты сделал с ней!

— Зачем она тебе рассказала?

В апреле, перед рождением этой маленькой негодяйки, мы гуляли по лесу, и, несмотря на мои запреты, она уселась на еще холодной земле под деревом и стала пить шампанское, прихваченное из дома, заедая килькой, у беременных бывают гастрономические причуды, потом уснула, а проснувшись, ужасно испугалась, что я буду ее за это стыдить, и всю жизнь ждала, когда же, когда я вспомню и начну ее за это стыдить, что-то она обо мне такое выдумала.

— Нельзя быть счастливым и несчастным одновременно,— сказала дочь.— Ты носишься по Парижу с самого утра, а потом приходишь с удрученным видом и хочешь, чтобы мы тебе поверили?

— Но в Париже не может быть плохо!

— Ну и живи с ним! Не понимаю, на что ты жалуешься?

— Я думал, ты меня понимаешь.

— Ты думал? Ты думал? Ты правильно думал, никто тебя не понимает, как я, даже страшно, как я тебя понимаю.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Просто мы с тобой такие.

— Ничего не получится,— скажет она на Риволи.— Ничего, ничего,— повторит на бульваре Сен-Мишель и вертит головой в Тюильри, мол, не получится.

Крутится колесо карусели, крутится, оно над нами, трудно смотреть сквозь него на солнце. Пласты какой-то особой породы должны были сдвинуться, чтобы мы растались.

Я не разорял гнезд, я не разорял гнезд, меня оставили дома, но я не разорял гнезд.

Меня оставили дома, и теперь в каждом углу меня преследует писк птенца, за что меня не взяли в Париж? Я вел себя лояльно. Найдутся свидетели, они видели меня вчера перед Домом инвалидов, где я стоял, подавленный скукой и разочарованием. От войн и полководцев остаются только монументы, кто придумал сказку о Наполеоне, кто придумал его победы, что они дали Франции — самоуважение? Неужели нация — это и в самом деле один очень глупый большой человек, и все распадается в пыль ежеминутно, кому пригодится даже упоминание об императоре? Если только сыну императора, но и того украл.

Какое одиночество! Я не разорял гнезд, но меня все равно не взяли сегодня в Париж, наказали, и вот я стою перед Эйфелевой и не тороплюсь подняться вверх, я оставляю эту громаду металла детям и японцам, с меня достаточно Мопассана и его страшной смерти, с меня достаточно славы художников, что мне до славы государств, которых никогда не было. А если были, пусть предъявят доказательства. Но им нечего предъявлять, кроме маршей и могил. Земли? Чем тут гордиться? Земли всегда можно отобрать назад.

Я сижу в квартире один, она решилась выйти и взяла с собой детей, я прислушиваюсь к писку птенца в гнезде под карнизом и думаю о Париже.

Затем звонят, неужели вернулись, слишком быстро, подхожу к окну, чтобы взглянуть, и вижу негритянку с большим рулоном под мышкой, это она звонит.

Я прячусь, потому что не ждал никакой негритянки, но звонок повторяется, повторяется, и я спускаюсь, чтобы открыть ей дверь.

— Месье,— спрашивает она,— вы хозяин?

— Нет, я — гость, хозяин уехал. Надо что-то передать?

— Как жаль! Он хотел поменять обои. Я принесла образцы. Вот они. Хотите взглянуть?

— Хорошо.

Мы поднимаемся в комнату, и она начинает прилаживать куски обоев к стене — черные линии на зеленом фоне, золотые узоры на кремовом, их много, она долго прилаживает и ждет моего одобрения, я должен решить — какие лучше, мои вернутся и не узнают комнаты, она меняется вместе с Парижем, каждую минуту другая.

Мне кажется, я слепну. Негритянка задумчиво смотрит на меня, она очень красивая, совсем молодая, с грустными-грустными, цвета обоев глазами. Этот цвет мне подходит. Чем-то серебряным подведены губы.

Серебряные губы. От них веет прохладой.

— Что с вами, месье? — спрашивает она.— Вы больны? Вам плохо?

— Нет,— отвечаю я.— Это все потому, что вы пришли неожиданно.

И обнимаю ее, и она меня не отталкивает...

В комнате остается терпкий запах ее тела, теперь это навсегда, я пытаюсь проветрить комнату и смотрю ей вслед.

Боже мой, я забыл сказать, чтобы она больше не приходила, никогда! Бегу вниз, но ее нигде нет. Это людное время, конец рабочего дня, много людей, они молча выходят из метро и торопятся домой, я всем мешаю.

Нет моей негритянки, что я наделал, я иду по улице и плачу, я потерял негритянку, я потерял себя, я ненавижу Париж, доставляющий мне столько хлопот.

На меня начинают поглядывать, здесь не любят соплей, пытаюсь идти переулками, но Париж сам решает и относит к Центральному рынку, к фонтану Невинных. Это разумно, здесь среди огромной толпы может оказаться и негритянка.

И тут я вижу на противоположной стороне моих детей, они стоят и смотрят на уличных жонглеров, и она сзади держит их за плечи. Я загляделся. Как это красиво — разглядывать своих, когда они тебя не замечают. Все равно, что увидеть рай.

Но я заторопился, нужно было догнать негритянку, вот она идет узким тротуаром мимо бензоколонки. Догоняю. Это другая, но еще красивей прежней, правда, в очках, и глаза — недоуменные, и губы не подведены, но от них так же веет прохладой. Я отвечаю ей смущенной улыбкой. Что мне делать, я не разорвал гнезд, а меня не взяла с собой.

Моих уже нет, пошли себе гулять дальше, я ждал этого, сажусь на край фонтана и вижу перед собой на земле зеленый осколок. Мне хочется взять его в руки, но я боюсь, мне хочется отогнуть край рубахи и прислонить осколок к руке, но я не решаюсь. Здесь весело — поднимают гири, глотают огонь, свистят бумажными языками, детей вокруг больше, чем взрослых, своими глупостями я боюсь помешать им играть, я ищу среди детей своего сына и не нахожу, возможно, еще появится, Париж маленький, здесь ходят по кругу.

Осколок продолжает лежать передо мной, стараюсь его не замечать. Потом я вижу, как мой покойный отец снимает с головы шляпу и обходит зрителей, собирая деньги. Шляпа все та же и пиджак мешковатый, серый, который он не променял бы ни на какой другой, как я не променял бы ни на кого другого своего отца, две складки кожи там, где лысина переходит в шею, две клавиши, две вертутки. Он стал чуть крупнее, шире в плечах, с тех пор как я его не видел, но пиджак такой же мешковатый, брюки сваливаются, а под пиджаком рубаха с потертым воротником и коротким, совсем не парижским галстуком. Галстук он повязывать не умел, мне не разрешал, покупал с застежкой сзади. Он что-то говорит, я не разбираю слов, может быть, их поглощает толпа, он и раньше не любил говорить, но хоть изредка, а теперь просто шлепает губами, и это смешит людей почему-то и заставляет охотней раскошелиться.

— Эсмеральда! Эсмеральда! — слышу я.

Хочется им объяснить, моего отца зовут совсем не Эсмеральда, его зовут... как же его зовут, но он внезапно сбрасывает пиджак и, разогнавшись, раскручивает такое сальто, от которого в разные стороны летят брызги.

Вот тебе и Эсмеральда!

— Нравится? — спрашивает Шинкиле, усаживаясь рядом со мной.— Помните велосипед, это мой друг, клоун, назвал себя Эсмеральда и не говорит — почему, ему видней, он — симпатичный, мы работаем на рынке по воскресеньям, он и я, всегда так много народа, мы догадываемся друг о друге только по аплодисментам, он и я, здесь можно хорошо заработать, столько туристов, все хорошо, правда, все хорошо? Ой, не все, не все! — вскрикивает он, разглядев меня.— Вас на минутку нельзя оставить, а где малыш, вы сами, как маленький, вам сегодня не до музыки, я не стану играть, вам нравится Эсмеральда, мне до смерти надоели его трюки, но сам он никогда не надоест, он не может надоест, правда, я знаю — куда он сегодня пойдет, поднимайтесь, поднимайтесь, что вы от него оторваться не можете, он всегда тут, никуда не денется.

— Эсмеральда! — крикнул он моему отцу.— Жди нас, мы еще заглянем к тебе сегодня.

Он приводит меня в маленький ресторанчик на улице Розье. В зале много заполощенных людей. Все евреи. Это еврейский ресторанчик.

— Покушайте,— говорит Шинкиле.— Вам надо вкусно покушать. Здесь все свои.

Кто это — свои? Он подводит меня к полкам с разными кушаньями в казанках и блюдах, из которых надо набирать самим. Два полных человечка со скрещенными на груди руками наблюдают за нашими манипуляциями из-за стойки неодобрительно.

— Очень хорошие люди,— объясняет Шинкиле.— Они — братья. У меня здесь кредит, но я им не пользуюсь.

Одного из братьев позвали, он побежал в зал, другой остался.

— Флейш мит латкес,— популярно объясняет мне Шинкиле,— это вкусно, мы попробуем все, кислое, соленое, жаркое с балабушками обязательно и редьку со шкварками, ай, какая редька, какая редька,— вскрикивает он, низко наклонившись над блюдом и принюхиваясь.— Могу спорить, вы обожаете форшмак, все гои обожают форшмак, а вы, хоть и еврей, все равно гои, я накладываю форшмак, вот, и, конечно, фаршированную шейку, ваша мама умела фаршировать куриную шейку?

— Отец.

— Отец? Это редкость, чтобы отец умел что-то делать по готовке, а ваш умел делать шейку, о, у вас великий отец.

Да, у меня был великий отец, и он с утра нашпиговывал шейку мукой и жиром в день моего приезда домой и заскорузлыми очень мужскими пальцами пытался сшить ее, чтобы она не распалась, а потом перекусывал нитку, и кусочек нитки оставался на подбородке, пока я не подходил и не снимал его.

Здесь хорошо, но все же что-то не так. Легкое подташнивание мешает мне быть счастливым.

— Хватит, Шинкиле,— говорю я.— Куда столько?

А он все набирает, набирает.

— А сладкое? — шепчет он.— Как же без сладкого, тут такое сладкое, я вам рассказывал, яблочный струдель...

Но, не дождавшись, пока он подхватит ложкой янтарный кусок яблочного струделя, я едва успеваю поставить тарелку на место и выбегаю на воздух. Там, сделав несколько шагов за угол ресторанчика, я начинаю блевать с таким аппетитом, с каким Шинкиле собирался есть.

Стайка хасидов на другой стороне улицы шумно осуждает мое поведение, потом, взмахнув полами лапсердаков, они устремляются ко мне, я готовлюсь защищаться, но тут успевает Шинкиле.

— Идите, идите! — кричит он хасидам.— Разволновались! Тоже мне святые! Представьте себе, человек болен, человек заболел, вы что, никогда не видели больного еврея? Тьфу на вас! Идите, сами жрите свою гусиную печенку.

При мысли о гусиной печенке мне становится еще хуже, но хасиды, пристыженные Шинкиле, ворча расходятся.

— А теперь объясните,— сказал Шинкиле.

— Это долгий разговор...

— А все-таки...

— Я не могу, понимаешь, Шинкиле, есть в Париже еврейское, я, кажется, нигде не могу его есть.

— Но это очень вкусно! Разве вы никогда этого не ели?

— Ел. Но всегда через силу.

— Почему?

— Долгий разговор.

— А все-таки...

Мы отходим еще дальше, садимся на край тротуара, и я рассказываю.

*Баллада о гусиной печенке*

Еврей не может не ошибиться  
 Он ошибается самозабвенно  
 Как я ошибся на этих страницах  
 Как Бог ошибался, создавая Вселенную

Всеми несчастьями ты обязан еврейству  
 Нет  
 Всеми несчастьями ты обязан себе.

Когда он берет себе псевдоним  
 Чтобы казаться людям другим  
 Русским или эвенком  
 Жена говорит:  
 Здесь ты как Иванов поступил  
 А здесь как пархатый Френкель.

Всеми несчастьями ты обязан еврейству  
 Нет  
 Всеми несчастьями ты обязан себе.

Если живет не в сыром подвале  
 А в роскошном особняке  
 Собак не заводит, чтоб не покусали  
 Еврей доверяет только себе.  
 Книги написаны, сверстаны ноты  
 Он завершил титанический труд  
 Еще не остыло  
 Другие заботы снова еврея гнетут  
 Скушай, деточка, кусочек гусиной печенки,  
 что тебе стоит,  
 он мягкий, вкусенький, скушай, тебе не нравится?

Всеми несчастьями ты обязан еврейству  
 Нет  
 Всеми несчастьями ты обязан себе.

Он как всегда в исторической роли  
 Скоро раздастся команда — Пли  
 Но на лице его вместо боли  
 Страх, чтоб детей не нашли.  
 Не наклонились искать под диваном  
 В печке не стали искать  
 Всем громилам тупым и пьяным  
 Наших забот не понять

Всеми несчастьями ты обязан еврейству  
 Нет  
 Всеми несчастьями ты обязан себе.

И приглашая тебя покушать  
 Вкусеньким угостить  
 Евреи всю навостряют уши  
 Боятся подвох пропустить.  
 Вам не нравится?!  
 Что ты «спасибо» беднякам не скажешь  
 Не оценишь, не разберешь  
 После ухода хозяев обяжешь  
 Думать, чем был обед нехорош.  
 Вот, неблагодарные, до чего же неблагодарные,  
 не приглашай их больше!  
 Вспомнит, что скоро опять в дорогу  
 В баночку все и к сердцу прижмет  
 Все для тебя, сегодня не трогай, завтра время придет.

Завтра так завтра  
 Оно не испортится  
 Если испортится  
 Кушать захочется  
 Все, что угодно съешь.  
 Ну, почему ты так плохо ешь, тебе невкусно?

Всеми несчастьями ты обязан еврейству  
 Нет  
 Всеми несчастьями ты обязан себе.

И показав своим предкам шиш  
 Мудрый еврей удирает в Париж

*(Перевод мой.)*

— Ну, и при чем тут гусиная печенка? — спрашивает Шинкиле.  
 — Шинкиле, знаешь что, Шинкиле, не морочь мне голову.

Я сидел в цирке, и меня тащили на арену, как когда-то моего отца. Отец умер через тридцать лет после того, как клоун вытащил его из первого ряда на арену. Какой был успех! Человек с солнечной прической. Сердце отца не выдержало тридцати лет успеха. Сколько выдержит мое?

Лобастый маленький клоун тащил его из первого ряда, отец упирался, мама хохотала, я подталкивал отца в спину и умолял: «Иди, иди».

Как он беспомощно оглядывался на меня, сердечный, ему совсем не улыбалось фотографироваться вместе с клоуном, он вообще не любил фотографироваться, но снимок-то был сделан заранее, из кулис, заготовлен, клоуну некуда было отступать, и он тащил отца на арену, тут все решалось, кто сильнее, в остальном они не отличались друг от друга, маленькие и лысые.

— Пойдем, пойдем,— умолял клоун.— Взгляни на себя, мы оба лысые. Нам уже нечего терять.

Впервые я видел отца таким разъяренным, он не любил публичности, не искал славы, любил меня и маму, а славы он не искал. До сих пор не пойму — за что клоун выбрал именно его, в тот вечер в цирке было много лысых, но нас угораздило сесть в первом ряду, я сам рад бы был облысеть уже тогда, видя, как страдает отец, сопротивляясь, я был готов стать самым лысым на свете.

— Поздравляю тебя, человек с солнечной прической,— сказал клоун, вручая отцу фотографию под звуки оркестра.

Мы ушли, не дождавшись финала, на улице отец достал из кармана фотографию, оторвал свою половину и бросил в урну, но попал рядом, в лужу, наверное, там она до сих пор плавает.

Эсмеральде не пришлось меня упрашивать, весь день я чувствовал, что-то такое должно произойти, я жаждал деятельности, причем деятельности публичной, навзрыд, чтобы люди смеялись надо мной открыто, а не тайно, чтобы не думали: он все потерял, а у нас все при себе, хи-хи-хи.

Они и смеялись, когда он закутал меня в свой серый пиджак, и мы оказались безумно похожи, просто двойники. Тогда он стал обращаться ко мне, шевеля губами, и я все пытался угадать, что он там говорит, и сообщить публике, а он сердился, что я его не понимаю, и мотал головой, потому что ошибался я постоянно: откуда мне знать, о чем шепчет Эсмеральда да еще по-французски?

В пиджаке, несмотря на размер, было тепло и почему-то пахло хлебом, это я потом узнал, что у Эсмеральды от волнения была привычка держать мякиш хлеба в кармане и отщипывать кусочки во время представления.

Потом он выходил из шапито, выворачивал карманы и скармливал крошки птицам.

Участь моя в тот вечер была решена, я оказался идеальным «подставным», у меня было такое выражение лица, что в подвохе трудно было заподозрить.

Иногда мне кажется, что я — конфуз природы, не казус, а конфуз, природа оконфузилась, и я родился.

Даже те, кто потом приходил в цирк и снова видел этот номер, не верили, что ассистирует Эсмеральде тот самый лысый, что и в прошлый раз, все лысые одинаковы, они удивлялись совпадению.

— Баклажан, Баклажан! — кричали они, увидев меня, я был не просто подставной, я получил на арене имя, которым гордился, и в перерыве между появлениями бежал в закулисный буфет и жадно съедал честно заработанный мной бутерброд. Так что вы теперь знаете, как меня зовут.

Самостоятельно я бы не сумел смешить людей, как Эсмеральда, сердца не хватит, что ли. Появись на арене один, распугал бы зрителей, каждый, глядя на меня, вспомнит, что уютю забыл выключить, что денег катастрофически не хватает, жена разлюбила.

— Весь вечер на арене клоун-паника! Маэстро, туш!

И все несутся из цирка опрометью. Хорошо, что я не клоун, а идеальная подстава, и Эсмеральда знает, как меня использовать.

А иногда меня жалела чудная девушка кассир, она дарила мне парочку билетов, и я стоял под крупными теплыми каплями дождя рядом с барышниками, приторговывал и чувствовал себя настоящим парижанином.

На заработанные деньги я купил ей колечко с надтреснутым камушком и очень расстроился — те, кто мне его продал, знали, что оно надтреснуто, но она сказала, что это к счастью, другого такого колечка больше нет.

Я никак не мог запомнить ее лица, у меня вообще плохая память на лица, голоса помню, если вы хотите, чтобы я вас узнал, закройте лицо и заговорите, звук ее голоса особенно легко сохранялся в памяти, будто взяла ноту «ля» и навсегда удержали в воздухе, а лица не мог запомнить, потому что у нее, как у многих людей, профиль и фас отношения друг к другу не имели.

Но лица других запоминать не обязательно, а она мне нравилась, и я долго мучился, прежде чем понял, кого она напоминает, когда смотрит в упор, — маленького тигра с плоским и широким носом, с шахматными резными ноздрями, немного отчужденным взглядом чудных серых глаз, с детскими тугими щеками, вздернутыми от уголков рта к аккуратным ушкам, за которые она, смеясь, любила забирать пряди волос, а те не удерживались надолго, разлетались.

А в профиль нос неожиданно оказывался курносым и само лицо похожим на ежика, эффект этого превращения был столь стремительным, зависел от крошечного поворота головы, что я прозвал ее Тигрежиком, и прозвище это в нашей компании прижилось. Шинкиле, Эсмеральда, Тигрежик.

Да, еще мама Эсмеральды по прозвищу Кастрюлька. Она сама сравнила себя с облупленной кастрюлькой, слишком давно стоящей на разведенном под ней огне жизни.

Мы сидели на кухне у Эсмеральды, Тигрежик готовила чай, а Кастрюлька болтала что-то несусветное про те времена, когда еще не было Парижа.

По островам бродили волки, рассказывала она, и редкие существа, остроносые, больше похожие на птиц, чем на людей, добирались сюда, чтобы постоять, подумать, что бы здесь такое устроить, и, трезво оценив свои силы, уходили.

— И правильно делали, всегда лучше оставить все, как было, — закончила свой рассказ Кастрюлька.

Мысленно я сравнивал Тигрежика с той, что вместе с детьми, наверное, искала меня сейчас по всему Парижу и никак не могла догадаться, что я всегда здесь, у себя. Не хочу обидеть Тигрежика, но та, другая, была красивей, о, гораздо, гораздо красивей, ее ни с кем не пришло бы в голову сравнивать, но Тигрежик только начинала любить меня, а начало любви всегда неотразимей завершения.

— У нас обязательно будет ребенок, — говорила Тигрежик. — Я знаю, у тебя чудесные дети, но ты привыкнешь ко мне, и я рожу тебе мальчика.

— Которого мы назовем Париж.

— Почему Париж? — опешила она.

— Бывают же глупые имена, — успокоил ее я. — И ничего, живут люди.

Но с каждым днем я все больше любил Тигрежика, потому что никто так не нуждался в любви, как она. Она спасала меня, но спастись надо было ее, именно ее, она была девушкой, с которой, к счастью, не происходит то ужасное, что могло бы произойти, и, если она выживет, не пропадет, мы обязательно родим с ней ребенка.

Она подходила к несчастью вплотную, но в последний момент ее спасал Бог или случай.

Однажды я ждал ее вечером, и то ли радио играло громко, то ли слишком рассеянно ждал, звонка не услышал, а звонила она трижды, но что-то такое произошло во мне, что заставило подойти и открыть дверь, не спросив кто и не глянув в глазок. Я любил смотреть на нее в глазок, чтобы увидеть ее всю, нетерпеливо ждущую, с тугим, девичьим, немного похожим на тигра, немного на букетик лицом, потому что, когда тигры и толстые девочки улыбаются, щечки поднимаются вверх и они становятся похожи на букетики.

Но в этот раз я увидел бы в глазок, как держит ее за горло и душит блондин в светлом плаще, а она боится еще раз нажать кнопку звонка, чтобы он не увидел меня.

Но я все-таки успел открыть и блондин в светлом плаще рванул от меня вниз по лестнице, а она втолкнула меня всем телом назад в комнату и теперь стояла рядом, пытаясь вздохнуть. Слышали бы вы, как билось ее сердце!

— Я думала о тебе всю дорогу, — сказала она, — и не заметила, что он давно шел за мной и довел к самому подъезду, а пока я звонила, он стоял площадкой ниже и ждал — откроешь ли, ты не открывал, и тогда он бросился на меня, не целуй, не целуй так, все уже кончилось!

Но ничего не кончилось, через несколько дней она чудом избежала нападения каких-то пьяных арабов недалеко от блошиного рынка. Их обманула ее доброжелательность, и, окружив Тигрежика, они стали подталкивать ее друг на друга, постепенно разъяряясь, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не окажись рядом полицейский.

А еще ее прихватила дверцей машина, когда она выходила, шофер не слышал ее крик сразу и протащил лицом вниз по улице, а еще, когда она училась в школе, влюбленный мальчишка в порыве любви запустил в нее чернильницей, а она стояла прямо перед ним, не веря, что он это сделает, а он сделал и разбил переносицу, давшую мне право прозвать ее Тигрежиком, а еще ее клюнул петух, когда она топнула на него, трехлетняя, ногой и, гордо отвернувшись, пошла к калитке, догнал и клюнул прямо в задницу, а еще медсестра, делая укол, внесла в ее кровь гнусный вирус, я так хочу тебя обнять, чтобы растворился твой вирус в моей крови и погиб бы там. А еще...

Ерунда все, если нельзя спасти хотя бы одну дорогую тебе жизнь.

Я был бы счастлив с Тигрежиком, если бы не знал, что меня по всему Парижу ищет сейчас малыш.

Когда малыш должен был родиться и я привез ее в родильный покой, лицо ее было серое-серое, я не придавал этому значения — сумерки, сказал врачу, что схожу за апельсинами и вернусь, но, пока я покупал апельсины, прошло минут сорок, и в эти минуты они оба успели умереть и остаться жить. Пришлось кесарить, он уходил из нее вместе с ее кровью, голова у него была очень большой, и я долго не мог смотреть на шрам от скальпеля, оставшийся при кесарении. С тех пор я боялся, что он упадет и ударится об острый угол, и, конечно же, он упал, когда мы остались вдвоем, и ударился, я помню свой вой, когда у него появился еще один маленький шрам рядом с первым, незаметный другим, но видный мне.

Посвящу эту книгу покойному Чарлику, песику, пришедшему в дом сразу после меня. Он поцарапался в дверь, и его впустили.

— Он такой же больной и солидный господин, как ты, папа, — смеялись дети.

Мы сидим на кухне у Эсмеральды, я напеваю мотивчик, и никто не может поверить, что я его сам сочинил.

— Это известный мотивчик,— говорит Шинкиле,— его уже давно играет весь Париж, еще до вашего приезда, вы сочинили в поезде, как они могли узнать, и, главное, как вы могли именно его сочинить?

— Может быть, кто-то напевал за окном, когда мы ехали по Европе? — предположил я.

— Ой, вы смешной человек! — говорит Шинкиле.— На полном ходу? За двойными стеклами? Просто он пришел к вам в голову, такое бывает, мне тоже иногда такое приходит в голову, правда, не такое красивое, как ваш, но тоже неплохое.

И он стал насвистывать на флейте все, что ему когда-либо удалось подслушать у жизни, и оказалось, что это тоже слышали все: и Эсмеральда, и Кастрюлька, и Тигрежик.

Кастрюлька, та просто категорически заявила, что не стоит сочинять ничего нового, она уже столько живет в мире и знает, что все давно сочинено.

Шинкиле и Тигрежик стали с ней спорить, а Эсмеральда молчал, он как-то страдальчески молчал, будто скрывал боль. Так молчал мой отец.

«Закричи,— хотелось сказать ему,— кричи о своем, у тебя есть свое, и об этом надо кричать, не оставляй меня одного, пожалуйста».

Отец домолчался и умер, я ничего не знаю о нем, кроме того, что он меня любил, а рассказать ему хотелось много, очень много. Но он боялся отягощать мою жизнь собой, ему легче было молчать, а мне? Меня он спросил — что мне легче?

Если сдать, то Главный все под себя подгробет, ничего не оставит.

Я не хочу страдать, мне надоело сочувствовать, я — самый легкий человек на свете, неужели никому не пригодится моя веселая жизнь?

Я хочу, чтобы Шинкиле поступил в консерваторию и закончил ее, чтобы никто не угорел, не разбился, не вскрыл себе вены, разве это так трудно устроить?

— Он без нас пропадет,— сказала она Шинкиле, пока я ждал в темноте на мосту Пон-Мари.— Передайте ему, он пропадет без нас.

Неужели ей так важно было, чтобы я пропал?

Тихий всплеск. Я оглянулся. Это бросилась в Сену душа моего отца.

Носильщик занес вещи в поезд и вышел, она пропустила детей в вагон, а сама осталась, чтобы рассчитаться с носильщиком и постоять еще немного на парижской платформе.

Она стоит и курит, поглядывая в сторону вокзала, она всегда курит, чтобы успокоиться, от этой привычки я не успел ее отучить.

Прости за все, моя звезда.



Александр МЕЛИХОВ

---

## Между цинизмом и безответственностью

**Д**вадцатый век можно назвать веком Разума с гораздо большим основанием, чем век восемнадцатый: в так называемом цивилизованном мире подавляющее большинство взрослых людей в истекшем столетии умели читать и писать и были свободны как от феодальных, так и от патриархальных предрассудков: мало кто считал справедливыми привилегии маркизов и герцогов или верил в русалок и домовых. И сегодня почти все убеждены, что в социальных битвах борьба ведется исключительно за материальные выгоды.

Однако чуткое ухо в грохоте сражений может расслышать отголоски той борьбы, которую издавна называли борьбой Разума и Чувства. Строго говоря, между разумом и чувством, между идеей и страстью невозможно провести точную грань: страсти — это идеи в первоначальном развитии, заметил еще Михаил Юрьевич Лермонтов, попробуйте-ка отделить тот Терек, который воет, дик и злобен, от того, который смиренно впадает в Каспийское море. Но старинное разграничение разума и чувства имеет в виду скорее всего другое: под разумом оно понимает ту часть нашей личности, которая занимается фактами внешнего мира — теми фактами, которые может наблюдать каждый, которые можно измерять и перепроверять. Владения же чувства сосредоточены в нашем внутреннем мире, который чувствуем только мы.

Казалось бы, это так абстрактно — однако в самых злободневных политических спорах — о коррупции или приватизации, о Чечне или Сербии — очень отчетливо звучат ноты то дьявольского цинизма, то ангельского прекраснодушия, хотя наше время принято считать весьма прагматическим. Но так ли уж это справедливо?

Бывают романтические эпохи, считающие наиболее важной внутреннюю жизнь — мечты, фантазии, стремления... В эпохи же, полагающие себя реалистическими, ставится выше мир внешний, материальный: он-то якобы и диктует миру внутреннему его мнения, стремления и даже мечты и фантазии: реальность — это, мол, «базис», а дух — только «надстройка». Точно так же в эпохи романтические предпочитают верить, что, напротив, именно дух, свободная воля человека диктуют внешнему миру, каким ему следует быть: «базис» — это чувство.

Рассуждения, далекие от жизни? Но взгляды в принципы печально знаменитых организаторов двух величайших катастроф двадцатого века — Октябрьской революции и второй мировой войны. Ленин был уверен, что главный мир — внешний, а в нем превыше всего экономика, производственные отношения; в истории есть не зависящий от нас ход вещей, а нам остается лишь понять его и присоединиться к нему. Гитлер же был убежден, что никаких объективных законов истории не существует и наш внутренний мир, порождаемая им воля не подчиняются реальности, а, наоборот, творят ее в согласии с собственной мечтой. И если катастрофическое столкновение двух этих односторонностей счесть финальной схваткой Разума и Чувства, сразу же захочется повнимательнее рассмотреть ее истоки, когда борьбу начинали два знаменитых (отнюдь не печально) пока еще не деятеля, а только писателя века Просвещения — Вольтер и Руссо.

Маленький Франсуа-Мари Аруэ, едва выйдя из младенчества, уже начал поражать своим ранним развитием просвещенных гостей в салоне своего отца — преуспевающего нотариуса, достигшего звания королевского советника, казначея и сборщика пеней Счетной палаты. В элитарной школе правоведения он учился вместе с отпрысками знатнейших французских фамилий, а еще совсем юношей был на равных принят в кружок «Тамплъ», состоявший из испытанных вольнодумцев — либер-

тенов — самого высокого разбора. Будущий Вольтер быстро усвоил тон этого кружка, где цтили только остроумие и наслаждение: «Удовольствие — предмет, цель и долг всех разумных существ», — писал молодой, да ранний Вольтер, быстро завоевавший известность изящными стихотворениями, изысканно воспевавшими радости жизни. Пафос здесь был неуместен: либертены презирали «предрассудки», не слишком задумываясь, что на этих предрассудках покоятся их собственные привилегии.

Но, когда нерассуждающее почитание существующего порядка бывает поколеблено, рано или поздно являются — обычно из социальных низов — новые идеологии, настроенные уже не иронически, а патетически. Жан-Жак Руссо родился в Женевской республике (это сладкое слово — республика!), где наследники сурового Кальвина все еще продолжали считать театр греховным зрелищем. «Чувствовать, — писал Руссо в своей прославленной “Исповеди”, — я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества». Оставшись без матери семейства, они с отцом, случалось, читали книги вслух ночи напролет. Любимым автором юного Жан-Жака сделался Плутарх. «Беспреданно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самую сильною страстью которого была любовь к родине, — я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг».

Перейти от чувства к делу — поступок не слишком последовательный для мыслителя, превыше всего ставившего чувство, иной раз ставившего его и выше дела: «Я всегда привязывался к людям не столько за добро, которое они мне сделали, сколько за то добро, которого они мне желали». Зато совершить опасный поступок, когда его вовсе не требует никакая реальная нужда, — это типично для романтика, мечтателя, старающегося прежде всего угодить своему внутреннему миру. В скитальческой юности Жан-Жаку пришлось побывать и учеником гравера, и мелким канцеляристом, и лакеем, и учителем-самоучкой музыки, и просто домашним учителем-самоучкой: «Мягкостью своего характера я вполне подходил бы для этого занятия, если б моя вспыльчивость и бурные ее проявления не явились помехой. Пока все шло гладко, пока я видел успешность своих забот и трудов, я не щадил себя и был кроток, как ангел. Но я становился дьяволом, когда все шло не так». Благодаря уму и обаянию он не раз находил влиятельных покровителей, но всякий раз бросал карьеру ради детских фантазий-«химер». «Рассматривая нотные знаки, я часто находил, что они выдуманы неудачно», — и вот у него уже готова собственная цифровая система: «С этого момента я поверил, что судьба моя устроена, и... только и мечтал о поездке в Париж, не сомневаясь, что, представив свой проект в Академию, я произведу революцию в музыке... В две недели мое решение было принято и приведено в исполнение».

Можно себе представить, что произойдет, если эта мечущаяся из крайности в крайность натура возьмется за какой-нибудь из тех величайших вопросов, в которых еще ни разу не сошлись мудрецы. В возрасте далеко за тридцать Руссо прочел в газете «Французский Меркурий» объявление о конкурсе Дижонской академии «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов». «Вдруг я почувствовал, как ослепительный свет озарил мое сознание и множество новых мыслей нахлынуло на меня с такой силой и в таком беспорядке, что я испытал неизъяснимое волнение... Будучи не в состоянии дальше продолжать путь, я опустился под одним из деревьев; там я провел полчася в таком возбуждении, что не заметил, как слезы лились из моих глаз, и, только поднявшись, обратил внимание, что перед моего пиджака совсем мокрый от слез. О, если бы я мог описать хотя бы четверть того, что я видел и чувствовал, сидя под этим деревом! С какой ясностью я мог бы показать все противоречия социальной системы, с какой силой мог бы я поведать о всех злоупотреблениях наших общественных институтов, как просто мог бы я доказать, что человек добр по природе своей и только благодаря этим институтам люди стали злыми!»

Науки, литература и искусства обвивают гирляндами цветов оковывающие людей железные цепи, писал вдохновенный Жан-Жак, заставляют их любить свое рабство и создают так называемые цивилизованные народы. Вежливость этих народов привела к тому, что никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Изысканные Афины оставили нам памятники искусств и философии, а суровая Спарта — лишь предания о героических поступках. «Но разве такие памятники менее ценны, чем мраморные статуи, оставленные нам в наследие Афинами?» — восклицал Руссо. В великом Ри-

ме люди были добродетельны только до тех пор, пока не начали изучать правила добродетели, — изучать там нечего: достаточно углубиться в себя, прислушаться к внутреннему голосу совести, твердил Руссо и обрушивался на современных философов, которые встречают улыбкой такие слова, как отечество и религия, и предают поношению все, что священо для людей, и притом делают это лишь из духа противоречия: «Чтобы вернуть их к подножию алтарей, достаточно зачислить их в разряд атеистов».

Попутно Руссо прошелся и по Вольтеру, осмелившемуся написать, что если маленькая страна гибнет от роскоши, то большое государство от нее богатеет, — нет, роскошь несовместима с добрыми нравами! С добрыми нравами несовместимо и распространение критериев, принятых в торговле, на нравственную сферу — у Руссо вызвали справедливый гнев уже и тогда нередкие попытки выразить ценность человека в деньгах: мы не должны позволять, чтобы экономическая реальность полностью диктовала нашей душе (другое дело — утопическая страсть вовсе не считаться с этой реальностью!).

И всему виной, заключал Руссо, возвеличение таланта и унижение добродетели. У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники, но у нас нет граждан. «Всемогущий Боже! — от имени потомков восклицал второй величайший писатель века. — Ты, в чьих руках наши души, избавь нас от наук и пагубных искусств и возврати нам неведение, невинность и бедность». В век Просвещения обрушиваться на просвещение... Но «просветители» на первых порах восторженно приняли это бичевание, полагая его лишь игрой ума. К тому же Руссо довольно скоро разъяснил, что вовсе не собирается кого-то звать назад к первобытным временам (Вольтер говорил, что от сочинений Жан-Жака хочется стать на четвереньки), да это было бы и невозможно при всем желании. Но, восторгаясь знаниями и красноречием, не нужно забывать о добродетели — об умении не только хорошо говорить, но и хорошо поступать, подытоживал Руссо.

К чему искусство, если оно не рождает добрых дел? Этим пафосом пронизано и написанное через восемь лет «Письмо к д'Аламберу о зрелищах». А пафос не терпит юмора, иронии, которыми так блестяще владел Вольтер. «Добрые не поднимают злых на смех, — негодовал Руссо, — а уничтожают их своим презрением... Наоборот, насмешка — излюбленное орудие порока». Не лишено оснований... Но — один из крупнейших мыслителей двадцатого века, Анри Бергсон, показал, что юмор стремится вывести на свет всякую механическую повторяемость: если человек в беспрерывно меняющихся ситуациях продолжает твердить одно и то же, он становится смешон независимо от того, добродетелен он или порочен, — так что юмор осмеивает отнюдь не всякую добродетель, но лишь добродетель догматическую. Труднее возразить другому обличению пламенного Жан-Жака: проливая совершенно искренние и благородные слезы над несчастьями вымышленных людей, как часто мы спешим отвернуться от таких же страданий людей реальных, которые могли бы приобщить нас к своей беде или, во всяком случае, дорого обойтись нашей лени. Пожалуй, здесь имеет смысл вспомнить подзабытые принципы «идеалистической» эстетики: искусство творит идеалы. А идеалы — не буквальное руководство к действию, это скорее мечта о какой-то лучшей жизни, не дающая нам объявить высшей целью человеческого существования повседневные нужды реальности: борьба Разума с Чувством — это еще и борьба внешней выгоды с внутренней мечтой. И в борьбе этой не должна побеждать ни одна сторона: полное торжество выгоды — отвратительный и бесплодный цинизм, полное торжество идеала — опасный и бесплодный утопизм. Быть может, не осознаваемая нами заслуга искусства заключается в том, что хотя оно и не способно всех поголовно превратить в идеалистов, тем не менее оно не позволяет и всем поголовно превратиться в циников. Бичуя искусство за то, что оно возбуждает эмоции, не переходящие в дела, Руссо — в некотором противоречии с собой — не раз указывал на субъективные чувства как на важнейший источник истины. Попытки развязать сексуальную революцию — эту борьбу за равенство с животными — предпринимались еще тем «научным» мышлением, которое стремилось свести явления высочайшей степени сложности к явлениям более примитивным: с какой, мол, стати краснеть нам из-за тех потребностей, какими наделила нас природа, почему человек должен следовать не тем же законам, что животные? «Не забавно ли, — разгневанно пожимал плечами Руссо, — что приходится объяснять, почему я стыжусь столь естественного чувства, когда самый стыд этот столь же для меня естествен, как и оно?» Для него и в любви душевные переживания были дороже физических ощущений: «Любовь, завершившаяся поцелуем руки, приносила мне, быть может, больше радости, чем вы когда-нибудь испытаете от своей любви, начав по меньшей мере с этого».

Патетический Руссо подозревал Вольтера в цинизме. Но настоящий циник обвинил бы его скорее в утопизме. Вольтер страстно желал улучшений общественной системы, но улучшений постепенных, осуществляемых просвещенной властью, а не революционной ломки до основания без лишних опасений, что будет затем. Эту политическую умеренность вспыльчивый Вольтер сохранил до конца дней, хотя личных унижений система нанесла ему немало. Будучи школьным товарищем, а в скором времени и литературным любимцем многих весьма знатных особ, он вообразил, что аристократия таланта в век Просвещения может стоять рядом с аристократией крови, а потому не ожидал, что его псевдоним с дворянским привкусом — «де Вольтер» — может сделаться предметом насмешек родового дворянства. А свой острый язык он так никогда и не научился долго удерживать на привязи — язык не раз доводил его до сумы изгнанника и даже до тюрьмы... После словесной стычки с кавалером де Роаном три или даже шесть лакеев кавалера публично «погладили» его пальками по плечам. Вольтер «вопил как сумасшедший», бросился за помощью к своим влиятельным друзьям — те сочувствовали, но вмешиваться не желали. Не умея фехтовать, молодой поэт послал вызов оскорбителю — тот уклонился: в ссоре с буржуа уклончивое поведение не угрожало его чести. В конце концов Вольтера ради его же блага заключили в Бастилию. Он там уже побывал раньше, но по более почтенной причине — из-за колких стихов в адрес самого могущественного человека Франции герцога Филиппа Орлеанского, регента малолетнего Людовика Пятнадцатого, прославившегося в веках легендарной государственной мудростью: «После нас хоть потоп!»

Вскоре Вольтера благодаря его влиятельным почитателям выпустили в Англию, где он быстро познакомился со всей британской умственной элитой. В сравнительно недалеком будущем Руссо тоже предстояло искать убежища в Англии, но — из-за своей болезненной подозрительности — он немедленно оказался в центре громкого скандала. Ему всегда было трудно с людьми: «Застенчивый от природы, в молодости я иногда бывал смел, но в зрелом возрасте — никогда. Чем больше я видел свет, тем меньше мог приспособиться к его тону». Руссо бывал счастлив только в мире собственных грез: «Странное дело, мои мечты становятся самыми приятными только в тот момент, когда мое положение наименее благополучно, и, наоборот, они наименее радостны, когда все улыбается вокруг меня. Моя упрямая голова не умеет приспособляться к обстоятельствам. Она не довольствуется тем, чтобы украшать действительность, — она желает творить. ...Если я хочу нарисовать весну — в действительности должна быть зима; если я хочу описать прекрасную внешность — я должен сидеть в четырех стенах; и я сто раз говорил, что, если бы меня заключили в Бастилию, я создал бы там картину свободы». Даже удивительно, что столь страстным защитником бедняков сделался писатель, для которого внешние невзгоды были ничто в сравнении с бурями его собственного внутреннего мира: «Никогда, ни в какую пору жизни ни нужде, ни корыстолюбию не удавалось заставить мое сердце расширяться от радости или сжиматься от горя». Скорее всего и чужая нужда меньше задевала его сердце, чем несправедливость: «При виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, — мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой». Более того: «Личный интерес, никогда не создающий ничего великого и благородного, не мог зажечь в моем сердце божественных порывов, порождаемых только чистой любовью к справедливому и прекрасному».

Вольтер — особенно на склоне лет — не раз выступал против неправосудия, но он скорее всего и тогда признал бы главным злом несправедливости причиняемый ею материальный вред, а не оскорбление, наносимое ею нашей душе. Кипучие интересы Вольтера сосредоточивались все-таки большей частью во внешнем мире. В той же Англии он изучал все на свете от ньютоновой механики до британского политического устройства, что завершилось изданием «Философских писем», в которых, по словам Пушкина, философия заговорила общепонятным и шутивным языком. Книга имела такой успех, что была приговорена к сожжению рукой палача, сильно преумножив доходы голландских издателей: за этот «тамиздат» любители запрещенной литературы во Франции были готовы платить любые деньги — под господствующую идеологию подкапывались далеко не самые бедные. В Англии же Вольтер издал окончательный вариант своей эпической поэмы «Генриада», встреченной на его родине бурными рукоплесканиями, — Франции страшно не доставало собственного эпоса, собственной «Илиады» или «Энеиды», которыми имели счастье обладать греки и римляне и без которых, как тогда думали, нация не может обрести полноценное существование. «Генриада», как, собственно, и все серьезные вольтеровские вещи, была нацелена на активное вмешательство в реальность: в ней был воспет — в иде-

ализированном, естественно, виде — просвещенный монарх Генрих IV, во имя государственного процветания проявивший мудрую терпимость к протестантам (гугенотам).

Годы изгнания или опалы Вольтер всегда проводил очень плодотворно. Во время первого своего заточения в Бастилию (в возрасте современного выпускника университета) он закончил и подписал новым именем «де Вольтер» — в скором времени самым громким в Европе — трагедию «Эдип», призывавшую забыть о личном во имя долга перед обществом, — культ приятного изящества в тюрьме окончательно сделался ему тесен: он уже стремился «трогать и исправлять сердца» — трагедию Вольтер называл школой добродетели. В годы придворного успеха он не жалел времени и даже какой-то части таланта на заказные поэмы-однодневки и такого же достоинства оды и мадригалы. Но и в дни благоденствия, и в дни гонений он еще более безжалостно разбрасывал и талант, и время на полемические памфлеты и комедии-однодневки, метящие в его многочисленных врагов, от чьих нападков он чрезвычайно страдал, продолжая, однако, усердно множить их число, — «фернейский злой крикун», как однажды назвал его Пушкин. При этом Вольтер вовсе не считал правильным жертвовать собой: «Нужно ударить и отдернуть руку», — если противник явно неодолим. В итоге одних лишь вольтеровских псевдонимов насчитывается сто тридцать семь, а полное собрание сочинений подбирается к сотне томов. «С таким багажом до потомства не доехать», — шутил Вольтер, которому почитавший его Виктор Гюго впоследствии ставил в вину, что он слишком разбрасывался. Однако Вольтер был слишком «от мира сего», слишком *деятель*, чтобы довольствоваться служением чистому духу, внутреннему миру. Но огромная часть его «багажа» до нас действительно «не доехала». И не только блестящие однодневки. Его величественную «Генриаду» сегодня читают лишь профессиональные филологи да особые ценители старинного мастерства стихосложения. Повествовательность в поэзии сегодня вообще выглядит скучноватой, даже гениальный «Евгений Онегин» держится не столько сюжетом, сколько последовательностью лирических взрывов. Лучшие вольтеровские трагедии мало уступают классическим образцам Корнеля и Расина, но ведь и тех сегодня могут по достоинству оценить немногие — оценить красоту условного языка, масштаб и психологическую глубину конфликтов, мастерски вписанных в условные формы...

Уверенно «доехали» до двадцатого века, пожалуй, только «безделки» — писанные больше для забавы философские повести, — доехали и нашли своих продолжателей, сочинявших и сочиняющих невероятные приключения не для того, чтобы показать какие-то зримые, тонко отделанные характеры или какой-то достоверный мир, а только для того, чтобы построить наглядную модель некоего многосложного явления: этот ряд можно протянуть от Анатоля Франса до Виктора Пелевина. Правда, классики-французы виртуозно имитировали то стиль восточных сказок, то слог церковных легенд, а наши современники редко утруждают себя исканиями в области языка. Нынче вообще не принято «разбрасываться», отличаться широтой интересов и познаний...

После сожжения «Философских писем» Вольтер около десяти лет прожил на границе Лотарингии в Сире, имени своей почитательницы и подруги, несчастливой в законном браке маркизы дю Шатле, занимаясь поэзией, театром, историей, философией, физикой, химией, биологией, математикой, геологией: нужно служить всем девяти музам — искать успеха у возможно большего числа дам, пояснял Вольтер. Маркиза же, «божественная Эмилия», сетовала, что для спасения Вольтера от его самого ей требуется больше дипломатических способностей, чем римскому папе. К слову сказать, именно в Сире Вольтер написал «Орлеанскую девственницу», изданную анонимно через двадцать лет и сразу же занесенную римским папой в индекс запрещенных книг (а в том же году за ее перепечатку были приговорены к каторге несколько типографских рабочих). Чтобы почувствовать всю кощунственность и сверхпикантность «Девственницы», видимо, нужно до этого очень долго видеть ее героиню Жанну д'Арк предметом принудительного поклонения — иначе ирои-комическая поэма сия, как выражались двести лет назад, ощущается сильно затянутой, а юмор ее — несколько однообразным: святая раз за разом изображается то в одной, то в другой нелепой и неприличной ситуации — ну сколько можно?.. Сам же Вольтер разъяснял, что метил он не в реальную Жанну — мужественную деревенскую девушку, которую инквизиторы и ученые в своей трусливой жестокости сначала возвели на костер, а после объявили святой, — нет, его мишенью был только напыщенный миф. В России этот миф никому особенно не успел надоесть, но изящная вольтеровская фривольность — ее отблески легко разглядеть в стихах Пушкина, когда он хотел быть — неподражаемо, как нам кажется — игривым.

Я признаюсь — вечернею порой  
 Милее мне смиренная девица  
 Послушная, как агнец полевой;  
 Иоанна же была душою львица,  
 Среди трудов и бранных непогод  
 Являлася всех витязей славнее  
 И, что всего чудеснее, труднее,  
 Цвет девственный хранила круглый год.

Эти строки вполне можно принять за пушкинские, поскольку это действительно отрывок из «Орлеанской девственницы» в пушкинском переводе.

Пушкин чрезвычайно высоко ценил и Вольтера-историка, который одним из первых вместо бесхитростного перечисления подвигов королей и полководцев в своем «Опыте о нравах и духе народов» начал изучать устойчивые, наследуемые социальные явления. Российская императрица Екатерина Вторая, называвшая себя его ученицей, именно из его «Опыта...» с изумлением узнала, что законы, обычаи, искусства для истории важнее, чем скоропортящиеся знаменитости и цари с их войнами; эта книга глубоко ее перепала.

Однако, умалив таким образом историческую роль королей и вельмож, Вольтер все равно продолжал искать сближения с ними: только считаясь с законами социальной реальности, можно изменить ее в лучшую сторону. С волками жить — по-волчьи выть, примерно так объяснял он совершенно безбожную для нынешнего уха лесь, которой он не чурался уснащать свои письма к венценосцам. Так, Екатерину Вторую он объявлял выше легендарных законодателей Ликурга и Солона (Спарта и Афины, вместе взятые), но кое-чего этим и добился! Екатерина действительно освободила собственных и церковных рабов, не трогая частных владельцев, — в полном соответствии с программой Вольтер. Что, однако, не помешало Северной Семирамиде при первых же известиях о Французской революции объявить его сочинения вредными и наполненными развращением.

Цари тоже вынуждены считаться с социальной реальностью и даже, может быть, больше, чем простые смертные, ибо правители первыми ощущают противоборствующие напряжения огромных социальных сил. Скорее всего не только личным «деспотизмом», но и страхом, что государственную перестройку легче начать, чем остановить в нужном месте, объясняется неизменное охлаждение к Вольтеру то одного, то другого монарха (хотя и характеры, конечно, нельзя сбрасывать со счетов: с одной стороны, привычку повелевать, с другой — давать волю язвительному языку в таких местах, где и стены имеют уши). После смерти маркизы дю Шатле Людовик Пятнадцатый на какое-то время приблизил Вольтера к своей особе, пожаловал ему придворное звание камергера (которого почти через век так и не был удостоен Пушкин), назначил придворным историографом, посдействовал его избранию во Французскую академию, но вскоре снова удалил от себя. А Вольтер попытался возбудить его ревность, наконец откликнувшись на многократные приглашения «Северного Соломона», прусского «короля-философа» Фридриха Второго, чтобы вести с ним долгие и частые беседы, в промежутках нежно переписываться в пределах королевского дворца, а потом тайно уносить ноги и даже попасть под арест. «Судьба заставляла меня перебегать от короля к королю, хотя я боготворил свободу», — сетовал Вольтер, но «судьбой» была отнюдь не бедность: Вольтер умел зарабатывать деньги и умел ими распоряжаться; его судьбой были уважение к социальным порядкам и надежда их усовершенствовать. Вот Руссо, отрицавший всю цивилизацию целиком, на вершине первого успеха отказался от золотого шитья, белых чулок и тонкого белья и избрал профессию переписчика нот: «Я не находил ничего более высокого и прекрасного, как быть свободным и добродетельным, быть выше богатства и людского мнения и довольствоваться самим собой».

Этого было достаточно, чтобы прослыть оригиналом, но оказывать практическое влияние на государственную жизнь из этой позиции было невозможно. В довершение Руссо после успеха его оперы «Деревенский колдун» отказался от аудиенции у короля: опасался и проявлений своего урологического недомогания, и своей застенчивости, — но ведь можно было объясниться письменно, изысканным почти-тельным слогом...

Вольтер, я думаю, почел бы такой поступок почти безнравственным: ведь он вредил *делу*, а нравственно то, что полезно обществу! Руссо хотел быть безупречным, Вольтер — полезным. Однако это было невозможно при отсутствии веса в обществе. Это было почти невозможно и при наличии веса, но все-таки только «почти» — за него-то и сражался Вольтер, которого называли то прелестным ребенком, то Философом с большой буквы и всегда — самым занимательным собеседником ве-

ка. Вот уж кто чувствовал себя в социальной реальности как рыба в воде, вечно «одной ногой в могиле, другой выделяющий прыжки», — но никогда ни ногой не ступавший в сторону народных масс: он всегда обращался только к просвещенному слою. По мнению Виктора Гюго, Вольтер выступал против нетерпимости, олицетворяемой церковью, против несправедливости, олицетворяемой правосудием, и против невежества, олицетворяемого народом. Вольтер был против нетерпимости даже в борьбе с нетерпимостью. Много лет заканчивая письма призывом «Раздавите гадину!», он разъяснял, что имеет в виду исключительно предрассудки: христианская религия — любви, и только фанатизм — вот истинное имя гадины — утопил мир в крови. На склоне дней обретя независимость на самом краешке Франции, чтобы в случае опасности ускользнуть в Швейцарию, Вольтер в своем Ферне воздвигнул церковь с надписью на фронтоне «Богу от Вольтера». В своем философском словаре, в статье «Атеист» Вольтер писал: «Несомненно, в цивилизованном городе бесконечно полезнее иметь сверхную религию, чем не иметь ее вовсе. Но фанатизм еще хуже атеизма. Мудрые философы могут жить и без религии, но она необходима для черни». Вот уж кому была ненавистна идея «Общественного договора», провозглашенная романтическим демократом Руссо, предлагавшим решать государственные вопросы голосованием: Вольтера ужасала одна только мысль, что голос образованного человека может быть равносильным голосу невежды. Руссо же верил, что лишь в не искушенных многознанием сердцах способна сохраниться добродетель: разум неизбежно порождает себялюбие. Вольтер доказывал существование Бога изощреннейшими рассуждениями о свойствах пространства — Руссо было достаточно чувствовать Бога в своем сердце: «Вообще говоря, верующие делают Бога таким, каковы они сами; добрые делают его добрым, злые — злым; полные ненависти и желчи ханжи не видят ничего, кроме ада, потому что им хотелось бы всех осудить на вечную муку; нежные и любящие души совсем не верят в ад».

Вольтер считал добродетелью то, что полезно обществу, Руссо — то, что вызывает восторженное удивление. Любопытно, что примерно это же разделение Руссо считал основой соответственно мужской и женской психологии: у мужчин предметом речи должно быть то, что полезно, у женщин — то, что нравится; поэтому разбаловавшегося мальчика следует одергивать суровым вопросом: «Зачем это нужно?», а девочку: «Какое это производит впечатление?» Из этого же разделения можно вывести обе главнейшие формы российского утопизма — первый отказывается от всякой морали, второй не признает ничего, кроме морали. Наступление первого было предсказано в «Преступлении и наказании»: если нравственно все, что полезно, то, конечно же, молодому благородному человеку нравственно убить мерзкую старушонку-процентщицу. Логика Раскольникова долго казалась преувеличением или даже клеветой на силы прогресса, пока наконец Ленин не заявил во всеуслышание и даже не без гордости: нравственно все, что полезно прогрессивному классу, — и осуществил все вытекающие отсюда выводы. Ленин всегда говорил как об особом достоинстве, что в учении Маркса нет ни грана морали — одна лишь чистая наука.

Высшей же точкой второй ветви, сверхморалистической, было учение Толстого: все, что оскорбляет нашу душу, должно быть отвергнуто. Но чувствительного, совестливого человека ранит решительно всякое насилие — не только над праведником, но даже и над преступником, — и если он даст этим чувствам волю, то немедленно приговорит к уничтожению практически все общественные учреждения: полицию, армию, правосудие, а заодно и все остальное, что приходится защищать с их помощью, прежде всего собственность. Если первый вид утопизма отказывается от всякой совести, то второй — от всякой ответственности за то, что происходит в мире. По отношению к реальности это именно безответственность, если даже в области духа утопическая мечта создает и гениальные плоды, как это было у Руссо и Толстого. Который, кстати сказать, в молодости «прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая словарь музыки. Я больше, чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, что я их написал сам». В молодости Льву Николаевичу нравились и насмешки Вольтера над религией, но — только в молодости.

Россия, как уже говорилось, и до сих пор продолжает шататься между культом нагой пользы (бессовестным цинизмом) и культом безмятежной совести (прекраснодушной безответственностью), не в силах решить роковой вопрос: какой из этих культов более справедлив? Подобными вопросами недобрые дяди любят доводить до слез маленьких детей: кого ты больше любишь — папу или маму? Кого из них ты будешь спасать, если у тебя только один спасательный круг? Наше представление о

справедливости в каждой ситуации должно рождаться в непрерывной борьбе разума и чувства, и ни одна из сторон не должна быть заранее объявлена победителем: ответственности за решение никто и никогда не сможет снять с человека. Совершенно безмятежной совесть может быть лишь у того, у кого она вовсе отсутствует.

Но если культу пользы попытаться присвоить имя Вольтера, а культу «сердца» — имя Руссо, то обнаружится, что ни тот, ни другой в своих суждениях о практической политике вовсе не были приверженцами культа, связанного с их именем. Вольтер в житейском понимании этого слова был практичным человеком. Несмотря на вспыльчивый нрав, время от времени вовлекавший его в ссоры и даже нелепые судебные тяжбы, он сохранял многолетние дружеские связи и полезные знакомства. И хотя в последние десятилетия жизни его богатство и слава ловко использовала его племянница, к которой он питал чувства более пылкие, нежели просто родственные, в целом он умел и обустроить свой дом, и возделывать свой сад — буквально с пилы и садовыми ножницами в руках. За годы своего пребывания в Ферне он превратил этот нищий поселок в процветающую колонию.

«Вольтер был очень мил и добр в обращении с теми людьми, которые окружали его: шутил со всеми и всех заставлял смеяться, — вспоминал Вольтера фернейской поры один его аристократический почитатель (нам, знающим облик Вольтера по гениальной статуе Гудона, даже трудно представить его милым и добрым). — Надобно было его видеть, оживленного блестящим и пламенным своим воображением; он рассыпал вокруг себя остроумие и веселость; всякий при нем находил себя и умным, и острым... Спешил на помощь ко всякому несчастливцу; строил дома для бедных семейств и был истинно добрый человек в собственном доме, добрый человек со своими людьми, добрый человек в своей деревне — добрый и в то же время великий».

А как же культ пользы, который как будто бы требует немедленного истребления всех социальных паразитов? От пути Раскольников Вольтера хранило чувство юмора, прославленная его ирония, постоянно напоминающая: жизнь слишком сложна, чтобы можно было с уверенностью решить, что безусловно полезно, а что безусловно вредно, — во всем есть обратная сторона, из добра так часто проистекает зло, а из зла добро, что проследить и взвесить все эти взаимосвязи решительно невозможно. Бедность — это, конечно, плохо. Однако не будь бедных, кто стал бы выполнять необходимые, но малооплачиваемые работы? Если бы не было богатых и независимых («паразитов»), откуда бы взялись утонченность вкуса и бескорыстная независимость мысли: «Он был богат, а следовательно, особенно мудр, ибо, ни в чем не нуждаясь, мог никого не обманывать». Не гордись, грозил пальцем Вольтер всем Мемнонам-утопистам, возымевшим безрассудное намерение отрегулировать свою жизнь до полной разумности: «Ты будешь очень счастлив, если больше никогда не будешь строить глупые проекты, как достичь совершеннейшего благоразумия».

В рассказе «Мир, каков он есть», подобно Жан-Жаку Руссо и духу Итуриэлю из этого рассказа, обдумывая приговор всей цивилизации — целому «Персеполису», — Вольтер вместе со своим здравомыслящим скифом Бабуком не решается нанести окончательный удар ни одному устойчивому социальному явлению: всюду мерзкое смешано с прекрасным или по крайней мере полезным. Война — «недостижимые существа, как можете вы сочетать в себе столько низости и величия?» Торговля, наживающаяся на людской прихоти — «за счет этой прихоти живет сегодня сотня мастеров, именно она поощряет промышленность, содействует хорошему вкусу, товарообороту, изобилию». Писатели на званом обеде, спешащие поесть и наговориться: «Они восхваляли две категории людей — покойников и самих себя», «Каждый из них домогался должности лакея и хотел прослыть великим человеком»; их книги, «эти залежи дурного вкуса, продиктованные завистью, подлостью и голодом, эти гнусные сатиры, где оберегают ястреба и раздирают голубка», — и несколько «истинных мудрецов», живущих уединенно и тихо: «Вот люди, которых ангел Итуриэль не решится тронуть, разве что окажется совсем безжалостным». Даже богатства финансистов могут быть весьма полезны: «Эти огромные тучи, напитавшись земной росой, возвращают земле то, что получают от нее». Даже алчность их постепенно перестает казаться чем-то возмутительным, «ибо они алчны не больше других и притом полезны». Даже «маги» — священники, — если приглядеться, оказываются для чего-то нужны: «они все же преподают одну и ту же нравственность». Не говоря уже о том, что среди них попадаются «небесно чистые души».

В итоге здравомыслящий скиф представляет в небесную инстанцию небольшую статую из всех имеющихся металлов, всех сортов глины и из самых драгоценных и самых простых камней: «Разобьете ли вы эту прелестную фигурку только потому, что в ней содержатся не одни лишь алмазы и золото?» И небесная инстанция решает «даже не помышлять больше об исправлении Персеполиса и предоставить

миру оставаться таким, *каков он есть*», ибо «если и не все в нем хорошо, то все терпимо». Искать не идеального, но терпимого — это чрезвычайно мудрая политическая формула.

А как же быть, когда из смеси добра и зла горькой вольтеровской иронией оказываются вымытыми все удачи? В знаменитом его «Кандиде» (тоже сожженном в Женеве рукой палача) смешны все, кто пытается дать какой-то окончательный ответ на вечные вопросы. «Для чего создано столь странное животное, как человек?» — «А тебе-то что до этого? Твое ли это дело?» — «Но на земле ужасно много зла» — «Ну и что же? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?» Несомненным остается только то, что надо возделывать свой сад, — «работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду».

Исследователи много спорили, означают ли слова о возделывании сада, что Вольтер призывал ограничиваться частной жизнью, не вмешиваясь в исторические процессы, в которых человек бессилен. Но сам Вольтер и до, и после «Кандида» продолжал вмешиваться в дела исторического масштаба, предпочитая сделать лучше мало, чем ничего. В «Кандиде» он скорее всего имел в виду то, что обрести душевный покой можно лишь в чем-то простом и выполнимом. И, только исполнив этот минимум, имеет смысл задумываться о большем.

В России, вечно шарахающейся от утопизма к цинизму и обратно, сегодня более чем достаточно иронистов, слепых на тот глаз, которым видят благородное и великое; достает и патетических пророков, безразличных к тому, во что обойдется миру их благородный гнев. Но нам так не хватает просвещенного вольтерьянства, умеющего любить высокое, глумиться над низким и не стремящегося разбить терпимое во имя невозможного. Зато делать максимум возможного. А о невозможном не слишком задумываться.

Правильно ли последнее — очень большой вопрос. Лев Толстой говорил, что, если даже ветер и волны — материальные обстоятельства — не позволяют плыть в нужном направлении, все равно не следует выбрасывать компас — идеал. Но устремляться к нему, вовсе не считаясь с ветром и волнами...

Незадолго до смерти Вольтер вернулся в Париж как триумфатор. В театре «Комеди Франсэз» на представлении его последней трагедии «Ирина» ему устроили свержкорольское чествование. Он был растроган и все-таки заметил, что это же устроили бы и для Жан-Жака.

После всех ядовитых стрел, выпущенных в католическую церковь, перед смертью Вольтер все-таки исповедовался — надо соблюдать обычаи страны, в которой живешь: «Если бы я родился у берегов Ганга, я бы умер с коровьим хвостом в руке». Тем не менее парижский архиепископ запретил его погребение, и его набальзамированное тело в халате и ночном колпаке отвезли в карете в далекую страну, по французским меркам, Шампань и предали земле. Сразу же после похорон пришел запрет хоронить его: вольтеровская терпимость все-таки была сочтена нетерпимой.

Когда грянула Великая французская революция, Людовик Шестнадцатый вспомнил опять же Вольтера: «Вот кто погубил монархию!» И был в какой-то мере прав: подрывать предрассудки всегда означает отчасти подрывать и устои.

В 1791 году революционный конвент постановил перенести его останки в усыпальницу великих людей Франции — в Пантеон. Там его прах встретился с прахом его недруга Руссо. Одна из самых кровавых и разрушительных революций в истории человечества признала их обоих своими отцами, хотя ни тот, ни другой ее не желали. «Смех Вольтера разрушил больше плача Руссо», — заметил мудрейший Герцен, но он не дожил до катастроф двадцатого века. Разрушительным у Руссо оказался не его «плач», а его пафос, не подтачивание чужих идеалов, а провозглашение собственных.

Умение Вольтера ладить с сильными мира сего Руссо называл придворной изворотливостью, создание им театра в Женеве — развратительством, хотя всегда продолжал чтить его талант: «Из всех моих прежних чувств к вам в сердце у меня осталось только восхищение, в котором нельзя отказать вашему прекрасному дарованию, и любовь к вашим произведениям». Вольтер же считал Жан-Жака с его вечными крайностями опасным безумцем. Защищаясь от его нападков, Вольтер мог даже серьезно повредить ему, но в трудную минуту все-таки предложил Руссо убежище (от которого тот отказался). Руссо считал, что и «Кандид» метил в него, ибо в полемике с Вольтером он настаивал на том, что Бог создал мир прекрасным и лишь человек его испортил.

В собственной жизни Руссо был столь непрактичен, что более чем кто-либо имел основания считать, что люди отравляют себе жизнь сами. В спутницы он из-

брал некрасивую бедную девушку (вдобавок покорную своему алчному, малоприятному семейству) единственно из-за того, что она служила предметом насмешек, и лишь через много лет позволил себе мысленно посетовать, что у них с его дорогой Терезой недостает общих предметов для беседы: одно лишь чистое сердце так и не позволило ей прочесть хотя бы те произведения супруга, которыми зачитывались светские дамы и в «обманы» которых влюблялась пушкинская Татьяна. Даже сделавшись одним из знаменитейших писателей Европы, Руссо находил крышу над головой благодаря покровительству аристократических поклонников и поклонниц и всегда сам же разрушал временный покой своей невероятной ранимостью, мнительностью, а то и влюбчивостью. Часто, впрочем, и простодушием. Однажды, оскорбленный нарастающим безверием, он вздумал изобразить свои нежные чувства к Богу и Божьему миру, не стесняя себя догмами: «Я не знаю другого, более достойного способа почтить Божество, чем этот немой восторг, возбуждаемый созерцанием Его творений и не поддающийся выражению при помощи определенных действий». К его изумлению, ему пришлось спасаться бегством из страны в страну, чернь забрасывала его камнями, церковные чины требовали для него чуть ли не костра... Это были не шутки: после покушения душевнобольного Дамиена на жизнь Людовика Пятнадцатого была допущена смертная казнь для авторов, издателей и *покупателей* произведений, посягающих на религию, короля и общественный порядок.

При всем этом Руссо и в теории не считал нужным как-то обуздывать свои мечты: его дарование, верил он, рождено не столько искусным пером, сколько благородным энтузиазмом. Он всегда творил в состоянии какого-то экстаза, шла ли речь о чувствах влюбленных или о социальных несправедливостях. Вот уже не в первой молодости им овладевает грусть, что он, имея такое чувствительное сердце, созданное для дружбы и любви, так и не вкусил этих радостей в полной мере: «Я плакал, и мне было отраднo давать волю слезам». «Невозможность овладеть реальными существами толкнула меня в страну химер; не видя в действительности ничего, что было бы достойно моего бреда, я нашел ему пищу в идеальном мире, который мое богатое воображение скоро населило существами, отвечающими потребностям моего сердца... В своих непрерывных восторгах я упивался бурными потоками самых восхитительных чувств, когда-либо наполнявших сердце человека. Совсем забывая о человеческом роде, я создал себе общество из существ совершенных, божественных как своей добродетелью, так и красотой». Так в слезах и восторгах рождался сентиментализм «Новой Элоизы». «Я не допускал ни соперничества, ни ссор, ни ревности, потому что всякое тягостное чувство дорого обходится моему воображению, и я не хотел омрачать эту радостную картину ничем, унижающим природу». И успех «Элоизы» оказался неслыханным. Несмотря на многократные допечатывания, книг не хватало, и торговцы выдавали их напрокат по двенадцать су в час. Публика буквально рыдала. И хотя Вольтер нашел роман глупым, мещанским, бесстыдным и скучным, на протяжении века Разума «Новая Элоиза» была издана более семидесяти раз, а «Кандид» только пятьдесят. Спрос на чистые слезы был пока что выше, чем на смех сквозь слезы.

И, предавшись негодующему социальному состраданию, экстазическая натура Руссо немедленно породила собственный «умственный мир, простой и превосходный порядок», которого он не мог созерцать без восхищения: «Вскоре, углубившись в него, я стал видеть во взглядах наших мудрецов только заблужденье и безумство, в нашем общественном строе — только гнет и нищету; обольщенный своей глупой гордостью, я считал себя призванным уничтожить все эти авторитеты».

Написанное в этом упоении «Рассуждение о происхождении неравенства среди людей», разумеется, не могло спокойно «рассуждать» о достоинствах и пороках частной собственности: «простой и превосходный порядок» не должны были омрачать никакие пороки. «Первый, кто, огородив участок земли, сказал: это мое, и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких несчастий и ужасов избавил бы род людской тот, кто крикнул бы подобным себе, вырывая колья и засыпая ров: берегитесь слушать этого обманщика, вы погибли, если забудете, что продукты принадлежат всем, а земля — никому». И сколько же войн, убийств, несчастий и ужасов принесли те, кто вырвал эти колья и засыпал рвы...

Изгоняя из своего внутреннего мира все, что может омрачить идеальную мечту, Руссо не стал также разбираться, какие стеснения человеческой свободы необходимы, а какие можно бы и устранить; в своем «Общественном договоре» он припечатал все государства разом, не вдаваясь в подробности: «Человек рождается быть свободным — и везде в цепях!» Надо заметить, что для самого Руссо были невыносимы даже минимальные ограничения: «Я люблю заниматься пустяками, братья за сто

дел и ни одного не кончать; идти куда глаза глядят, ежеминутно изменяя направление; следить за полетом мухи; стараться передвинуть каменную глыбу, чтобы посмотреть, что под ней; горячо приняться за работу, требующую десятилетнего труда, и через десять минут без сожаления бросить ее; наконец целый день бездельничать и во всем следовать лишь минутному капризу». В сравнении с этой «праздностью ребенка» всякая систематическая работа покажется оковами...

Но Руссо, конечно, понимал, что любая совместная деятельность требует подчинения всех участников какой-то единой воле. Хорошо, но пускай тогда эта воля будет их же собственной, то есть Общей Волей. Эту идею — подчинение всех людей единой воле (пускай даже воле большинства) — некоторые исследователи называют основополагающей мыслью государственного тоталитаризма, и против этого трудно что-либо возразить. Можно только еще раз подчеркнуть, что в своих практических суждениях Руссо не посягал на устоявшиеся порядки. Он говорил, что испорчены не столько те народы, у которых законы плохи, сколько те, кто презирает свои законы. Воспевши Общую Волю народа, он проклинал бестолковую, алчную, подстрекаемую смутьянами «чернь». Обсуждая самые робкие побегии демократии — не следует ли окружить короля выборными советниками? — Руссо был предельно осторожен: если бы даже преимущества новизны были бесспорны, кто дерзнул бы поколебать те формы, которые складывались тринадцать веков?

Когда речь заходила о реальности, а не о «химерах», Руссо начинал уважать исторически сложившиеся учреждения. Другое дело, что подробности реальной жизни не вызывали в нем таких сильных чувств, как фантазии: «Бытие конечных существ столь бедно и столь ограничено, что, когда мы видим только то, что есть, мы никогда не бываем тронуты. Химеры — вот что приукрашивает действительные предметы, и если воображение не придает прелести тому, что на нас действует, то скучное удовольствие, получаемое от предмета, ограничивается зрением, а сердце остается всегда холодным».

Вот, собственно, в чем и разгадка, отчего Руссо так необуздан в своих социальных трактатах и так сдержан в практических советах: его трактаты были *художественными произведениями*, творившими прекрасные идеальные миры. И понимать их, а тем более переносить их в жизнь буквально, как это делали те, кто считал себя его учениками, — величайшая примитивность.

Именно об этой примитивности, которая не знает иронии и сомнений, которая все понимает буквально и стремится воплотить в точности, как грезилось, не пугаясь никаких несчастий и ужасов — «Раздавите гадину!» — это Вольтер писал именно о ней. И эта гадина всегда у порога: как все серьезные социальные явления, напористая примитивность тоже бессмертна. Будем бдительны!



Лариса БЕРЕЗОВЧУК

## Естественный отбор

Я думаю, что отношение к стихотворению, драме, рассказу, роману, рецензии критика или литературоведческому исследованию с точки зрения рационального мышления и опыта — это существование-воплощение литературы в двух разных модальностях. В первом случае человек хочет что-либо «знать» о произведении вообще, а во втором — «иметь» его только для себя.

Задавать детский вопрос: «чья мама главней?» — бессмысленно. И так понятно: словесность как объективно существующий факт культуры требует осмысления, литературное же произведение, которое читаешь, впуская его затем навсегда в сознание или, наоборот, отгоняя его как можно дальше от своего внутреннего мира, — это переживание.

А оно у каждого человека собственное и ничье другое. Это его, если угодно, «движимая собственность» идеального свойства.

Почему в «высокой мысли» о словесности (за исключением прикладной социологии литературы, не пользующейся в нашей стране популярностью) всегда забывают о тех ее сторонах, которые способны активизировать субъективный опыт читателей?

Не откажу себе в удовольствии явно мазохистского свойства процитировать выдержки из *высокого мнения* «Коммерсант-daily» о перспективах литераторов быть когда-нибудь опубликованными. В нем отчетливо просвечивают прогностические воззрения властей предрежащих СМИ о будущем, ожидающем литературу. Они высказаны журналисткой отдела культуры в заметке «Слушай же, Сальери, мой Реквием» (8 сентября 1998 г.), посвященной Московской книжной ярмарке. Автор видит положение отечественной издательской деятельности весьма своеобразно, в духе ленинского «третьего не дано»: либо «наворачивать прибыли на костях корифеев домодельной словесности, либо смириться с интернациональной конъюнктурой, в целом не благоприятствующей профессионально сработанному чтиву как таковому (в пользу Интернета и видео), и покупать за скромный гонорар производителей текстов с в десятки раз более скромными запросами, как отечественных, так и зарубежных».

Высокооплачиваемая журналистская дама изъясняется о литературе, можно сказать, даже элегантно, сочетая «задорность» постмодернистского дискурса, где смысл прочерчивается лишь пунктиром, с лихим оценочно-раскованным слогом: «лидеры отечественной полиграфии — мастодонты российского книжного дела»; книги, литература в целом видятся только «презренным чтивом»; от отечественных литераторов остались лишь «кости корифеев»; тексты превратились в «домодел»; автор никоим образом не должен гордиться тем, что он способен и умеет что-то делать, ибо его теперь все равно будут покупать только «за копейки»; прозаикам, поэтам и драматургам нынче гоношиться не пристало, потому что художественным открытиям в литературе уже места нет — не нужны рынку с его международной конъюнктурой «профессионально сработанные» произведения.

Ух, как сплеча рубит журналистка по издательствам, авторам, литературе, защищая экспансию Интернета и видео на культурные территории, традиционно принадлежащие словесности! И несколько сотен бизнесменов, которые вполглаза пробегут рубрику «Культура» в этой престижной в деловых кругах газете, могут воспринять подобный журналистский «беспредел» как авторитетное мнение специалиста.

Дальше — выводы и действия, которые скажутся самым трагическим образом на судьбе — и без того нелегкой — отечественной словесности.

Такая вот участь ожидает нас, уважаемые коллеги по перу (то бишь клавиатуре).

Что-то не то происходит в прагматике слова «культура».

Постоянно натыкаешься на появившуюся неизвестно откуда двусмысленность этого понятия. Раньше мы спокойно могли образовать от него прилагательное и сказать: «Вот идет культурный человек». Мы стандартно предпочитаем говорить «политический деятель» (вариант «деятель в сфере политики» употребляется гораздо реже), «научное открытие» (возможен лишь вариант «открытие наукой чего-либо»), «социальная сфера» (варианты отсутствуют) и т. п. Но попробуем по этой логике грамматического соподчинения произнести «культурный деятель», «культурное открытие», «культурная сфера», не говоря уже о «культурном резонансе». Невозможно так сказать! Неправильно! В живой речи мы острее чувствуем, что определение «культурный» по каким-то причинам теперь не может выступать в предикативной функции, его уже нельзя отнести ни к относительным, ни к качественным прилагательным. А ведь до недавнего времени всё было в порядке! Так в чем дело?

Есть ли у меня внутреннее право выносить на всеобщее обозрение-обсуждение не только собственные, а потому всегда субъективные, размышления, но и описывать какие-либо ситуации, носившие приватный характер, приводить фрагменты бесед частного свойства?

Думаю, что да — в случаях, если они имеют отношение к литературному творчеству и обиходу. Литературу делают конкретные люди, они о ней думают, говорят. И иногда, казалось бы, сказанная вскользь кем-то фраза в конкретной ситуации может определить творческую судьбу автора. Кому, как не литераторам, знать, каким тяжелым может быть слово и какой оно обладает жизнестроительной силой? В литературном обиходе любые поступки, любые мнения обладают значимостью сами по себе вне зависимости от статуса персон, небрежно бросивших их в «питательный бульон» человеческих отношений. Есть еще одно обстоятельство: я — для себя — принципиально утверждаю универсальные ценности (не смешивать со стереотипами и канонами) литературы письменной традиции. В каждой ситуации именно они определяют точку зрения на самые разнообразные события в литературном обиходе, в том числе и на новации, появившиеся в ней в течение последних десяти — пятнадцати лет. Поэтому сопряжение «приватного видения» и универсальной точки отсчета, как мне кажется, может привести к тому, что в «Естественном отборе» воспроизведутся внутренняя противоречивость, динамичность и конфликтно-взрывчатый характер, присущие самой литературной практике.

Была «самая читающая страна в мире». Была... Оговорки: мол, невысказанные тиражи были вызваны идейно-политическим диктатом, а теперь читают ровно столько, сколько каждому человеку нужно, читают, что хочется, — мало что объясняют. Ведь есть же области словесности, которые до сих пор пользуются на рынке спросом, и от того, что они именуются «коммерческой литературой», «паралитературой», их потребители отнюдь не чувствуют себя оскорбленными, читая в свое удовольствие то, что им нравится, что вызывает интерес. Теперь они не побегут искать на лотках романы классиков XX века, отечественных и зарубежных, не будут до хрипоты спорить о новых стихах известных и неизвестных поэтов. В культурное забвение проваливаются целые области литературы, причастность к которой еще десять лет назад считалась едва ли не обязательной для каждого человека, называющего себя образованным.

Не поверю утверждениям, дескать, этот слом вызван исключительно внутрилитературными факторами: «не так пишут», «не о том пишут» и т. д. Многообразие эстетических тенденций, векторы поисков и их результаты, например, в поэзии, как в зеркале отражают те сдвиги, которые происходят с сознанием бывших ее читателей: взят курс на снижение роли в самом широком смысле вербального начала в жизни людей. Очевидно, что массовый читательский спрос определяется теперь не художественными факторами. Значимость издания на книжном рынке обеспечивают сугубо психологические мотивы, которые, как ни странно, оказываются проекциями традиционнейших компонентов художественной литературы, «перенесенных» в жизнь: узнаваемость героя и обстоятельство действия реализует потребности в самоактуализации читающего и его причастности к «настоящей» жизни, которая в действительности все более видится абсурдным кошмаром; хоть какая-то связность и це-

лесообразность сюжета в криминальном боевике или «женском романе» компенсируют саму алогичность существования; состояние языка в коммерческой литературе, а в особенности характер прямой речи позволяют читателю идентифицировать собственную языковую способность и т. д.

Если Слово обесценивается, то уже не включить механизмы интереса к литературе и ее престижности.

Можно утешаться лишь тем, что в истории неоднократно происходили изменения в общественном сознании «рейтинга» того или иного вида искусства.

Никогда не забуду, как однажды в присутственный день (а это был разгар архивного периода при подготовке сектором музыки РИИИ четырехтомной энциклопедии «Музыкальный Петербург. XVIII век») Ира Федоровна Петровская влетела в нашу «розовую гостиную» Zubовского особняка, в которой дружно сосуществовали и трудились коллективы «чистых образников» — музыковеды и искусствоведы. А Иру Федоровну, доктора искусствоведения, ведущего источниковеда Петербурга по истории отечественных театра и музыки, нужно видеть: роскошная пожилая дама! На этом этапе работы она опекала редакционную коллегию, потому что, за исключением наших музыковедов-медиевистов, с архивной работой никто всерьез не сталкивался. А здесь надо было перелопатить огромные фонды, не говоря о том, чтобы научиться читать скоропись полууставом XVIII века. Естественно, что всё нами обнаруживаемое начинало вступать в противоречие с трудами предшественников, которые чаще всего «думали» об истории отечественного искусства и выдвигали очередные его концепции. Надо было разгрести накопившиеся фактологические ошибки, и в этом плане притчей во языцех для коллектива авторов стали книги А. Гозенпуда, вес которых измерялся пудами.

Так вот. Влетает к нам Ира Федоровна, потрясая вздытыми руками. В одной она брезгливо держит за обложку один из опусов по истории русской музыки Гозенпуда, а во второй — связку нескольких толстенных, перетянутых резинками пачек карточек, на которых имела обыкновение делать в архиве выписки.

— Дорогие коллеги! — гневно трубит она, размахивая Гозенпудом (то есть им написанной книгой). — Вот это — вранье!

И правда: то, что было у Иры Федоровны во второй руке, — *знание реальных фактов — это право на порицание, право на инвективы.*

Урок.

Но как и где найти архивы, хранящие свидетельства о фактах современного литературного процесса?

По этому поводу думать можно все что угодно.

Потому я не думаю ничего.

«Литературная практика» — это что? Только околотературный обиход, «быт», если угодно, литераторов и «нравы», царящие нынче в этой среде?

Полагаю, не совсем так. Мемуары отдаленного и совсем недавнего (четверть столетия тому) прошлого не могут быть аналогом описания литературной практики сегодня. В ней сейчас слишком много привходящих факторов, причем принципиально не связанных с продуцированием и потреблением текстов, претендующих на статус «художественных».

С «литературной практикой» тоже будет непросто.

На «территории» Сергея Завьялова — в большом зале Дома-музея А. С. Пушкина — проходил авторский вечер Дмитрия Волчека, выступавшего на этот раз в ипостаси поэта. Я собиралась туда идти, но по каким-то причинам вынуждена была остаться дома. Как говорится, «судьба Евгения хранила...».

После вечера мне позвонили четыре человека и мучительно — запинаясь, пытаясь, мыча что-то невразумительное типа: «Ну вот он... вот так в стихах об этом... но нельзя же такое вслух...» — пытались хоть как-то пересказать звучавшее, оставаясь при этом в рамках вербальных приличий: они джентльмены, а я — дама. Те, кто мне звонил, отнюдь не были пуристами, как и я. Но в эмоционально жестких ситуациях мы все умеем пользоваться фигурами умолчания и даже играть этим, вынося обценность «за скобки», не говоря о том, чтобы учиться в письме работать с лексикой, связанной с физиологией человека. Д. Волчек, как оказалось, вылил на слушателей, среди которых были, между прочим, женщины и юные девушки, ушат откровенной брани, тематически отягощенной «гей-порнухой» и любованием эстетикой фашизма. Оскорбленная публика покидала зал, не понимая, что же на самом деле происходит в связи с читаемой Волчеком «как бы поэзией». (Ох, уж мне эта кантовская пред-

посылка фиктивности «как бы», ставшая нынче культур-политическим лозунгом подобного рода персон!) Родная тетя Волчека, не выдержав, возмущенная встала и заявила: «В этих стенах такое произносить!..» После чтения двое выступавших, готовые говорить всегда и по любому поводу, в целом одобрили прозвучавшее. В результате один поэт (из круга «Утконоса»), оскорбившись за поэзию и людей и при этом ничего в происходящем не понимая, не выдержал перегрева и кинулся на выступавшего. Их, разумеется, растащили, выволокли в исторический дворик просвежиться. А виновник скандала, радостно потирая ручки, приговаривал:

— Ах, какой успех! Кто бы мог подумать... Какой успех! — И в благодарность повел поить постмодернистских сотоварищей дорогим «Мартини».

По мере того как по пересказам складывалась картина происходившего на вечере Волчека, я благодарила судьбу, что меня там не было. И становилось все страшнее.

А если бы я сидела в зале? Как мне себя нужно было бы вести? Втянув голову в шею, красной от стыда уйти — это позволить себя оскорблять и пинать ногами. Ясно также, что открытый публичный протест в подобных ситуациях должен носить ритуально-этикетные формы. Значит, никаких обвинений, гневных обличений в адрес вербально-поэтического хулигана быть не может. Но какими действиями высказать негодование? Наверное, как-нибудь так: спокойным шагом подняться на сцену, достать из сумочки перчатки, дать ими условную пощечину и, ничего не говоря, выйти вон.

Страшно же стало по иным причинам.

А на следующий уже день по радио «Свобода» передали, что консервативная питерская публика и литераторы подобной ориентации предали обструкции борца за сексуальную свободу Д. Волчека — великого новатора в поэзии, чей вклад по достоинству был оценен единомышленниками.

О, как работают политики! При чем тут литература?

Вот что пугает.

Кажется, Конфуцию принадлежит авторство этого — всегда нужного — изречения, растиражированного на все лады: «Если бы мы определили смысл слов, то сразу решилась бы половина проблем».

Я не знаю, что такое «литература вообще», даже если добавить определение «художественная».

С понятием «словесность» работать легче, имея в виду только фактор восприятия и порождения любого вербального материала, да и то лишь его первичные фазы. Но в остальных планах в «словесности» тонешь — она необъятна.

Не очень помогает изначально зыбкая специализация словесности по сферам функционирования — научная, литургическая, учебная, делопроизводительная, словесность с приоритетами эстетического компонента и др., с дифференциацией последней по родам, жанрам и т. д. Считай, уже столетие, как длится самое настоящее Бородино, где всё — в кучу.

Да и кто, кроме литературоведов, когда ищет нужную ему книгу, а затем садится ее читать, всерьез задумывается об этой — эстетического происхождения — елочной мишуре типологий и классификаций?

А само «эстетическое происхождение» — оно одно чего стоит!

Так далеко можно зайти... Впереди еще «язык» и «произведение», не говоря уже о «художественном образе» и о «ценностях». Спаси и помилуй любого, тылы которого не защищены узкоспециальными корпоративно-профессиональными трактовками основных понятий, необходимых для разговора о литературе, — того наивного неопита, который пытается хоть что-нибудь понять в воцарившемся ныне понятийном хаосе.

Поэтому в «Естественном отборе» только та область словесности будет именоваться художественной литературой, потребность в которой всецело связана с *наличием у людей времени для досуга и которой этот досуг посвящен*.

И из остальных понятийных водоворотов тоже выплывать придется.

Если этого не пытаться делать, то лучше вообще молчать.

В НЛО № 32 (1998 г.) опубликована статья Владислава Кулакова «По образу и подобию языка» о поэзии 80-х годов. Если бы я в 1988 году прочитала такой текст о творчестве поэтов предшествующего десятилетия, то наверняка бы расчувствовалась и радости моей не было бы предела: вот это публикация! — нужная, полезная, освоив ее, можно продемонстрировать знакомым, таким же непричастным к литературе, свою «подкованность» в современной поэзии. А сейчас... «Хорошая» ли статья

В. Кулакова, «плохая» ли, стремится она с максимальной полнотой зафиксировать тенденции в поэтической практике 80-х или же что-либо камуфлирует — не знаю, и дела до этого мне никакого нет. Быть может, авторы, в ней упоминаемые (в зависимости от их собственного представления о том, как они должны где бы то ни было «упоминаться»), отреагируют иначе: в тексте отчетливо кого-то панибратски похлопывают по плечу, кого-то спихивают с занимаемой возделенной ступеньки в литературном сообществе, а на кого-то взирают с нескрываемо подобоострастным почтением. Но о вполне допустимой субъективности суждений в разговоре о произведении, еще вибрирующих новизной (прошло всего каких-то десять лет), — ни единственным словом. Автор излагает свою точку зрения категорично, в тоне безапелляционного утверждения.

Однако каждый читатель желает располагать свободой эстетического предпочтения, т. е. правом выбора. Вот, к примеру, мне лично очень нравится в поэме Алексеев Парщикова «Я рожден на поле Полтавской битвы» именно «нагромождение метафор одной на другую в таких невероятных количествах». Внимания критика заслуживают другие стороны произведения, а «нагромождение», к сожалению, энтузиазма не вызывает. А у меня вызывает.

Ну и что?! Почему личные литературные пристрастия критика, пишущего о поэзии, должны хоть каким-то образом сказываться на репутации автора в читательской аудитории? Ведь если взять маркеры двух цветов и пройти по статье, где критик пытается не только *со-здать, но и за-дать картину поэзии 80-х*, то раскрашенные фигуры оценочной атрибуции в тексте отчетливо сведутся к «двухцветности» — полярности. Нужно ли это авторам? Легче ли будет читателю найти «свою» нишу в изобилии стилей, в противоречивости творческих тенденций, присущих этому времени? А вот западные слависты явно будут довольны: они получат еще один рапорт — образец культурно-строительной рефлексии «аборигенов», сражающихся за место под солнцем литературной славы, право зажигать которое по старой доброй традиции принадлежит, конечно же, критику, игнорирующему законы естественного отбора.

Нужны ли и продуктивны ли попытки хоть как-то организовать типологиями современную литературную панораму? На самом деле вопрос не из легких, и я не сумею ответить на него однозначно.

Во-первых, все активнее заявляют о себе попытки типологизировать творческий процесс (а точнее, самих авторов) по социологическому принципу: литературы, составляющие *актуальную* литературу и *литературу маргинальную*. Для кого они актуальны и на каком основании? Здесь критерием являются не художественная состоятельность творчества или же принадлежность к определенной системе художественного мышления, а фактор «раскрутки», наличие у автора имиджа «успешного человека» и его принадлежность к «новорусскому» истеблишменту или хотя бы нескрываемое намерение вписаться в него. Показательно, что подобные попытки касаются современной поэзии (а не прозы или драматургии), что свидетельствует о вспышке творческой активности поэтов и очевидности художественных результатов. Поэтам явно становится тесно, в связи с чем по отношению к творчеству насильственно применяются (в качестве типологизирующего фактора) чужеродные для литературы критерии. Признак «чужеродности» — дурная бесконечность во взаимоотношениях критерия и объекта: что кого определяет — «актуально» написанные произведения отличают авторов или выделенная кем-то со стороны группа «актуальных» авторов априори обречена на создание шедевров?

Читателю все эти «маргиналы», «актуалы», как говорится, ни уму, ни сердцу. Коль скоро типология не помогает пробиться к тексту и образу, то грош ей цена. К тому же такого рода типология очевидно несет в себе приметы прорыва к власти в литературной практике.

Во-вторых, классификаторам все сложнее становится втиснуть творчество отдельных авторов (например, таких известных, как Генрих Сапгир, Виктор Соснора, Михаил Еремин, Алексей Парщиков, Сергей Стратановский, Всеволод Некрасов, Владимир Строчков, Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, не говоря уже о молодых поэтах) в рамки какой-либо *одной эстетической системы или специфичности «художественного поколения»*. Пришедшее в определенный период поколение распадается, а эстетическая ориентация эволюционирует или вообще оказывается настолько микстово-сложной, что определять ее критикам и литературоведам нет резона.

Если речь идет о попытках структурировать современную поэзию сеткой эстетических координат, то сразу возникает вопрос: кому это нужно? Автору? В ипостаси автора-практика категорически отвечаю: «Нет!» Включение моей творческой пер-

соны, стихов, мною написанных, в какую-либо ячейку (течение, направление, эстетическую систему etc.) ничего для меня (и, наверное, для большинства поэтов) не изменит — как считала необходимым делать, так и буду продолжать. Читателю? Так прежде чем он разберется, что это такое «транс-», «нео-», «пост-» (а теперь — по научным слухам — «поста» вроде уже и нет, закончился «пост-»), «гипер-», ему не то что вникать во все это надоест, ему — и это главное — расхочется читать современную поэзию.

В-третьих, как показывает опыт типологизаций (а на примере даже опубликованного в НЛО видно, насколько эта потребность укоренена в литературном сообществе), они принимают во внимание *лишь одну часть литературного процесса, причем в масштабах своих весьма незначительную*. Охвачены преимущественно московско-питерские авторы, ставшие «официальными» после выхода из андеграунда, изредка — одиночки из провинции и зарубежья. Остальное пространство поэтического творчества не учитывается. А это мгновенно ставит сетку координат под сомнение. Думаю, что и у оставшихся верными поэзии читателей своя точка зрения на существо литературного процесса сегодня. Кроме того, я не сталкивалась ни с одним критическим или исследовательским текстом (за исключением труда немецкого литературоведа Tchoubukov–Pianka F. Die Konzeptualisierung der Grafomanie in der Russischsprachigen Postmodernen Literatur. Munchen, 1995), где бы ставилась проблема графомании и предпринимались хоть какие-нибудь попытки определить признаки графоманских опусов. А без этого критерия, равно как и набора объективных характеристик, позволяющих разграничивать в прозе текст коммерческий и текст художественный, практически любые типологии обречены на произвольность и неполноту. Насколько сложно выделить критерии коммерческой литературы и графомании, насколько они неочевидны, явствует из материалов «круглого стола», посвященного литературному феномену А. Марининой, в котором принимали участие И. Прохорова, Г. Дашевский, С. Козлов, А. Носов, Б. Дубин (На rendez-vous с Марининой. «Неприкосновенный запас», 1998, № 1.).

Вот и получается почти что детективный сюжет: кому выгодно набрасывать разнообразные сети эстетических координат на литературную практику? Ведь автор — как рыба: плывет себе, вилля хвостиком, куда нужно по воле течения или же куда ему самому хочется. Он вовсе не желает быть посаженным в ячейку своего направления, течения, стиля etc., и — чтоб ни-ни-ни! — за ее пределы. Нельзя также не заметить, как осторожны в типологизирующих забавах литературоведы-исследователи, прекрасно понимая, насколько эстетическая атрибуция малозначима в сравнении с анализом образно-тематического плана в произведении, поэтики или технических приемов в творчестве того или иного автора.

Потому построение подобного рода систем оказывается не чем иным, как *одной из форм социализации литератора*. И занимаются такими делами — подчеркну — по печально известной старинке именно критики, понимая, что *создание метаязыка описания* — еще одного, и какого по счету! — оказывается не чем иным, как *специфической формой проявления власти над творческим процессом, над авторами*. Наиболее беззастенчивой, оголтелой по натиску на продуктивную деятельность литератора с целью обретения власти над ним и созданным текстом отличались так называемые «новые критики» со своим дискурсивным письмом. (Это откровенная подстановка в терминологию, но она, к сожалению, уже укоренена в обиходе, и потому понятно, о чем идет речь.) По этой причине в поле зрения критиков попадает не художественный — поэтический или прозаический — текст, реально написанные «вещи», а преимущественно внешние по отношению к литературе факторы — всевозможные контексты, которые, как бисер, можно нанизать на крепкую нить собственного — вполне утилитарно-конкретного — интереса. Мое отношение ко всему этому, надеюсь, понятно...

Но я первая начну взывать в пустоту: «Дорогие критики, где вы?»

Ибо есть место в литературной практике и оно — пока — свободно. Тысячи и тысячи читателей ждут не дождутся, когда им кто-то внятно и человеческим языком на уровне стандартных представлений о существе «художественного» в литературе, с учетом минимальных познаний в универсальных принципах строения текста (в прозе, поэзии, драматургии) объяснит, какие на рубеже тысячелетий появились новые и замечательные произведения в отечественной словесности, много ли авторов, которые достойны, чтобы их запомнить и рассказать об их творчестве своим детям. Именно читателям, профессионально с литературой не связанным — обычным ее потребителям, — нужна внятная, простая для понимания типология, которая бы позволила организовать восприятие текстов, форма которых выходит за пределы усвоенного в детстве канона. Наверное, сейчас нет более благодарной роли в литератур-

ной практике, нежели *медиатор, посредник между автором и читателем, с одной стороны, а с другой — эксперт (но не «оценщик»!) по отношению к конкретному художественному тексту*. Эту миссию может выполнить только критик. Если захочет и сочтет необходимым для себя откликнуться на запрос времени, понимая специфичность положения, в котором оказалась литература в связи с экспансией визуальности и изменением роли Слова в обществе.

Особенного желания, правда, пока не наблюдается: по-прежнему возможность «оценивать», раздавая ярлыки ранжирования, мыслится критиками наивысшей степенью самоактуализации в литературном процессе. Понимая катастрофичность утраты читателя, начали писать друг о друге сами авторы — а что делать! — руководствуясь исключительно благими намерениями: пробиться к аудитории и защитить себя от того, что хотелось забыть, как страшный сон из времен совписа, потому что юная критическая поросль, ничем от своих «отцов» не отличаясь, опять взялась за старое. Вот и пищут о творчестве своих коллег поэты, прозаики; даже некоторые литературоведы пошли на снижение высокого научного «штиля», начав анализировать современную литературную практику.

Значит, действительно «горячо».

Для начинающих писать — прозу или поэзию — очень важно, кто из профессиональных литераторов окажется рядом и как поведет себя по отношению к еще неопытному коллеге по несчастью.

В ситуации, когда в практике отсутствует единый канон (письма, стихосложение, стилистики и т. п.), мне кажется, целесообразен контакт с тем литератором, творчество которого для молодого автора художественно значимо. Занятия в студии, лито или даже обучение в Литинституте, если «специальность» ведет мастер, далекий своими творческими устремлениями, не всегда помогут справиться даже с насущными техническими проблемами. Кроме того, очень важный момент, сложно решаемый учебно-корпоративными объединениями в принципе, — свобода, право на выбор собственного творческого пути. Здесь больше подходит не директивно-техническая «муштра», характерная для гуманитарного образования (педагог учит тому, что знает сам), а выжидательная и осторожная позиция медиков по отношению к больному: «Не навреди!» Как ценно это необязательное и даже в чем-то равнодушное отношение опытного литератора к начинающему собрату, я убедилась на собственном опыте.

Первым профессиональным поэтом, который прочитал весной 1990 года мои только-только появившиеся 20—25 стихотворений, по счастливому — но не случайному — стечению обстоятельств оказался Аркадий Драгомощенко. Я понимала, что контакт следует искать с автором, работающим в свободном стихе. Мне казалось тогда, что самое важное — это откровенно высказанное мнение о написанном, независимо от того, будет ли оно положительным или отрицательным. Драгомощенко был непроницаем, как сфинкс.

— Пиши дальше.

Еще один вопрос, крайне болезненный для всех, осваивающих природу и логику свободного стиха, требовал незамедлительного ответа — стихораздел.

— Аркадий, как делить строку?

— Не знаю. Как хочешь, так и дели.

— А ты как это делаешь?

— Как считаю нужным, так и делаю. Точнее, как стих считает нужным, так и делаю.

В то время я думала по неопытности, что поэт строго охраняет секрет своих технических приемов в сфере ритмики: «Уж если Драгомощенко не знает, то кто в Петербурге это может знать вообще?» И, хотя наш контакт был недолгим, а потом — и по сей день — отношения и вовсе стали дистанцированно-формальными из-за различия в культурно-стратегических ориентациях и соответственно ценностях, я до сих пор испытываю глубокую признательность к Аркадию Драгомощенко за то, что он тогда не искалечил мне чувство ритма. А сделать это было проще простого — я бы и не заметила ничего: мэтр дает зеленому новичку парочку ЦУ, тот их, естественно, воспринимает как руководство к действию. И... — прощай *органика свободного стиха — самый важный атрибут этой системы стихосложения*. Драгомощенко, ничего «теоретического» мне по этому поводу не говоря, похоже, понимал принципиальные отличия работы в свободном стихе от творчества в рамках канона силлабо-тоники, чего тогда по неопытности я уразуметь не могла. Теперь и сама ответила бы точно так же на многие вопросы, возникающие у поэтов на начальном этапе овладения техникой: «Не знаю».

Свой опыт поднести на блюдечке ученику, конечно, можно, как это делают многие маститые поэты. Но не стоит, как мне кажется, лишать автора, начинающего свой путь в литературе, права на творческую судьбу, хотя она всем в равной мере обещает и открытия, и поражения. Пусть впоследствии винит в своих неудачах только себя, а не наставника или школу.

Буду стараться не высказывать свое субъективное мнение о текстах, о творчестве конкретных авторов. Хотя все верно — не получится.

Поэтому для читателей, интересующихся именно литературой, т. е. текстами (а не практикой или процессом), введу элементарнейшие координаты, которые на первых порах помогут сориентироваться в эстетико-стилистическом разнообразии, царящем в современной поэзии. Авторам подобные координаты безразличны, т. к. для творческого процесса с его доминантой интуиции любые типологии ничего не значат. Читателям же без них трудно. И мне в свое время тоже было очень не просто **научиться переключать восприятие на ту или иную эстетическую систему, чтобы понять и эмоционально пережить то, что мне предлагает конкретный поэт.** А без подобного «внутреннего тумблера» не освоить необычный по форме или авторской позиции текст — он выталкивает читателя, как вода поплавок. Поэтому без какой бы то ни было филологической аргументации, обращаясь лишь к наличествующему у каждого человека опыту чтения стихов, привожу очень простую классификацию (она была заявлена на московском «круглом столе» при обсуждении итогов поэтического фестиваля «Москва — Петербург»).

**Я-ПОЭЗИЯ.** Доминирующее в русскоязычной поэзии с послепушкинской эпохи эстетическое направление. Формирует у большинства читателей представление о собственно «поэтическом», включая силлабо-тонический канон стихосложения и другие компоненты «внешней формы» стиха. **Речь от первого лица, наличие лирического героя** — субъекта поэтической рефлексии, — его мысли и чувства «по поводу...» независимо от тематического плана стихотворения вызывают у читателя сильнейшие эмоции сопереживания, обеспечивающие в конечном итоге значимость Я-ПОЭЗИИ в жизни людей и общества.

**КОНТЕКСТ-ПОЭЗИЯ.** С послепушкинской эпохи и до 70-х годов XX века важной роли в литературном процессе не играла, выступая лишь в качестве эстетических прецедентов пародии, перифраза, парадокса, каламбура и т. п., направленных на создание комедийно-сатирических или гротескно-иронических по своему содержанию стихотворений. **КОНТЕКСТ-ПОЭЗИЯ** узнается по своеобразному «снижению», «опрощению» формальных элементов стиха, отсутствию возвышенности, присущей поэтической речи. **Языковая сторона стихотворений начинает играть конструирующую, а не констатирующую** (как в Я-ПОЭЗИИ) **роль.** В качестве контекста, определяющего творчество поэтов в данном направлении, могут выступать различные литературные традиции прошлого, отношение к которым чаще всего отрицательное, литературные, речевые стереотипы идеологического или эстетического свойства. Творчески-созидательная функция автора в **КОНТЕКСТ-ПОЭЗИИ** парадоксальным образом состоит **в разрушении контекстов**, с которыми поэт работает, что зачастую вызывает у читателей и слушателей реакцию смеха. В наиболее радикальных явлениях **КОНТЕКСТ-ПОЭЗИИ** возникает деструкция, которую сознание читателей-слушателей на уровне здравого смысла фиксирует в вопросах типа: «А в чем здесь, собственно говоря, состоит фактор художественности, если разрушены универсальные ценности поэзии?»

**ФОРМА-ПОЭЗИЯ.** В отличие от **КОНТЕКСТ-ПОЭЗИИ** представители этого направления принципиально ориентированы **на новизну формальных элементов стиха и его вербальной стороны.** В этом направлении сохраняются нормативные для искусства слова серьезность, патетичность, возвышенность поэтической речи и ее «авторский» — оригинальный — характер. «Необычный» же вид письменных текстов или их декламации (исполнения поэтом) обуславливается гипертрофией того или иного средства выразительности. Для адекватного восприятия **ФОРМА-ПОЭЗИИ** важна некоторая **переориентация самого перцептивного механизма читателей-слушателей:** они должны знать, какие изменения в текстах такого рода претерпели нормативные для Я-ПОЭЗИИ элементы «внешней формы» стиха и его вербальная сторона, «нестандартный» облик которых в стихотворениях вызван расширением ресурсов того или иного аспекта языка (семантического, синтаксического или прагматического) или же синтезом с иными видами искусств. **ФОРМА-ПОЭЗИЯ** в современном литературном процессе — наиболее сложное, радикальное по новациям направление — лишена как деструкции, так и очевидных для восприятия аллюзий с Я-ПОЭЗИЕЙ. По этим причинам вхождение читателя-слушателя в образно-тематический строй стихотворений, созданных в рамках эстетики **ФОРМА-**

ПОЭЗИИ, без «посторонней» помощи литературоведа, критика или самого автора становится очень непростым.

Читателям-слушателям следует также помнить, что в современной поэзии вполне могут встречаться «микстовые» фигуры — творчество поэта совмещает в себе признаки нескольких направлений (чаще всего Я-ПОЭЗИЯ сочетается с КОНТЕКСТ-ПОЭЗИЕЙ или ФОРМА-ПОЭЗИЕЙ; КОНТЕКСТ-ПОЭЗИЯ и ФОРМА-ПОЭЗИЯ — диаметрально противоположные эстетические векторы — несовместимы). Может также происходить незаметная для самого автора постепенная переориентация творческого импульса — из нормативов одного направления на нормативы другого.

Кроме этого, в каждом из направлений может быть сколь угодно индивидуальных стилистик, если автор является крупной творческой личностью; это в конечном итоге — основной фактор состоятельности судьбы художника-поэта.

Напряженность, царящая сейчас в литературном обиходе, порождается тем, что одновременно существуют — поверх текстов, взаимоотношений между людьми, к литературе причастных, поверх происходящих в литературной жизни мероприятий — *две концепции действий в культуре — поведения, поступков, целей, механизмов включения в различные события и процессы.*

Традиционно событие в литературной жизни мыслилось как «творческий отчет» автора или перед корпоративной структурой, или перед своими читателями. Цель такого «отчета» — внедрение в профессиональное сообщество, а затем в культуру новых артефактов (об их реальной художественной значимости я не говорю). Начиная же с 90-х годов в нашей стране все активнее заявляет о себе иная концепция художественного события как *бизнес-ритуала*, не имеющая по большому счету отношения к собственно артефакту и творческой способности литератора (художника, музыканта) вообще. Целью бизнес-ритуалов, как считает А. Ульяновский, исследующий этот коммуникативный (а не художественный!) феномен, является организация — *формирование социальной структуры нового типа*. Ее роль в гуманитарной сфере — порождение мифов, новых ценностных стандартов, культурных кодов и трансформация старых с целью преобразования самой культурной среды, в которой «обитают» носители новой концепции. На столь популярных сейчас бесконечных презентациях, пресс-конференциях, книжных ярмарках, «круглых столах», праздниках в честь именно корпоративного события и т. п. происходит «нечто» не ради литературных «вещей» или творческой личности, а с целью построения новой социальной структуры, использующей психологические механизмы «участия и удовлетворения». Вовлеченных в бизнес-ритуалы организаторы попросту используют, чтобы добиться осуществления определенной, желанной для них социальной программы.

Уже почти в деталях разработаны принципы проектирования (вот откуда берет свое начало слово «проект», чуждое гуманитарной среде) бизнес-ритуалов, их структура и сугубо технические принципы, приемы реализации-постановки, известны средства воздействия и целеполагание, стадии бизнес-ритуалов, культовая риторика и прочее. Все это на уровне социального инстинкта и именно новых социальных потребностей искалось в практике наугад, почти вслепую и теперь существует в виде конструируемых с традиционными представлениями о существе литературы и ее роли в обществе. Пока нормальные литераторы, наивно полагавшие, что существо их профессии заключается в продуцировании текстов, в течение последних десяти — двенадцати лет чесали в затылке и думали, что это за странные тусовочные стада носятся из одной литературной «точки» в другую, хотя в них крайне редко происходило что-либо «художественное», незаметно делалось «социальное дело».

Какую концепцию литературного события предпочесть: бизнес-ритуала или художественного феномена? Это — кому как нужно... Правда, я что-то не слышала, чтобы организаторы бизнес-ритуалов в различных сферах современной культуры трубили о целях своего социального строительства на всех перекрестках. Чаще всего подобные мероприятия называются по-прежнему: «выставка», «чтение», «фестиваль», «шоу», а их устроители — как во все века — желают именоваться авторами-художниками. Мне кажется, точки над «i» расставить может не чье-то частное возмущенное суждение или оценка, а открытая дискуссия в среде литераторов. При этом:

*1) литературному сообществу необходимо знать, быть информированным о том, что существуют две тенденции в литературной практике, а также кто из коллег какую представляет;*

2) *литературному сообществу также необходимо знать, что в данной конкретной ситуации, событии, имеющем отношение к литературе, является преваляющим — момент социального строительства и социального самоутверждения некоторых персон или сугубо художественные факторы.*

Если бы знать... Вот, оказывается, в чем дело. А дальше — как полагается в цивилизованном обществе — свободный выбор.

Раньше были перья, потом печатные машинки, теперь — «персоналки». В связи с последним «орудием творческого производства» рискну напомнить коллегам: занятие литературой — нынче очень вредное для человека дело. Причем в прямом смысле слова.

SIC! По санитарно-гигиеническим нормам сидеть за компьютером можно в течение рабочего дня не более четырех часов. Если же сфера деятельности сотрудника профессионально связана с ПК, то ему доплачивают (и даже сейчас!) за вредность.

У поэта авторский вечер. Кто в зале слушает, как поэт читает свои стихи?

В зависимости от обстоятельств ответ на этот вопрос будет различным. Один и тот же человек, глядящий на виновника события литературной жизни, может квалифицироваться по-разному.

Если на вечер пришли — посторонние или знакомые автора, не важно — специально, чтобы с удовольствием послушать звучащее поэтическое слово, понимающие (или готовые понять) и принимающие стилистику данного поэта в равной мере, как и иных поэтов, — это *слушатели*. Знатоки и тонкие ценители искусства слова. Выступать перед ними — дело благодарное, но и ответственное: слушатель в состоянии сравнивать разных поэтов, а потому способен выносить суждения.

Если присутствующие в зале пришли послушать конкретного автора, творчество которого вызывает живейший интерес, — это *аудитория* данного поэта, своего рода команда «фэнов». Она априорно с восторгом примет все, что «натворит» ее любимец.

Наличие *широкой аудитории слушателей*, способной воспринимать разное, свидетельствует о расцвете поэзии. Так должно быть в идеале.

Если в зале только люди, профессионально связанные с литературой и обладающие гибким восприятием, широким эстетическим диапазоном, — это *узкая аудитория слушателей*. Ее появление симптоматично в ситуации, когда интерес к словесности в обществе угасает.

Если узкая профессиональная аудитория формируется на основании социально-идеологических программ и целей, а эстетические пристрастия оказываются только следствием, — это *тусовка*. Появление феномена литературной тусовки свидетельствует, как мне кажется, о появлении эзотерических тенденций в литературной практике. А там и до «бархатных» революций недалеко, после которых можно будет только горестно и беспомощно разводить руками.

Все отмеченные мною типы потребителей поэзии в ее аудиальном выражении точно так же «ведут себя» по отношению к текстам, являясь одновременно заинтересованными читателями. Чтобы не было на выступлении неприятностей (срывов, непонимания и, как следствие, скуки, неадекватного восприятия текста и поведения присутствующих и т. д.), которые могут самым скверным образом отразиться на творческом реноме, *поэт должен знать, перед кем он выступает*, учитывая это обстоятельство при подготовке к вечеру и в непосредственной работе с залом.

Но когда в зале волнуется море голов, уровень литературной подготовленности аудитории непредсказуем в принципе, цели пришедших самые разнообразные — это *публика*. Здесь поэт ступает на территорию столь презируемого серьезными литераторами шоу-бизнеса.

В чужой монастырь, как известно, со своими законами не ходят. Потому категория «публики», с которой иногда по воле непредсказуемых обстоятельств может столкнуться поэт, заслуживает отдельного пассажа.

Любой, кто связан с литературным процессом — автор ли, критик ли, вообще каждый, кто рискует высказать о нем свое суждение, — должен владеть элементарными правилами приличия в разговорах на эту тему: иногда они становятся невыносимо жестокими.

Правило первое. *Никогда не гильотинировать автора — состояние его творческой способности и активности на данный момент,— приводя в исполнение приговор словом «истисался».*

Сложнейший психофизиологический механизм, именуемый «творческой способностью», в своем существовании закономерно переживает периоды повышенной активности и ее спада. В норме, возникнув в постпубертатном периоде, он, за редчайшими исключениями, с возрастом становится слабее и угасает. Повторяю, это — естественно, а потому пожалейте авторов, которым в подобном положении и без того худо. Кроме того, если литератор работает плотно, интенсивно, т. е. пишет много,— у него закономерно не все произведения будут творческими удачами, о шедеврах что и говорить.

Иное дело, что романтическая традиция, атавизмы которой влияют сегодня на самосознание всех причастных к литературному процессу самым чудовищным образом, окружила способность к творчеству мистическим ореолом. В результате в массовом сознании сложилось представление, согласно которому хорошая творческая форма автора представляет собою своеобразный раж. И если он из него на время выпадает, то ему нужны своего рода стимуляторы, также «ражеобразного» свойства: избыток сексуальных впечатлений, силовые «мужские» забавы — приключения и подвиги (карабканье на горные вершины, алкоголь в больших дозах, барахтанье в омутах и стремнинах, гонки на автомобилях, охота на львов с козлами, а то и вовсе наркотики для «расширения» возможностей сознания). Понятно, что это миф. И он не имеет реального отношения к сложностям, сопровождающим созидательный процесс в литературе. Тем более что после временного перерыва творческая способность может восстанавливаться.

Поэтому даже мягкая формулировка «он уже свое написал» — жестока и свидетельствует о скверности нравов, по традиции царящих в среде литераторов.

Мне кажется, что больше соответствовали бы проблеме утилитарно-прагматические по смыслу слова: это «дееспособный» автор. Или же: в данный момент он «недееспособен».

Что такое современная художественная литература на рубеже тысячелетий, как я уже призналась, не знаю.

Происходящее вокруг прямо-таки насилует меня, понуждая заявить: никому не дано знать, что нынче можно именовать поэзией. Но здесь камнем лягу — это моя территория, а потому у нее закономерно должны быть границы. «Для себя» я отчетливо *знаю*, хотя другим могу высказать это лишь в форме *субъективного представления*, где и в связи с чем начинаются веси «непоэтического». Переступил черту — и дерзай, твори, пиши, делай, что твоей душечке угодно! Только не «хоти» при этом именоваться поэтом.

Может, другие знают ответы на эти вопросы, насущные не только для любого практика, но — что главное! — для любого читателя?

Ответ у меня и для меня появился еще в том невиннейшем возрасте, когда можно было стоя читать под столом. И он таков: художественная литература — это то, что я люблю читать. При этом мне очень хорошо во время чтения, а еще лучше — после того.

Ясно, что у каждого человека есть «своя» художественная литература.

Не дает покоя вопрос: если литераторы действительно так стремились в годы застоя к свободе творчества, то, наконец-то обретя эту вожденную свободу, почему в литературной практике не изменился стереотип отношений между авторами? Почему плотину цензурных запретов окончательно не смыл поток литературных шедевров, прорвавшихся наконец-то к читателю? Где имена, которые политический диктат загнал в андеграунд, и эти гении конца тысячелетия в безывестности там прозябали? Ведь по логике здравого смысла, коль отсутствует внешнее идеологическое давление, то на первый план должны выйти сугубо художественные факторы ранжирования между авторами — по результату, по состоятельности, оригинальности и яркости произведений.

Ничего подобного!

Когда в первой половине 90-х годов я, будучи «человеком со стороны», начала входить в этот чужой для меня мир, пришлось открывать новые, до той поры неизвестные мне формы взаимоотношений в творческой среде. Мне сразу рассказали, как было в литературе «раньше» — до перестройки: идеологическая конфронтация.

Что ж, это понятно. А «теперь» из-за чего возникает в литературной практике противостояние? И очевидно: дело не во внешнем социально-политическом давлении. Не скажу, что оно (или его функциональные эквиваленты) отсутствует, но природа новой идеологической диктатуры нынче такова, что ни один из известных мне отечественных литераторов на нее еще не отреагировал. Тогда каковы же причины всех этих «подводных течений», которые, не являясь политическими или художественными, тем не менее провоцируют авторов на конфликты, иногда на крайне жесткие выяснения отношений между собой в наше — и без того смутное — время?

Когда я для себя нашла ответ, то поразились — иначе не сказать — фарисейству, присущему литературной среде. Такого нет в профессиональных сообществах музыкантов и кинематографистов, с которыми я была раньше связана. К сожалению, начав писать, я тоже теперь вынуждена включиться в эти взаимоотношения. Но, будучи автором иного творческого поколения и при этом человеком немолодым, рискну изложить свою версию причин, толкающих литераторов на сомнительные поступки и не менее сомнительные высказывания.

Недавно освобождала книжные полки от папок с разным бумажным хламом. Обнаружила несколько старых газет. В одном из номеров «Гуманитарного фонда» (№ 47 от 21.12.1991 г.) опубликованы материалы о съезде Союза российских писателей, в том числе текст «Дедовщина левых» — выступление Марии Арбатовой, известной нынче в России не столько как драматург и прозаик, сколько как телезвезда «Маша-феминистка» из передачи Юлии Меншиковой «Я сама». Лейтмотивом г-жи Арбатовой в выступлении семилетней давности является местоимение «мы»: «Пренебрежение следующим поколением — это пренебрежение будущим. Мы пришли, мы уже есть, за нами идут новые». Чего же хотят эти самые «мы», клеймящие позором либералов-шестидесятников?

Практически всегда очень сложно ответить на любой конкретный вопрос по отношению к письменно зафиксированному публичному «устному» высказыванию.

Г-жа Арбатова в своем выступлении, естественно, стремилась «объяснить» аудитории причины негативного отношения к либералам-шестидесятникам некоего нового «мы»-поколения. При этом закономерно включались мотивационные аспекты высказывания, т. е. комплекс внешних потребностей, обуревающих «держателя» речи, в единстве с клубком осознаваемых и неосознаваемых внутренних — присущих докладчику и тем, кого он представляет, — желаний, намерений, побуждений, целей и т. п. Но в речевом жанре инвективы все это, инверсируясь, приписывается тем, кого гневно бичуют. Когда в анализе подобных текстов выделешь подобные «объяснительные» фрагменты, то лишь тогда устанавливается... *не содержание, а цель, ради которой речь произносилась*. Целеполагание же в дискурсах обычно впрямую формирует их смысл.

В начале 90-х я еще не владела этой методикой анализа и потому — в прямом смысле слова — не умела читать подобные тексты, понимая их реальное содержание. А сейчас, обнаружив эту газетку среди бумаг и прочитав материалы о съезде Союза российских писателей, поразились, *насколько внутренние закономерности литературной практики в текущем десятилетии не связаны с собственно литературным делом — вовсе не им они порождаются!* Главное — как на самом деле правильно сказала г-жа Арбатова, — это «собесовский принцип», или, говоря более современным штилем, «распределение культурных поощрений». Поэтому конфликтность во взаимоотношениях литераторов не является следствием введения в литературный обиход художественно несостоятельных текстов, противостояния эстетик, даже болезненного осознания того, что рядом живет очень талантливый поэт или прозаик, а ты — ну «не тянешь» и т. п.

Творческий процесс в словесности в сравнении с иными видами искусств протекает в одиночестве, и он — как бы это сказать — незатратный по материальным ресурсам в отличие, например, от кино.

Все, кроме писателей, умеют говорить о материальных потребностях открыто, потому что неразрывно связаны с самим делом созидания артефакта. А в литературе до сих пор по большому счету можно обойтись «манжетами» и огрызком карандаша, если не хочется тратиться на перья либо картриджи. Нет стола, так и на коленях бумажку пристроить можно...

Но письмо по творческим, интеллектуальным и психологическим затратам ни в чем кинорежиссуре или труду скульптора не уступает. И литератору точно так же, как и прочим людям, нужно на что-то жить. А если учитывать до сих пор не изжитое деление на «высокую» и «коммерческую» литературу, ясно: проблемы возникают

только у высокомерных и амбициозных служителей муз. Эта категория авторов не в состоянии зарабатывать письмом для поддержания своего брэнного тела, тел чад и домочадцев, в особенности сейчас, когда за опусы сомнительного для читателя (тем более издателя) свойства никто платить не будет. При этом деньги им нужны исключительно для собственных нужд — вот в чем корень подозрительных по двусмысленности разговоров об «известности», о «славе», «громких именах», об «актуальной литературе», «мейнстриме» и т. п. Несмотря на не благоприятствующие словесности в целом условия, литераторы, претендующие на место в пантеоне «великих», не желают превращать творчество в хобби, зарабатывая на пропитание чем-то иным, да не всегда и профессия имеется. Когда традиционные творческие союзы перестали выполнять свою «собесовскую» роль, то «мы»-поколение, от имени которого вещала г-жа Арбатова, от них отвернулось. Оно «предпочитает» теперь Пен-клуб, гранты, стипендии, стажировки и т. п., материальные допинги, поступающие из зарубежных фондов и институций, или же в родном Отечестве сражается за новоучрежденные премии.

Похоже, сегодня только очень ленивый или по-настоящему талантливый автор не стремится любой ценой собрать с нивы культуры как можно больший урожай... Вот и начинается в литературной практике бескровная, но от этого не менее жестокая борьба за выживание — в прямом смысле слова ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР. В нем, как в дикой природе, побеждает сильнейший, у кого «живучесть» обеспечивается или адаптивными механизмами, или, как в мире хищников, зубами, когтями, ядом.

«Сила» в литературной практике, как оказывается, заключается вовсе не в творческой способности. Тут иные «таланты» нужны: умение, как в старые добрые времена, подстроиться к социальным структурам, распределяющим финансовые ресурсы. А от того, что эти структуры сейчас не похожи на свои аналоги из большевистского прошлого, не меняется ровным счетом ничего.



Ольга СЛАВНИКОВА

---

## Король, дама, валет

КНИЖНАЯ СЕРИЯ КАК ЗЕРКАЛО КНИЖНОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ

Элитарные книжные серии, дамские книжные серии, серии юмора, современного маркетинга, детектива и триллера, гадания на кофейной гуще... То здесь, то там мелькнет на знакомо оформленной обложке незнакомая фамилия молодого автора. Ему выходить вне серии — верный гроб: то, что получится, никто не будет считать за книгу. Зато в коллективе он не пропадет: дорога к читателю для него протоптана. Каждую неделю на прилавки выбрасываются новинки: идет большая игра на деньги, для издателя и торговца важно как можно быстрее сбросить карты. Перед читателем, оставшимся с полными руками книжных наименований, встает вопрос: дурак он или не дурак?

Книжные серии изобретены не вчера и не позавчера. Не вдаваясь глубоко в историю вопроса, напомним лишь, как уважал серийность и многотомность измученный рублем советский покупатель. Наличие на полке обоймы однотипных корешков само по себе свидетельствовало о его социальном статусе, то есть о многообразном доступе к дефициту. Собирали все, что можно было собирать, даже «Пламенных революционеров», — не говоря уже о «Современном зарубежном детективе» (включавшем такую пресную экзотику, как «Современный кенийский детектив», «Современный кубинский детектив», «Современный польский детектив», чей уровень соответствовал качеству поступающих из данных регионов товаров народного потребления).

В памяти у старых книжников еще сохранились тонкости конвертации одной серии в другую, напрямую и через посредство несерийных изданий, определявшие, в частности, отношения высокой и массовой литературы как грубого продукта и финансового инструмента. Помню свою наивную радость, когда мне удалось заполучить бумажного Стейнбека в обмен на детектив свердловского писателя Сергея Бетева. Художественный вес приобретения был настолько несопоставим с легковесностью милицейского романа, что я мысленно определила своего контрагента как идиота. Но тот идиотом не был отнюдь: за Бетева он получил два выпуска «Мастеров современной прозы», которые собирал. То есть уже в советские времена можно было догадаться, что высокохудожественная книга является самой примитивной и низовой единицей книгооборота. Литература, будучи в таком издании первична и самодостаточна, представляет собой с точки зрения книжного рынка натуральное хозяйство. Книги более «словные» (имеется в виду не творческий метод, но условность самой принадлежности текста к литературе) естественным образом поддаются пристегиванию внешних смыслов, в том числе могут выполнять роль суррогатных денег. Правда, следует признать, что достопамятный совок все-таки сообщал дополнительную внеэстетическую ценность качественной литературе полузапрещенных авторов и даже создал верткий рынок самиздата с немалым «черным» оборотом средств. Там, как мне помнится, тоже существовали в зачаточном виде псевдосерии, путавшие себя с периодикой и отчасти восходившие к издательской деятельности русского зарубежья, отчасти выражавшие амбиции самих подпольщиков. С другой же стороны, легальная книжная серия могла работать как

«крыша». Так, в серии «ЖЗЛ» многочисленные идеологически устойчивые выпуски давали «крышу» роману Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера», выдержавшему в рамках серии два издания, в 1962-м и в 1980 году; серия «Библиотека поэта» стала «крышей» для томика Мандельштама, иметь который было делом чести для любого советского инженера, не говоря уже о более продвинутых завмагах и профессорах.

Можно сказать еще о двух функциях книжных серий, актуальных при советской власти, а ныне претерпевших метаморфозы. Серия, особенно подписная, служила средством тезаврации, то есть вкладывания и накопления денежных средств. Интеллигенция помнит знаменитую «БВЛ», в просторечии «Всемирку», построенную на идее объять необъятное в пределах гуманитарного университетского курса. Государственная букинистическая стоимость этого собрания равнялась двум с половиной тысячам рублей, на черном рынке следовало просить четыре или менять на подержанные «Жигули». Поскольку граждане, выезжавшие на постоянное жительство за рубеж, не продавали тогда государственных квартир, то наилучшим источником «подъемных» служили библиотеки с ядром из «Всемирки» — в чем заключалась, если подумать, злая ирония судьбы. Получая весь мир как пространство для жизни, человек отдавал за это милый его литературоцентричному сознанию образ мира; он оставлял в СССР свой настоящий «Рим» или «Париж» и поселялся в городах, отчасти застроенных грубыми подобиями вычитанных объектов, но фатально упрощавшихся под воздействием бытовых проблем эмигранта: если там и были какие-то всемирные серии, то это были «Макдональдс» и «Хилтон».

Другая функция книжной серии при советской власти заключалась в коллективизации писательского труда. Справедливо опасаясь, что писатель по самому характеру своей индивидуальной трудовой деятельности есть буржуазный элемент, советская власть всегда искала способы организовать писательский завод или колхоз. Отчасти проблему решал СП СССР, тому же служил единый для всех метод социалистического реализма: как справедливо писал в «Итогах» Сергей Гандлевский, метод на колхозный манер обобществлял средства производства и не позволял человеку искусства проживать как полностью частнику. Книжная серия, вроде уже упомянутой «ЖЗЛ», совершенно в горьковских традициях ставила перед писателями общую задачу и превращалась во всесоюзную стройку: каждый вкладывал в монументальное здание собственный «кирпич». Тут надо отметить одну пикантную тонкость: наряду с нуждой в больших мастерах советской литературы (у которых талант случайно совпадал с пребыванием на секретарских должностях, причем советская власть очень любила такие *соцреалистические* совпадения) режим нуждался и кое в чем противоположном: в механизмах уравниловки, позволявших сделать писательство безопасно массовой профессией. В этом смысле книжная серия (создававшаяся не по принципу «мастеров», но по благовидному тематическому признаку) была механизмом идеальным: именно здесь настоящие писатели и крепкие конъюнктуристики чувствовали, что нужны друг другу. Даже серия «Пламенные революционеры» располагала периферией, куда под шумок можно было натащить литературы (эпохи до исторического материализма предоставляли авторам некоторую свободу творчества); при этом кто-то должен был исполнять обязательную программу (см. пункт «крыша»). В результате типичная советская серия, нередко включавшая и кое-кого из зарубежных прогрессивных мастеров, напоминала булку с изюмом. Когда настали новые времена и скомпрометированных «Пламенных революционеров» вкупе с «ЖЗЛ» потащили к букинистам, умные люди «наковыряли триста граммов»: за копейки приобрели Юрия Тынянова, Виктора Шкловского, Игоря Можейко (он же Кир Булычев), а также переводных Жоржи Амаду и Андре Моруа.

Прежде, чем будет лучше, будет хуже. Этот универсальный принцип полностью продемонстрировал себя в годы Великой Книжной Революции, когда частные книгоиздатели, робко начав с выпуска сереньких листовок под названием «Дачные каминьки» или «Секреты вашей красоты», добрались затем до промышленных источников бумаги (ЦБК) и почувствовали себя хозяевами мировой литературы.

В начале девяностых книжные серии возникали еженедельно. У нас с мужем, писателем Виктором Мясниковым, была небольшая книготорговая фирма, впослед-

ствии прогоревшая. Но первое радиоактивное лето отечественного книгоиздания, когда на свет рождались страховидные однодневки и невероятные мутанты, когда новообразованный рынок кишел прежде не виданной живностью, мы смогли пронаблюдать. Лето длилось примерно четыре года; сбывались мечты советского книголюбца, но сбывались словно бы не наяву, а в кошмарном сне. Самые любимые серии советских времен хлынули к широкому покупателю, но это были не совсем они, а их мутировавшее ущербное потомство. Серии стали плодовиты, будто мушки-дрозофилы: они выбрасывались на рынок целыми поколениями, и поколения сменялись с такой невероятной скоростью, что на этом благодарном материале можно было изучать книжную генетику, все более склонную к искажению наследственных признаков.

Принцип книгоиздателей был такой: если все желают это иметь, значит, все могут это производить. Знаменитую «рамку» — приключенческую серию издательства «Детская литература» — лепили все, кому не лень. Попадались совершенно жуткие экземпляры в сапожно-черных переплетах, на которых фирменная каемка была залита не позолотой, но какой-то казенной побелкой: подобной книгой, раскрывавшейся со страшным скрежетом, как целая несмазанная дверь, можно было пугать непослушных детей.

Первоначально книжный рынок был построен на сверхэксплуатации советского наследия: не только, как сейчас говорят, «раскрученных брэндов», но и выработанных десятилетиями покупательских рефлексов. Серия как таковая поощряла не столько коллекционерский азарт (несмотря на то что слово «коллекция» мелькало в названиях серий едва ли не чаще других, собирание уродов для потомства было все-таки занятием сомнительным), сколько накопительские устремления граждан. Инфляционные деньги, тающие в руках, люди вкладывали в книги. Каждый следующий выпуск МОДов («Мастера остросюжетного детектива») или «Бестселлеров Голливуда» (была такая вполне кретинская серия киноманов, включавшая до кучи и переложения популярных французских фильмов) стоил дороже предыдущего. Пока та или иная серия активно шла по рынку, предыдущие выпуски, припасенные гражданами на черный день, дорожали тоже; если кто-то выносил на продажу уже прошедшую часть серийного «состава» (при условии, что весь поезд еще не ушел), совокупно это собрание могло принести барыш. Так играли на сериях мелкие книжные жучки, и это был достаточный для жизни бизнес, но очень жалко было бабушек с матерчатыми кошелками, что каждый месяц отрывали от пенсии на книжки, которые, как они твердо помнили из опыта всей своей нелегкой жизни, в любую минуту можно продать. До сих пор остатки тех, узнаваемых глазом, вложений всплывают на деревянных дворовых базарчиках, где лежат на газетках рядом с мутными домашними соленьями, узловатым старушечьим рукодельем, гроздьями собранных на нитку потертых пуговиц, нитками «мулине». Иногда, поддавшись наплыву ностальгии и отчасти вины, я покупаю у бабушек какой-нибудь коричневый и жесткий, вроде боковины спичечного коробка, выпуск «Америка + Англия»: детективчик, пропитавшийся за годы хранения сладковатым богомольным запахом, еле разлепляет заспанные страницы.

Вряд ли в книжных «проектах» эпохи дикого рынка можно было отыскать какую-то издательскую идею, вообще малейшую мысль о литературном процессе: иные предприниматели даже не особенно разбирались в жанрах и называли детективами любые тексты, где имелись выстрел и труп. Иногда псевдосерия возникала из-за сходного оформления совершенно разноприродных вещей: популярный в то время художник Борис Вальехо, чья эстетика совпала с мечтательностью российских граждан, представлявшей собой не художественное кино, а фэнтезийный мультфильм, вообще чуть не привел всю издаваемую продукцию к общему знаменателю. Часто серийность была в буквальном смысле слова товарной упаковкой: перекошенный том в слепых, как пластырь, инвалидных корках, который по внешнему виду можно было принять за складскую учетную книгу, а по содержанию за горячечный бред переводчика, аккуратно оборачивался глянцевым супером, на котором было все честь по чести: название, автор, хорошенькая картинка. Опытный реализатор знал, как при оборачивании так сориентировать супер, чтобы зрительно скомпенсировать перекошенный контент. Из ныне живущих книжных серий эту оберточную эстетику унаследовала, пожалуй, только «Черная кошка», чьи выпуски без суперов выглядят так, будто лежали у дверей в качестве ковриков для вытирания ног.

Серийность имитировалась даже там, где ее не было и быть не могло. Причина заключалась в том, что книжная серия, не будучи обеспечена никакими творческими концепциями, работала как экономический механизм. В рыночной игре серийность стала как карточная масть: один выпуск не шел, два начинали шевелиться, при наличии на руках у торговца трех выпусков, особенно если масть была козырная, начиналась хорошая игра. Иногда торговец удивлялся, отчего это одинокий боевичок «Первая кровь, литр четвертый» вдруг расхватывался пачками, — а это сосед по оптовке *вмастил*, выкатив на прилавок «Литр второй», «Литр третий» и «Литр пятый». Но главное — книжная серия отражала негоризонтальный характер инфляционной экономики. Инфляция заставляла граждан безостановочно бежать вверх по лестнице, ведущей вниз, а книжная серия как раз и была такой лестницей, обеспечивавшей некоторую связность процесса. Каждый следующий выпуск был логически понятной ступенькой повышения цены, которая тут же начинала уходить у торговца из-под ног, но на эскалаторе уже подплывала следующая ступень, и непонятно было, где тот окончательный порожек, переступив который, все окажутся на твердой почве, и будет ли он вообще. Особенность инфляционной физкультуры заключалась в том, что книжная серия могла работать только в режиме реального времени: все подписные собрания (а среди них как раз и были первые постсоветские концептуальные проекты) не только не состоялись сами, но и надолго отбили у подписчиков охоту за что-либо платить вперед.

Думаю, что первый книжный бум, при всех своих неповторимых забавностях и травматических сюжетах, выпестовал основные тенденции сегодняшнего дня. Именно тогда в голове у потребителя впервые появилось понятие, что он может выбрать между этим и тем: выбор, однако же, сам по себе был неким лабиринтом, где читатель уподобился крысе, над которой производят опыт. Я вовсе не хочу сказать, что тогдашняя книжная политика являлась чьим-то умыслом, воплощенным в жизнь. Тем не менее книжные серии, образуя коридоры лабиринта, показали и утвердили, что теперь человек будет читать не то, что он захочет сам, а то, за что рублем проголосует большинство. Хотя непростое время триумфа Анжелики совпало со временем так называемой возвращенной литературы, книжный выход качественных текстов каждый раз был отдельным случаем, обусловленным сугубо индивидуальными причинами. Понятно, что и эти немногие книги, за некоторыми конъюнктурными исключениями, не были продукцией текущего литературного процесса. Действующие писатели получили как возможность, так и необходимость издаваться за собственный счет: образовалась своего рода антисерия, и для нее журнал «Октябрь», который вы держите в руках, нашел хорошее название — «Русское поле». Понятно, что «Русское поле» в экзистенциальном смысле бесконечно.

Перелом в характере и наполнении книжных серий произошел тогда, когда российский читатель наконец наелся импорта и захотел читать про своих, отечественных бандитов, политиков, авантюристов и ментов. При том, что массовая литература, казалось бы, по всем параметрам враждебна литературе элитарной, именно маловысокохудожественные боевики подготовили ситуацию, когда стало уже возможно запускать большие серии современной российской прозы. Произошла очень важная перемена: люди почувствовали потребность не уносить мыслями куда-нибудь подальше, а читать про свою родную действительность, то есть в некотором смысле про самих себя. Отсюда до обращения к серьезным текстам, изучающим подводную часть корабля современности и направляющим взгляд читателя в глубины собственного «я», всего один широкий шаг, который, конечно, сделали не все, но тут принципиальная возможность была значительнее, чем ее реализация. Собственно говоря, возможность как таковая меняла все. Темная, сырая, непроявленная натура стала потихоньку описываться и приобретать внутреннюю связность, то есть становиться контекстом. Возникло некое общее, разлитое в воздухе ощущение актуальности: то и дело на свету оказывались персоны и события настолько провокативные, что культурное сознание просто должно было как-то их отображать и понимать. Соответственно издаваться стало то, что пишется: книжные серии, по определению подбирающие подобное к подобному, начали выделять в литературном процессе характерные явления, а в отдельных случаях эти явления создавать.

Переходя к современному состоянию дел, я сознательно не затрагиваю книжные серии, выпускающие классику, как переводную, так и отечественную: в интеллектуальном отношении это всего лишь рекомендательные списки, а в плане прак-

тическом — пополнение запасов основных продуктов. Гораздо интереснее те серийные цепочки, в которых, как в цепочках ДНК, заложена информация о неоднородном теле современной российской литературы. Эти серии я бы условно разделила на три больших разряда. Первый, наиболее распространенный, представляет собой современный вариант советской «булки с изюмом».

Типичная «булка» — уже упоминавшаяся выше «Черная кошка», серия детективов и триллеров московского издательства «ЭКСМО-Пресс». Это одна из самых долгоживущих серий на книжном рынке: ей, если не ошибаюсь, лет шесть или семь. Долгоживительство объясняется предельной простотой организующей идеи: в серию идет любой российский продукт, подпадающий под определение детектива и триллера. Спрос рождает предложение, а предложение — спрос; нетребовательность формы определяет разнородность и не слишком высокое качество содержимого. «Черная кошка» едва ли не чемпион рынка по валу: совокупный ее тираж трудно охватить умом. Сегодня эта серия может служить примером антитезаврационной функции: выпуски ее, скопившиеся на средней руки оптовых складах, представляют собой «примороженные» деньги и едва ли не самый глухой неликвид. Таким образом, и торговец, и читатель остаются с полными руками как «шестерок», так и коронованных воров, описанных в романах на общий нехитрый манер.

Тем не менее серия живет и работает, потому что с удивительным напором удовлетворяет рыночный спрос на «новье». Она, если можно сказать, берет количеством, деленным на качество (качество здесь — понятие не художественное, но специальное, относящееся к умению найти цепляющую фактуру и построить острый сюжет). Принцип «булки с изюмом» заключается в том, что в серию «под имена» набивается не слишком интересный наполнитель. Если по части торговли серия представляет собой хозяйство капиталистическое, то в смысле творческом там имеет место полный социализм: успехи лидеров делятся на всех. Читателю будто говорят: ты получил удовольствие от Даниила Корецкого и Полины Дашковой — так вот, Олег Приходько и Леонид Володавец по сути то же самое. Среди психологических мотивов, побуждающих читателя к покупке, эта иллюзия подобия, безусловно, преобладает над стремлением к собирательству и тем более к коллекционированию. Я думаю, что год-полтора назад издатели боевиков окончательно исчерпали ресурс «красивой книжной полки». Сложилась парадоксальная ситуация: «для полки», то есть на века, выпускалось то, что следует прочесть в метро и выбросить. Сейчас издательства, преодолевая инерцию (а книжная серия необычайно инерционный механизм), делают некоторую ставку на «покот-буки» в мягкой обложке.

Это тем более своевременно, что после дефолта издатели нездорово пристрастились к одноразовым тиражам. Мякиш «булки» сделался не только невкусным, но и сырым: вместо того чтобы работать с автором, рекламировать его, то есть создавать в западном смысле бестселлер, издатели предпочитают покупать за минимальные деньги разношерстные рукописи (иногда содержащие в зародыше очень неслабые сюжетные возможности, а иногда неплохие сами по себе, но абсолютно нераскрученные) и быстро выбрасывать их читателю без всякой перспективы на переиздание. Сегодня выпуски «Черной кошки» и аналогичных серий других издательств — те же мушки-дрозофилы: их ускоренное размножение дает возможность наблюдать, как мельчают главные герои и атрофируются сюжетные ходы.

Однако серия, будучи сплошным потоком, позволяет издателям с прибылью идти на снижение уровня как текстов, так и пиара. Тем более что всякое крупное издательство имеет несколько серий, устроенных, как сообщающиеся сосуды. У «ЭКСМО-Пресс» это помимо «Черной кошки» — «Русский бестселлер», «Вне закона», «Детектив глазами женщины», «Криминальное танго», «Русские разборки» и кое-что еще. Характерно, что вследствие общей «одноразовой» политики даже основные «имена», гоняемые из серии в серию, как из пустого в порожнее, тоже изрядно линяют и как-то унифицируются. Специализированные серии-спутники представляют собой по сравнению с «Черной кошкой» более сложные оболочки: «Детектив глазами женщины» даже выявил новый тип романной героини, принципиально не нуждающейся в герое и структурно напоминающей елочную игрушку из нержавеющей стали. Сегодня вообще для всех серий, или мастей, характерно положение, когда дамы выкладываются отдельно, короли отдельно (то есть игра идет уже не только в дурака, но и в покер); связано это с тем, что большинство российских читателей — женщины. Но и специализированные серии, также являясь «булками», развиваются в сторону, обратную художественности и даже простой человеческой осмысленности.

Любопытно, что в пределе «булка» воплощает в себе не только принцип «изюма», но и принцип «колхоза», причем с такой полнотой и буквальностью, о какой и мечтать не могла советская власть. Если, скажем, Виктор Доценко, он же Железная Задница, совершенно точно реальный человек и все романы про Бешеного написал собственноручно, то существование в природе писателя Андрея Воронина с его супергероями Комбатом и Слепым весьма сомнительно. Есть подозрения, что тут работает бригада: на эту мысль наталкивают как веселенькая лоскутность весьма кровожадного текста, так и поразительная плодовитость писателя, выбрасывающего на рынок свои романы уже не штучками, а пачками. Собственно, не так уж важно, реален или виртуален тот или иной стахановец пера, существенно другое: триллер, поставленный на поток, в творческом отношении есть произведение коллективное, отвечающее определенным общим стандартам. Роль «изюма» в этой «булке» играет фирменный супермен, приключениями которого читатель заинтересуется потому, что главный герой чем-то его зацепил. Сами приключения, однако, напоминают уже не мякиш, а тесто, в котором вязнут руки бригады хлебопеков.

Другой, более культурный, тип серийности я бы обозначила как «парад планет». В такого рода проектах издатель отвечает перед читателем уже не за поток как таковой, а за качество каждого отдельного выпуска. «Парадные» серии бывают как коммерческие, так и некоммерческие. «Русский проект» издательства «Олма-пресс» — это серия криминальных романов штучного производства. Экономически, насколько я понимаю, издательство берет не количеством выпусков, но высокими тиражами книг. То есть автор «Русского проекта» не обязан выбрасывать на рынок по роману в квартал, но каждое новое произведение становится (и делается при помощи раскрутки) заметным событием, которого данному автору хватает для внятного присутствия в процессе на год-полтора. Это уже нормальная западная технология: серия живет от бестселлера до бестселлера и представляет собой пусть искусственную, но достаточно точно выстроенную линию, на которой располагаются отборные авторы: Сергей Алексеев, Андрей Кивинов, Юлия Латынина, Александр Бушков. Конечно, и в пределах «Русского проекта» происходит снижение уровня, но происходит это тогда, когда автор серии, привязанный к ней как читательскими ожиданиями, так, очевидно, и издательскими договорами, сам теряет качества, которыми первоначально пленил читающую публику. Особенно явный тому пример — красноярец Бушков, сперва написавший хит «Охота на пиранию», а потом взявшийся тиражировать не лучшие качества своего же удачного образца. Тем не менее серия явно продвигает «глянец» в сторону литературы: здесь выходили, например, добротные романы Дмитрия Вересова, которые следует отнести скорее к жанру семейной саги, нежели к навязшему в зубах стандартному триллеру. Одну из новинок серии, роман Андрея Кивинова «Псевдоним для героя», смело сравню с лучшим, на мой взгляд, романом Юрия Полякова «Козленок в молоке». В «Козленке» герой-рассказчик на спор делает из малограмотного работяги, не написавшего в жизни ни одной страницы, модного писателя, а у Кивинова таким фантомом становится вор в законе Гена Бетон, возникший из коллективных усилий (вернее, из убежденного коллективного пофигизма) журналистов и ментов. Все это не только безумно смешно, но и, как это свойственно хорошей литературе, грустно. В романе Кивинова есть сюжетный план, представляющий собой пародийный постмодерн: история не только происходит в реальном времени текста, но и параллельно описывается бойким детективщиком, и «литература», оправдывая один из любимых тезисов постмодернизма, самым убийственным образом влияет на реальность.

По тому же принципу «парада планет» построены сегодня и престижные серии элитарной литературы. Наиболее очевидный пример — серия «Современная российская проза», она же «Черная серия», издательства «Вагриус». Возникновение этого проекта несколько лет назад было фактом революционным: некоммерческая проза не только стала выходить прилично изданными книгами, но и завоевала рынок, добравшись, в частности, до нестоличного Екатеринбурга. Долгое время только «Черную серию» и было видно; аналогичная продукция других издательств оседала в пределах Москвы и Петербурга. Именно четко обозначенная серийность стала тем «движком», что позволила «Вагриусу» провести свою линию через множество провинциальных российских городов. Тут надо отметить, что элитарная литература

имеет специфические механизмы раскрутки, которыми «глянец» не располагает: это авторитетные толстые журналы и громкие премиальные процессы. «Черная серия» во многом опиралась на «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Дружбу народов», «Иностранную литературу» (имеющую ныне собственную серию «Иллюминатор»), а также на премию Букера, повлиявшую на серию не столько своими лауреатами, сколько финальными «шестерками». Ныне серия уже не «черная», но «серая»: сменив классическое «него» обложек на элегантную жемчужность, серия и в новом оформлении осталась прежней как по идеологии, так и по принципу подбора фигурантов. Устоявшиеся авторитеты (Владимир Маканин, Андрей Битов, Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская, Евгений Попов, Галина Щербакова) плюс наиболее успешные «сорокалетние» во главе с Виктором Пелевиным — вот фирменный вагриусовский коктейль. Из новинок назову, отложив их разбор до более удобного случая, «Последний сон разума» Дмитрия Липскерова и «Шампиньон моей жизни» Асара Эппеля.

Примерно так, как «Современная российская проза», ведут себя и другие некоммерческие проекты, например, питерская серия «Мастер» издательства «Лимбус Пресс», питерская же престижная поэтическая серия от «Пушкинского фонда», уже упоминавшийся «Иллюминатор», «Зеркало XX век» Издательства «У-Фактория» из Екатеринбурга. Проекты эти констатирующие: они скорее стимулируют, чем направляют литературный процесс и отбирают «под себя» произведения из тех, что имеются в наличии. Сроки жизни этих серий теоретически такие же, как у толстых журналов (к примеру, «Новому миру» и «Октябрю» по 75 лет), поскольку питают их те же источники.

Третий значимый тип книжной серии — серия концептуальная, выделяющая в литературном процессе некое явление и создающая для явления внятную форму: здесь издатель выходит на игровое поле, где традиционно доминирует литературный критик. Такие проекты тоже бывают коммерческие и некоммерческие. Примером первого может служить серия технотриллеров «Тайное становится явным», примером второго «Женский почерк» — все издательства «Вагриус».

«Тайное становится явным» — это серия романов-расследований с производственным уклоном и акцентированным социальным аспектом. Нимало не скрываемый образец — бестселлеры Артура Хейли. Уже одни названия выпусков серии говорят о направлении главного удара: «Кафедра», «Фирма», «Газета», «Подиум», «Вокзал», «Супермаркет», «Водка», «Экстрасенс»... Поскольку каждый тип предприятия и производственной деятельности имеет в России свой характерный криминал, то производственные отношения сами по себе дают основу для острого сюжета. Автор всякий раз проводит читателя через служебный вход и показывает то, чего не увидишь с улицы. Так, в романе «Газета» две политические группировки ведут борьбу за обладание влиятельным медиа и по ходу дела «заказывают» главного редактора; в романе «Супермаркет» действует шайка юных «мойщиков», то есть магазинных воришек, — и параллельно большие дяди прокачивают через магазин очень интересный «левый» товар. Серия «Тайное становится явным» не только выбирает тексты из имеющегося ассортимента, но целенаправленно их заказывает, то есть создает некий новый участок массовой литературы. Я думаю: а не слабо «Вагриусу» выпустить в заявленном ряду «Аэропорт» и «Отель»? По-моему, это будет дело хорошее: здесь возможна лихая литературная игра, выходящая за пределы ординарного «глянца». Впрочем, и среди существующих выпусков есть такие, что не оскорбят эстета, но квалифицированно его развлекут.

«Женский почерк» можно было бы рассматривать как обычное «дамское» ответвление «Современной российской прозы», если бы не одна примечательная особенность: серия не столько представляет феномен, сколько очерчивает его границы. Необходимость отделить качественную прозу, создаваемую женщинами-писательницами, от розового мыла любовных романов назрела давно. Женщины-читательницы — аудитория благодарная, но не всегда разборчивая, поэтому «мыло» и проза тоже выглядят порой как сообщающиеся сосуды, что теоретически грозит общим снижением уровня письма. Серия «Современная российская проза» уже обозначила ряд имен, чьи произведения в скидках на «дамкость» никак не нуждаются.

«Женский почерк» интересен тем, что здесь важна именно линия, ряд. Каждая писательница представлена в серии только одной книгой. Некоторые (скажем, Марина Палей) практически полностью укладываются собственным творчеством в серийный однотомник. Другие (Людмила Петрушевская, Людмила Улицкая, Галина Щербакова) могли бы без ущерба для качества присутствовать в серии несколькими томами. Тем не менее серия не стремится вместить в себя весь возможный наполнитель. Каждый ее выпуск — это как удостоверение творческой личности, с присущими документу атрибутами: фотография, подпись. Значимо не только то, что входит в серию, но и то, что в нее не входит. Здесь издатели, на мой взгляд, не всегда точны: например, с книгой Наталии Медведевой они, как бы это правильно сказать, погорячились. Зато в серию вошли «Мужской роман. Женский роман» Ольги Новиковой и «Филемон и Бавкида» Ирины Муравьевой: эти имена не столь очевидны для читателя, как Ирина Полянская или Нина Садур, зато обеспечивают полноту картины в ее разнообразии. Собственно, сегодня на руках издателей покерное «каре»: феномен «женской прозы» в сегодняшнем ее состоянии очерчен и «схвачен».

Несколько странным кажется гостевое присутствие в серии зарубежных писательниц. Оставаясь в пределах русской литературы, серия выглядит как актуальная и концептуальная. Но проделать то же самое в мировом масштабе не позволят ни издательские мощности, ни очевидные проблемы с авторскими правами. Впрочем, такое присутствие импорта в традициях «Вагриуса»: «Черная серия» тоже, помнится, сопровождалась серо-синими книжками качественных переводов.

Концептуальная серия, в отличие от «парадной» и тем более от «булки с изюмом», не безразмерна. Как видно из примеров, такая серия обладает качеством серьезного литературного произведения: она завершена сама в себе и на конкретном отрезке развития не приемлет продолжений (правда, продолжать пытались даже Льва Толстого, не говоря уже об «Унесенных ветром», но это, как говорится, отдельная эпопея). Концептуальные серии на книжном рынке в меньшинстве: дефолт произвел на издателей столь неизгладимое впечатление, что они до сих пор боятся затевать необычные проекты и больше всего хотят издавать такие книги и серии, которые вчера и позавчера продавались хорошо. Пока российские издатели только пятятся в будущее и парадоксальным образом рекламируют именно те издания, которые уже принесли достаточно прибыли для вложения в рекламу. Когда же издатели будут готовы отказаться от принципа «Днем деньги — вечером стулья», они получат шанс не хуже журналов влиять через концептуальные серии на литературный процесс.

Когда-то приложения к журналу «Нива» рассылались подписчикам в виде тетрадок, и подписчики сами решали, заказать ли им за отдельную плату обложки от издателя или отнести тетрадки, чтобы сделать все по собственному вкусу, в ближайшую переплетную мастерскую. Видимо, что-то сильно изменилось в читательском менталитете: сегодня мы без книжных серий просто как без рук...



Владимир БЕРЕЗИН

---

## Ажиотажная история

Calominez, calominez, il en restera toujours  
quelque chose...\*

Россия — страна с непредсказуемой историей. Эта фраза была очень популярной в конце восьмидесятых. Со временем, как и всякое бон-мо, повторенное много раз, блеск эта фраза поутратила. Но тем не менее территория бывшего СССР состоит из огромного числа исторических пространств. И их количество со временем только множится.

Причем все новые суждения об истории отличает невероятная серьезность — от иронии, которой исполнена шутка, приведенная выше, не осталось и следа.

Как-бы-историков, работающих в ажиотажном жанре, немало. Каждый из них специализируется на какой-то отдельной идее. Виктор Суворов — на идее, что СССР был готов вот-вот поработить Европу, но этому помешал превентивный удар гитлеровской Германии, Эдвард Радзинский — на рассказах о венценосцах, исполняемых им с определенной игрой голосом. Есть и другие. Но куда более любопытное и широкое (в смысле исторических периодов) поле захватывают интересы группы Фоменко-Носовского. Составить свое мнение об авторской кухне Радзинского могут многие — это пересказ старинных сплетен, облеченный в современную драматургическую форму. А вот о творческом методе академика Фоменко и его товарищей может судить гораздо меньшее количество потребителей массовой культуры. И вот почему.

Всех потребителей интересует конечный результат. А ажиотажный историк, в отличие от академического, держит результат наготове, будто кочегар — уголь на лопате. Мгновение — и он вбросит его в топку общественного интереса. Каким образом, как и из какого сырья получено это топливо, наблюдателю неизвестно. Кухня — путь от окаменелости до домашнего тепла — неинтересна потребителю. Логические построения вообще для масс не занимательны.

Между тем группой Фоменко издано немалое количество книжек, в которых обилие математических символов запугивает обывателя, а графики с таблицами деморализуют окончательно.

Тут, как в газетном деле, — спрос на трупы и изнасилования, на расчлененку на Хорошевском шоссе всегда больший, чем на изящно выведенную теорему.

Всяк знает сексуального партнера Моника Левински. Да вот знает ли, кем доказана теорема Ферма? Этого человека знают единицы. А все потому, что одно событие вызывает ажиотаж, а другое нет.

Нетрадиционная наука становится чем-то вроде нетрадиционной медицины. Нетрадиционная (кстати, этот термин неловкий, как раз она-то прокламирует собственную традиционность) уже утвердилась прочно — ее побаиваются, но пользуются.

О нетрадиционных теориях говорят, хотя не доверяют им до конца. История в этом смысле очень удобна, потому что эта дисциплина словно заранее настроена на общественный интерес, хотя, конечно, есть и другие разновидности этого феномена. Есть, например, ажиотажная лингвистика — то, что делает Олжас Сулейменов в книге «Язык письма».

Традиционалисту иногда кажется, что нетрадиционная наука однородна. Он говорит о ней, употребляя слова «шарлатаны» или «реникса». Нетрадиционная наука

---

\* Клевещите, клеvещите, что-нибудь да останется (*франц.*).

сливается для него в какое-то обобщенное чудовище Носовский-Фоменко-Гумилев-Сулейменов... Это чудовище, будто Змей Горыныч, шевелит своими головами, пугая традиционалиста и привлекая необразованных неофитов. Головы чудовища поминутно отрастают, и непонятно, как с ними быть.

В то же время Лев Гумилев говорил о Сулейменове довольно жестко: в статье «Спор с поэтом» он замечал, что Олжас Сулейменов написал книгу «Аз и Я» (Алма-Ата, 1975), чтобы «вместе с раздражением чувств читателя вызвать и раздражение мысли... Читая отклик А. Кузьмина на эту книгу, видишь, что О. Сулейменову удалось выполнить только первую часть задачи. Количество фактических ляпсусов в книге Сулейменова превышает число страниц (304), и, видимо, многие из них сделаны нарочно, чтобы упрекнуть будущего рецензента в том, что он даже таких общедоступных вещей не знает. Кузьмин попался на эту удочку первым».

Сулейменов в своей книге рассказывает такую историю: «Благодаря тюркским материалам мы можем восстановить праформу инкского названия солнца: көп.

...Мне посчастливилось встретиться с Туром Хиердалом\* в 1993 году, в японском городе Киото на учредительной Конференции международного экологического движения Зеленый Крест. Президентом был избран М. Горбачев, членом Попечительского Совета — Тур Хиердал. Я тоже вошел в этот состав. На первом же заседании заготовил вопросник по инкам. Хотя понимал, что Хиердал не лингвист, однако он мог знать нюансы инкского произношения названия солнца. Если звучало оно мягко — көп, тогда его можно сопоставить с kin (майя). Но Тур Хиердал заспешил, улетел в Перу, и вопросы мои остались без ответа».

Так себе и представляешь Сулейменова, бегущего за Туром Хейердалом.

Но вернемся к историкам.

«Критики математической стороны теории мы не встречали», — сообщил по телевизору человек из группы Фоменко, который вел себя с апломбом представителя департамента по общественным связям этой группы.

Критика была — и с точки зрения истории, и с точки зрения астрономии, но как только специалист по общественным связям, находясь внутри телевизора, начинал говорить о доводах астронома Ефимова, бородатый ведущий его обрывал, произнося быстро-быстро:

— Тут мы совсем запутаемся. Давайте о другом.

И парадоксы оставались подвешенными в воздухе.

Есть такой роман братьев Стругацких — «Обитаемый остров». На некоей планете наблюдался не только оптический, но и социальный парадокс. Жители этой планеты, обитаемого острова, считали, что «обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную. Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убежденному коперниканцу понять убежденного последователя Птолемея. Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон века внушала аборигенам, что их земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая — она вогнутая. «Встаньте на морском берегу, — рекомендовали школьные учебники, — и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть Мира». Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфоресцировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения Солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию Мирового Света. Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение десятилетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать, если судить по распространенному проклятию «массаракш», что дословно означало «мир наизнанку»; кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей Мир иначе. Теория эта возникла еще в античные времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века, но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе наконец практическое применение — совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные баллистические снаряды».

\* Так у Сулейменова. — В. Б.

Диалог персонажа фантастического романа с аборигенами чем-то похож на диалог академических ученых с фоменковцами. Телевидение как инструмент масскульта привечает последних, потому что ажиотаж и рейтинг — понятия связанные. И вот телевизионные люди рассуждают о том, что Куликовская битва происходила на территории ЗИЛа, потому что там есть массовое захоронение, и еще о каких-то эффектных выводах. Один мой собеседник сказал в разговоре об этом феномене: «Применение подобных методов к нашему времени может дать, к примеру, такой результат: раз уж Токио и Дрезден были раздолбаны к чертовой матери стратегической авиацией с грандиозными пожарами и жертвами порядка двухсот тысяч человек в обоих случаях, то, следовательно, на самом деле это был один и тот же город! А все, что этой точке зрения не соответствует, — фальсификация истории».

Итак, критика была, и — довольно многочисленная. Была книжечка «История России в мелкой горошек» и другие публикации. Но поскольку общественный спрос на ажиотажную историю спадет только с гибелью массовой культуры, оборонительная позиция академического знания очень похожа на боевой порядок тощего и толстого человечков перед ветряной мельницей. Вот слова Максима Соколова из книги «История и антиистория. Критика новой хронологии академика А. Т. Фоменко»: «Ученые мужи могут издать капитальный труд, показывающий крайнее невежество и недобросовестность Фоменко, чье учение противоречит бесспорнейшим положительным данным разнообразных наук. Это очень хорошо, хотя в смысле пользы это будет что мертвому припарки, ибо Фоменко удовлетворяет потребность трудящихся не в знании, а в метафизическом небытии. Кто бы издал труд, столь же наглядно показывающий, что радоваться собственному небытию несколько противоестественно».

Мне нет смысла говорить о том, как ажиотажного историка ловят за руку, когда говорят, что он выделяет результаты из «белого шума». Ничего особенно страшного в недоопределенных задачах нет. Автор этих строк провел довольно много времени, пытаясь моделировать движение глубинных масс в теле Земли по ее гравитационному полю. Оказалось, что функция источника скрыта «белым шумом» гравитационных неоднородностей. Примерно то же происходит, если слушать шепот подружки на фоне приближающегося поезда метро. Информация в общем шуме есть, да только угадать, сообщает ли подружка о беременности или о дырке на колготках — невозможно. Что-то подобное случается и с наукообразными текстами ажиотажных историков. Так что я уж лучше буду говорить о феномене популярности ажиотажной истории.

Дело в том, что о природе Большого взрыва или о уже упомянутой теореме Ферма обывателю мыслить тяжело. Физические величины, бесконечная череда нулей — все это для него абстракция. Абстракция для него и нули исторические. Обывателю хочется мыслить легко, а легко мыслить удается, только используя внятные понятия газетных парадоксов.

Вот и бьются историки и медики, доказывая, что Ленин не болел сифилисом. Обыватель им не верит. И начинается унылое выяснение: болел — не болел, тягучее, как выяснение отношений в Думе: спал — не спал, ходил в баню или не ходил. И уже недавно ставшее историей — падал в реку с моста или не падал.

Сейчас, к счастью, все образованные люди знают, что инопланетяне существуют, Нострадамус не ошибся в своих предвидениях, а Есенина убили.

Народ доверчив. Достаточно несколько раз повторить что-то, чтобы новость стала общественным мифом. В этом смысле Геббельс был прав. Да и не только Геббельс: фраза «Клеветнице, клеветите, что-нибудь да останется» довольно стара.

Человечество живет этими мифами, и достаточно начать оправдываться или объяснять, то есть «включиться в коммуникацию», чтобы укоренить ее в сознании еще глубже.

Есть такой анекдот:

Пьяный приходит в аптеку и начинает требовать портвейн. Из окошечка объясняют, что это аптека и портвейном они не занимаются. Пьяный отвечает, что все понимает, знает, что не задаром и что вот они, деньги.

Из окошечка возмущенно требуют прекратить.

Пьяный, покопавшись в карманах, добавляет мятый рубль (анекдот старый).

— Побойтесь Бога,— произнесит он, получив еще раз отказ.— Это все мои деньги!

— Нет портвейна, нет! — кричит ошалевшая женщина в окошечке.

Наконец пьяный уходит.

Он возвращается через два часа и видит за стеклом объявление, написанное дрожащей рукой: «Портвейна нет».

— Значит, все-таки был,— говорит он и вздыхает.

Вот образец той психологии, о которой я говорю. Вот образец рождения мифа, и главное в нем — общественная жажда, которая наше все, а общественный имидж — ничто.

Общественность (вот гадкое слово!) очень легко убедить мифом. А миф — это всегда упрощение. Упрощенная реальность на редкость хорошо усваивается. И, удовлетворяя спрос мгновенным предложением, возникает это миропонимание *pret-a-porté* — разжеванное.

Общественный миф должен быть прост и понятен во-первых, мешать правду и выдумку во-вторых, и в третьих — быть парадоксальным.

Простым он должен быть для преодоления образовательного ценза в обратную сторону. Коктейль из домыслов с реальностью нужен для снятия с души обывателя камня. Это камень неуверенности. Потому что обыватель нервничает... Иногда обыватель нервничает из-за необходимости довериться незнакомым людям. Они его и так часто обманывают. И, наконец, парадокс нужен для того, чтобы обыватель отдался незнакомцам не просто так, а восхитившись и отчасти развеселившись. Отдался, махнув рукой на необходимость думать самому. Это явление почти из области психоанализа. Недаром в одной детской энциклопедии в главе про летающие тарелки было написано: «Мистическое истолкование природы НЛО тесно смыкается с психологическим. Согласно последнему, «летающие тарелки» — проявление неких свойств массового сознания. Неизвестно, существуют НЛО в реальности или являются галлюцинациями, но большинство людей с интересом и доверием встречают сообщения о пришельцах.

Та готовность, с которой некоторые люди согласны признать «летающую тарелку» даже в обычной Луне, свидетельствует о том, что они подсознательно хотят встречи с НЛО. Доказательств возможности массового гипноза множество: инквизиция, средневековая всенародная охота на «ведьм», тоталитарные режимы XX в. Знаменитый психолог и психиатр Карл Юнг называл «летающие тарелки» «узорами» беспричинного первобытного страха, обитающего в глубинах подсознания и находящего выход в таинственных видениях».

Хорошо, когда это миропонимание допускает возможность диалога. Юрий Олеша однажды описал свое участие в вечном споре по поводу ажиотажной истории так: «Когда, начитавшись Морозова, я с апломбом заявил критику Дмитрию Мирскому, что древнего мира не было, этот сын князя, изысканно вежливый человек, проживший долгое время в Лондоне, добряк, ударил меня тростью по спине.

— Вы говорите это мне, историку? Вы... вы...

Он поблуднел, черная борода его ушла в рот. Все-таки перетянуть человека тростью тяжело физически, а главное, морально.

— Да, да, Акрополь построили не греки, а крестоносцы! — кричал я. — Они наши мрамор и...

Он зашагал от меня, не слушая, со своей бахромой на штанах и в беспорядочно надетой старой лондонской шляпе.

Мы с ним помирились за бутылкой вина и цыпленком, который так мастерски готовят в шашлычных, выпекая его между двумя раскаленными кирпичами, и он объяснил мне, в чем мое, а значит, и Морозова невежество. Я с ним согласился, что древний мир был, хотя многие прозрения шлиссельбуржца до сих пор мне светят.

Как бы там ни было, но то, что он создал свою систему отрицания древнего мира, гениально. Пусть сама система и невежественна, но сам факт ее создания, повторяю, гениален, если учесть то обстоятельство, что Морозов был посажен в крепость на двадцать пять лет, то есть лишен общения с миром, по существу, навсегда.

Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же! Вашего мира не было!»

Но Фоменко и его группу, слава Богу, никто в тюрьму не сажал — они просто удовлетворяют спрос не очень образованной публики, желающей поддержать свой ажиотажный интерес.

С одной стороны, этот ажиотажный интерес будоражит науку, что уже хорошо. С другой стороны, анализ альтернативной, ажиотажной истории, по Фоменко, есть анализ зарождения мифа, его становления и внедрения в массы, что опять же хорошо. Если, конечно, будет кому этим анализом заниматься.

За это большое человеческое группе Фоменко спасибо. Ну такое большое, прямо как изобретателям морфия. Потому что каждый народ заслуживает той истории, которая его имеет.



## Откуда повелись на Руси художники

ОПЫТ НЕЗАВИСИМОГО ОТ ТЕКСТА РАССЛЕДОВАНИЯ

...а Цицерона — никогда!

А. С. Пушкин,

Наброски VI Интернационала

Стой же истовостью, с какой в совсем близкие времена скрывали неслучайное свое происхождение, нынче стали его всячески выискивать и предъявлять окружающим. Вдруг, откуда неясно, полезли отпрыски прежде царствующего дома, всяческие Романовы и Отрепьевы, возникли даже законные претенденты на замещение вакантных мест в зарубежных монархиях: тут и Бурбоны (и двойные, и с водой, и со льдом), тут и Габсбурги, и Чизбургги, и Кэшьо. Что уж говорить о людях с благородной кровью пожизне. Местные Хомутовы споро выложили бумажки, удостоверяющие их прямую связь с Гамильтонами, Потемкины доказывают, что в оставшейся неприкосновенной пятой графе их паспортов следует проставлять двойное «броненосец-таврический», а разного рода Орловы хлопочут о возвращении отнятой у них революцией второй главы.

В литературе, которая по малым своим силам пытается все перенимать у жизни, происходит то же самое. Если прежде хорошим тоном считалось возводить творческую генеалогию к Толстому, для чего первым делом отпускали на все четыре стороны бороду и женились на Софье Андреевне Берс, теперь это уже и не оригинально. Джойсы, Пинчоны и В. Сорокины — родня куда достойнее. Если, зажмурившись, и ныряют в прошлое, то ныряют столь глубоко, что нечем вздохнуть.

Давая газетное интервью, Елена Черникова, создавшая книгу «Золотая ослица» («АСТ», 2000), намекнула: ее то ли оплодотворил, то ли осенил, так сказать, Апулей. Менее порядочная дама подала бы на алименты, раз уж факт налицо и она понесла, чему подтверждение ею рожденная книга. Но здесь не тут-то было. Дама накрепко сжала зубы и решила поделиться своим несчастьем только с самыми близкими — читателями. Ей довольно, что в членах ее детища течет кровь, которую не встретишь на каждом углу.

И потому предпринятый ныне опыт расследования имеет единственную цель — выявить подлинное отцовство, разобраться, не скрывался ли под маской Апулея посторонний, который чудом ли, таинством, авторитетом ли овладел молодой писательницей, а затем покинул ее на произвол судьбы. Подобные варианты известны. Ведь более-менее знаменитый автор вызывает к жизни сонмы подражателей и самозванцев: так, в двадцатые годы бродили по стране Михаила Зощенко, оказывавшиеся на поверку обычными аферистами, и Михаилы Булгаковы (правда, оказывавшиеся на поверку Михаилом Булгаковым). Они пользовались служебным положением русского писателя либо корреспондента газеты «Гудок», пили, ели, знакомились с женщинами, и все, разумеется, совершенно бесплатно, в крайнем случае за счет Дорпрофсожа.

Итак, взгляды, чьи родовые черты проступают сквозь плод незаконной страсти? Что там вьетса: тугой ли, как смоль, африканский локон или курносый, ангельски светлый российский нос?\*

Рассказ героини книги, который она затеяла в салоне троллейбуса, мало напоминает рассказ римской гетеры о жизни, прожитой в оргиях и симпозиумах. И реалии, и псевдонимы, которыми снабжает она упоминаемых лиц (А, Б, В и далее со всеми остановаками), и самое место повествования будто возникли из отечественного романа-мениппея. Это ведь типично русский разговор: в купе ли, в теплушке, застрявшей между шпала, со случайным попутчиком или без него, не только о себе, но и обо всех знакомых.

Разве не напоминает повествовательница какую-нибудь Катюшу Маслову, целомудренно кося черными глазами, рассказывающую длинную историю своей первой любви? Поезд движется медленно, бесконечно замирая на полустанках, где машинисты бегают на вокзал за кипятком, а поезд стоит под газом, не решая двигаться без поездной бригады. Попутчики задремывают, укачанные непривычной для России гладкостью рельсов, а когда просыпаются, Катюша все рассказывает, методично следуя за алфавитом и переходя от барона Х. к князю Ц.: «Я стояла на своем углу, а он шел мне навстречу, неся в охапке отвратительные желтые цветы...» Попутчики со стуком вновь роняют головы в ладони.

\* То небольшое, что известно об Апулее, даже личное имя которого бесхозяйственно утрачено, это место прописки — Северная Африка.

Все это знакомо по старшим классам средней школы, все давно сдано на экзаменах:

Дорога шла привычной линией,  
Подрагивала и скрипела.  
Молчали желтые и синие,  
В зеленых плакала и пела  
Катюша Маслова моя,  
Знакомьтесь, милые друзья!

В то же самое время описания страстей и жарких постельных схваток с переменным успехом чересчур прямолинейны, им не близко до апулеевских развернутых сравнений и параллельных метафор, которыми изобилует классический роман, хотя бы до такого фрагмента: «Она готовила хозяевам колбасу, набивая ее мелко накрошенной начинкой, и мясо мелкими кусочками...» \* Даже издали носом слышу я вкуснейший запах этого кушанья. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, под самые груди ярким красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке, круговое движение это частыми вздрагиваниями сопровождая; всем членам передавалось плавное движение — едва заметно бедра трепетали, гибкая спина слегка сотрясалась и волновалась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою удивляясь; восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое. Наконец обращаюсь к ней: — Как прекрасно, как мило, моя Фотида, трясешь ты этой кастрюлькой и ягодицами! Какой медвяный соус готовишь! Счастливы и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему прикоснуться!»

Пафос, которым закипает книга Елены Черниковой, есть типично российский пафос. Кратко он сводится к едва ли не карамзинской формуле: «И ослицы любить умеют» (возможно, эта формула принадлежит и кучеру Карамзина). И, кажется, мнение, высказанное автором на четвертой стороне твердого переплета, что даже новый нынешний год встретила она в Карфагене под туей, может быть оспорено. Нельзя верить рекламе. Чтобы всучить путевку, в туристических агентствах посулят что угодно, хоть Атлантиду и Гиперборею. А вот у древних единство слова не расходилось с единством дела. И мнение Катона, по решению римского правительствующего сената, утвержденного конем Калигулы (а это, как ни крути хвостом, высший авторитет даже для полных ослов и ослиц), было принято к сведению.

Резонно также выдвинуть предположение, кто скрывался под личиной Апулея и кого так нетрудно распознать по ушам, выбившимся из-под маски. Если помните, на международном конкурсе исполнителей фригийский царь Мидас отдал голос не за Аполлона, а за Пана, показавшегося ему лучше подготовленным технически. И потому Аполлон наградил его ослиными ушами за ослушание — ведь тот ослышался. Но и это не все. Несчастный царь старательно таил уродство, и знал о нем только парикмахер. В конце концов, желая хоть с кем-то поделиться наблюдениями, парикмахер вырыл ямку и шепнул туда заповедные слова. Через какое-то время из ямки выросла какая-то чуждая флора и принялась бросать эти слова на ветер.

Эти-то перечисленные герои, а вовсе не Апулей найдутся с сочинителем в истинном родстве. Стоит вспомнить и Александра Ивановича Куприна, название чьего романа, соотношенное с упоминавшейся ямкой, может кое-что прояснить в книге «Золотая ослица». Да и воспоминание о тупейном художнике царя Мидаса наводит на мысли. Вот оно, российское благородное происхождение: понаехавшие отовсюду наставники и учителя, выдающие себя бог весть за кого, а в собственном отечестве все брадобреи да куаферы. Хоть тот же Вральман, например. И мало ли их.

Вот только времена изменились, потускнели, ушла сакральность. Это раньше было — въезд в Иерусалим. Теперь — выезд.

Вывод, сделанный по материалам расследования, прост. Сексуальный партнер, назвавшийся Апулеем, ввел мать ребенка в заблуждение. И ребенок, к сожалению, незаконнорожденный. Единственно радуется, что по указу Петра I (кстати, никем не отмененного) всех незаконнорожденных сразу же записывают в художники, вне зависимости от желания.

### P. S.

*При расследовании использованы книги:*

*Апулей. Золотой осел. [Б. м.], MСMLVI;*

*Михаил Булгаков. Романы. Кишинев, 1987;*

*Александр Блок. Избранное. 1954;*

*Л. Пантелеев. Собрание сочинений в четырех томах, том 1. Л., 1970,*

*а также энциклопедические справочники, указатели и опросные листы петровской эпохи.*

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И МОСКВОШВЕЯ

\* Пропуск в тексте дает неисчерпаемые возможности для домысливания и фантазий.

---

*Читайте в следующем номере*

роман

АНАТОЛИЯ НАЙМАНА

«СЭР».

«Чем ближе, чем дружественнее и доверительнее становились мои отношения с Ахматовой, тем чаще и определенной упоминала она о «сэре», тем конкретней и явственней складывался для меня его образ в истории, случившейся с ними. Он появился осенью 1945 года — через полгода после окончания мировой войны. Он был иностранец — в стране, охваченной шпиономанией. Он был русский, родился в Риге — провинциальной относительно Петербурга и Москвы. Он был еврей. Он был европеец — во всей полноте этого понятия. Он был англичанин. Он был западный интеллектual — среди самых первых номеров в том их списке, который в России угадывался туманно и не без благоговения. Его фамилия была Берлин, содержательно подтверждавшая все, чем он был, хотя по-русски с ударением на первом слоге. Его имя — Исая, могучее имя».

---

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 2000 года и в 2001 году  
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Петр АЛЕШКИН. **Время великой скорби.** Роман.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.** Продолжение книги.

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Стать Лютовым.** Вольные фантазии из жизни Исаака Бабея.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Анатолий НАЙМАН. **Сэр.** Роман.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Рассказы, эссе.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

**Рассказы и статьи из новой книги.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни. Деревенские дневники.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Пробелы.** Продолжение новой книги.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.